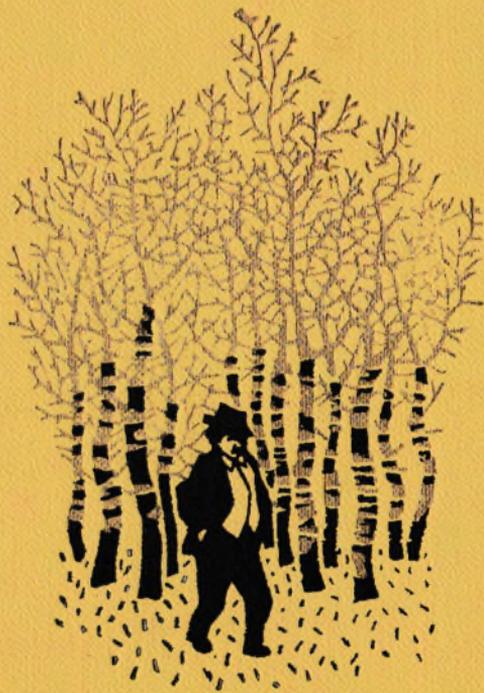


Ярослав Гашек

3



Ярослав
Гашек

ЯРОСЛАВ
Ташек

Собрание
сочинений
в пяти
томах

3

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» ● ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА ● 1966

**Собрание сочинений выходит
под общей редакцией
П. Богатырева.**

**Оформление и иллюстрации
художника И. Семенова.**

Рассказы

1901-1909

СЕЛЬСКАЯ ИДИЛЛИЯ

Был прекрасный июльский день. Я весело шагал по живописной долине Сазавы. По одну сторону реки простирались густые леса, по другую тянулись поля шумящих хлебов. Целью моего пути было местечко Ледеч. Солнце сияло вовсю, хотя уже близился вечер.

Я не очень хорошо ориентировался в этой местности, и весьма вовремя мне пришло в голову справиться у подростков, пасущих коров на опушке леса. Я спросил их, как скорее всего добраться до Ледеча. И пошел вперед, не обращая внимания на комья земли, которыми меня, как чужака, любовно угощали эти пастухи.

Пройдя лесом примерно полчаса, я увидел башню костела в деревне С. Я прибавил шагу и вскоре очутился на деревенской площади. Мне хотелось есть, и я направил свои стопы в трактир, откуда слышалась громкая музыка.

На пороге сидела девчушка лет пяти и горько плакала.

— Чего ты плачешь? — спросил я ее.

— Дядечка умер, и сегодня его хоронили. Мама сказала, что больше его не будет, а в воскресенье я всегда получала от него крейцер.

— Не плачь, — успокаивал я ее. — Вот тебе два крейцера.

Девчушка утихла, взяла два крейцера и с радостью побежала к лавчонке, расположенной неподалеку.

В трактире было полно народу и царило оживление. Громкий смех звучал то у одного, то у другого стола. Музыканты устроили настоящий адский грохот.

Через окно виднелся садик, где танцевала молодежь.

У девушек на головах красовались белые венки, а парни были одеты по-праздничному, хотя день был будничным.

Я разглядывал хоровод танцующих, и вдруг мое внимание привлекли пожилая женщина с девушкой лет двадцати. Девушка не переставая плакала, а пожилая женщина временами вытирала платком глаза.

Утолив голод и жажду, я завел разговор со стариком, сидевшим за моим столом.

Пожаловался на жару, царившую в тот день.

— Да, жара,— сказал старик,— и дождика не видать, но у нас, слава богу, все в порядке.

— А скажите, это что, свадьба? — спрашиваю я старика.

— Свадьба? И что вам в голову пришло? Нет, поминки справляем. Умер брат здешнего трактирщика, не бедный был. Дом имел и на книжке несколько тысяч. Да и неженатый, вот все трактирщику и досталось.

У нас обычай: если кто умрет, так после похорон от наследников всем угощенье. Трактирщик хотел устроить поминки поторжественней и пригласил музыкантов, родственникам поднес пива, народу набралось много, ну так он еще на этом и заработает.

— Видите,— продолжал он,— тех женщин, которые плачут? Старостиха с дочкой. Дочка собиралась замуж за покойного. Но человек предполагает, а бог располагает. Брат трактирщика был уже год как болен и позавчера умер. Когда об этом узнали у старосты, так обе, старостиха и дочка, чуть с ума не сошли и с той поры не переставая ревут.

Еще полчаса я посидел с разговорчивым старичком, выслушивая рассказы о его жизни, об урожае, и, наконец, расплатившись, отправился в дальнейший путь.

Старостихи с дочкой уже не было видно в садике.

Шагая по дороге, я размышлял об этой чувствительной картине, увиденной мною в трактире, как вдруг ход моих мыслей был прерван криком, донесшимся из домика у дороги.

— Ах ты, глупая девка, уж не могла заставить, чтобы он на тебе женился, и так все равно сдох бы, так хоть бы нам кое-что перепало! А теперь все захапает этот боров-трактирщик!

Вскоре из домика показались две женщины и подошли к кучке крестьянок, стоявших перед соседним домом.

Молодая, всхлипывая, говорила:

— Такой молоденький, господи боже мой, и вот умер!

Пожилая тоже ударилась в слезы.

— И не плачьте, пани, каждого это ожидает,— успокаивала ее одна из женщин.

И вся группа направилась к трактиру, откуда звучала веселая музыка.

СМЕРТЬ ГОРЦА

Михаэл Питала бежал из тюрьмы. Укрываясь в высоких хлебах и в лесах, он постепенно приближался к югу, к горам. Крестьяне кормили его, снабжали одеждой и едой для дальнейшего пути.

Близился вечер. Дорога белой змеей извивалась по склонам гор. У перевала стоял крест.

Беглец медленно подымался по пыльной дороге. Дрожащей морщинистой рукой прижимал он к длинному запыленному кафтану, какие носят крестьяне в Гарновском крае Галиции, маленький узелок с продуктами.

Он опасно озирался, и на его лице была написана решимость при первом появлении стражника броситься по крутому склону в долину.

Наконец он добрался до перевала, где стоял простой деревянный крест с полусгнившей скамеечкой у подножия. Михаэл Питала перекрестился и устало присел на скамеечку. Положил узелок рядом, на траву и огляделся вокруг. Дорога по обе стороны вела вниз. Перед ним открывался вид на лесистую долину.

Какая красота вокруг! Вдали, среди серых вершин, высится могучая Бабья гора *, там дальше, Лысая гора *, а где-то за нею его родные места. Через два-три дня, после стольких лет он увидит родную деревню, разбросанные по склону на опушке леса хатки, часовенку.

Солнце медленно опускалось к горам и уже не пекло.

Беглец, склонив седую голову на руки, вспоминал свою жизнь. Много лет назад он в поисках работы от-

правился со своей женой и детьми в Германию. Там они работали, выбивались из сил, терпели нужду. Как-то зимой он остался совсем без работы, и вся семья голодала. Он не мог вынести страданий своих близких, задумал отравить их всех и отравиться самому. Раздобыл яд и осуществил свой замысел. Жена и дети умерли, а он выжил.

После выздоровления его присудили к долгим годам тюремного заключения. Сколько лет, заведя во время работы вдали затянутые дымкой горы, он мечтал снова побывать там! Наконец ему удалось бежать. И вот он здесь...

Михаэл Питала опять огляделся.

Солнце опускалось все ниже. Вершина Бабьей горы расплывалась в вечерних сумерках.

Закат.

На западе багряный огненный шар медленно опускался за гору. Красное зарево вечерней зари таяло над горами. А вслед за ним поднималась, то разрываясь, то снова смыкаясь, завеса тумана. Какой-то особый полумрак окутал черные леса, и чуть теплый ветерок доносил на дорогу аромат хвои. Внизу тянулся горный склон, усыпанный замшелыми валунами. Шумный ручей мчался, перепрыгивая через камни и вывороченные с корнем стволы деревьев, и терялся в темных зарослях высоких лиственниц и сосен.

Низко опустив заросшее бородой лицо, беглец задремал. Ему снился родной дом. Но сам он был не седым стариком, а молодым парнем. Он только что вернулся из леса. Вот маленькая комнатка в родной хибарке, затянутая дымом, который выбивается из очага. Вот отец, мать, вся семья. Они спрашивают: «Михалек, где ты пропадал так долго?» Потом все садятся на скамьи, ужинают, разговаривают и пьют овечье молоко. Приходят соседи. Рассказывают, как в лесу медведь задрал его товарища Коничка.

Он подбрасывает в очаг поленья, они трещат и освещают закопченную комнату. Так приятно здесь, в комнате, куда снаружи доносится мычание возвращающегося с пастбищ скота. Звонят к вечерне. Все встают, крестятся, громко молятся, а огонь весело трещит.

Тяжелые шаги вдруг нарушили сон беглеца.

Он оглянулся и увидел совсем рядом точно выросшего из-под земли жандарма. Его штык угрожающе блестит в последних лучах вечерней зари.

Михаэл Питала схватил свой узелок и, одним прыжком перемахнув через дорогу, бросился вниз по склону горы.

Трижды раздалось: «Стой, стой, стой!» — и тотчас же в вечерней тишине среди замолкших лесов прокатилось многократное эхо выстрела.

Падая с простреленной головой, беглец как-то дернулся вперед и вверх, словно хотел в последний момент еще раз посмотреть на заходящее солнце и крутую цепь родных гор.

Солнце зашло.

Где-то в долине раздается благовест, призывающий к вечерней молитве. Жандарм, стоящий наверху, на дороге у креста, снимает шапку, крестится и читает молитву «Ангел божий...»*. Дым, поднимающийся к небу из дула его манлихеровки*, извивается, как вопросительный знак.

А когда над лесом взошла луна и осветила бледными лучами лежащий на склоне труп беглеца, его посиневшие губы словно шептали: «Родина! Родина!»

ВИНО ЛЕСОВ, ВИНО ЗЕМЛЯНИЧНОЕ

(Очерк из Галиции)

Ни один священник не запечатлелся так в благодарной памяти своих прихожан, как отец фарарж * из Домбровиц.

Долго еще будут вспоминать во всем Тарновском крае этого доброго старикана, и потомки нынешних поселян будут рассказывать своим детям то, что слышали о нем от своих родителей.

Но не зажигающие проповеди, вливающие умиротворение в души добродушных крестьян, не набожность снискали ему бессмертную славу в Домбровицах, в округе да и в самом Тарнове, а его зеленое вино, о котором он сам иногда с восторгом говорил, что оно кровь его сердца, экстракт его мыслей, детище его разума.

И не менее поэтично звучало название его творения— «Вино лесов, вино земляничное». Он утверждал, что дал ему это название, когда несколько лет назад после долгих исследований получил первую бутылку вина. В свежей зеленой влаге он ощутил благоухание всех лесов, окружающих Домбровицы, благоухание весны и лета, а также запах земляничных цветов и одновременно аромат спелых земляничных ягод.

Никто не знал, как приготавливает пан фарарж этот превосходный напиток. Было известно только одно: что главной составной частью его являются крупные красные ягоды земляники, которые священник собственноручно собирал в лесу.

К своим молитвам он всегда присовокуплял пожелание, чтобы уродилось много земляники, которую затем он собирал в большую корзину на определенных, только ему одному известных местах.

В течение всего августа до поздней ночи светился огонек в окнах низкой почерневшей фары *, сквозь открытые окна вырывались приятные запахи, а когда деревенские парни залезали в приходском саду на деревья, они видели, как длинные белые волосы отца развевались над эмсевидными приборами, как трясущейся рукой он наливал рюмочку приготовленного им свежего напитка, набожно крестился, медленно выпивал его, чмокал и щелкал пальцами так, что старый кот, дотоле спокойно сидевший на большой печке, вскакивал, будто у него над головой загорался пук сена, и, фыркая, вылетал из избы.

В такой момент пан фарарж казался им особенным, неземным существом. Богобоязненно слезали парни с груш и яблонь приходского сада, не забыв набить за пазуху даров этих деревьев.

Так было в августе. Ноябрь проходил в трудах по наполнению великого множества бутылок и в приклеивании этикеток, которые домбровицкий пан ректор расписывал и разукрашивал в течение всей зимы.

На этикетках несколько фантастически изображалось, как святой Станислав благословляет маленького ангелочка, несущего солидную бутылку, на которой золотом начертаны слова: «Вино лесов, вино земляничное».

Когда ложился первый снег и ночью было слышно, как недалеко от деревни воют волки, в одно из воскресений священник сообщал своим мягким и проникновенным голосом, что он приглашает всех верующих на вечернюю христианскую беседу.

В такое воскресенье просторный приходский дом набивался до отказа, прихожане теснили друг друга.

Отец сидел в старом, выцветшем кресле и ласково говорил, улыбаясь, что пришла зима, уже рождественский пост, но из-за зимы прихожане не должны забывать ходить в костел и помогать бедным. Затем он добавлял несколько слов о рождестве, которое уже не за горами, и вдруг куда-то исчезал.

Через минуту он возвращался с корзиной бутылок и начинал раздавать прихожанам свое зеленое вино лесов, свое земляничное вино.

Когда они смотрели на его белую голову, на его милое лицо, на трясущуюся от радости бороду, у многих слезы навертывались при мысли, что же будет, когда старый священник почует вечным сном под березами и лиственницами домбровицкого кладбища.

Так пришла в Домбровицы зима, которой пан священник всегда боялся. Она была причиной того, что в течение всей весны и лета старый священник молился, чтобы господь бог отпустил ему грехи, которые он совершил за прошедшую зиму и совершит в будущем.

Иногда ему казалось, что молиться впрок все же немного неуместно, но он успокаивал себя мыслью, что господь бог знает, почему так неустойчивы перед соблазнами существа человеческие.

Каковы же были его грехи, совершенные зимой? Его зимним грехом было пристрастие к своему зеленому вину.

В зимние вечера он грустил о тех зеленых лесах, по которым любил ходить. И, погружаясь в тепло, идущее от огромной печки, он садился перед большой бутылкой своего зелья, как бы переносясь в благоухание лета.

Стаканчик возле бутылки то наполнялся красивой зеленой влагой, то снова становился пустым.

Когда первые капли напитка касались губ священника, перед его глазами вставала свежая зелень дубов, елей, берез и проплывали места, красные от обилия зрелых ягод крупной земляники.

Лежащий перед ним молитвенник оставался нераскрытым, и вместо вечерней молитвы в тихой комнате раздавались удивительные звуки, свидетельствующие о том наслаждении, с каким он пил маленькими глотками зеленую искрящуюся влагу.

Старый пан фарарж сидел, пил и думал о зелени лесов, о весне, о лете, и мысли его не прерывались даже тогда, когда внизу недалеко от фары начинали выть волки и раздавались выстрелы, разгоняющие голодных бестий.

Не могла его вывести из такого состояния и сестра (которая была моложе его на два года и вела все до-

машнее хозяйство), когда она приходила и начинала упрекать своего брата в грехах, призывая на помощь всех святых, имена которых приходили ей на память.

Пан фарарж не говорил ничего, он только кивал белой головой и размышлял об аромате зеленых лесов.

Когда же потом он направлялся к постели, у него немного кружилась голова, и он затягивал длинную песню о лесных девах и о зеленом вине, так что его сестра-старушка затыкала уши.

На другой день утром он поздно вставал и зарекался, что отныне на этот адский напиток даже не посмотрит. Но ничего не поделаешь! Приходил вечер, в лунном сиянии на улице блестел снег, и снова им овладевала тоска по лету, и снова он опорожнял один стаканчик за другим.

Сколько лет уже день за днем молилась его сестра, чтобы господь бог уберег ее брата от грядущих адских мук, но каждую зиму повторялись вечера, когда молитвенник оставался нетронутым, а стаканчики опорожнялись.

Напрасны были все ее хождения по «святым» местам, напрасно жертвовала она на мессах * деньги за своего несчастного брата.

Иногда, размышляя об этом, она начинала горько плакать.

В ее набожных раздумьях представления о муках ада связывались с образом пана фараржа.

Однажды зимой дьявол, как она говорила, особенно преуспел в искушении пана фараржа.

Как-то перед сном священник так громко пел о прекрасных лесных девах, что Юрзик Овчина — общинный стражник, возвращавшийся поздно вечером из корчмы, — остановился перед фарой, и через минуту в ночной тишине послышался дуэт.

Один голос, довольно сильный, но приглушенный толстыми оконными стеклами, принадлежал священнику, другой, более хриплый, голос стражника, так был похож, по-видимому, на вытье волка, что несколько крестьян с ружьями и палками поспешно сбежались к фаре, где остановились в изумлении и с такой набожностью стали прислушиваться к пению отца фараржа, распевавшего о лесных девах и о зеленом вине, как если бы

это была молитва, возносимая в костеле к пресвятой деве Марии.

Когда на следующий день к полудню пан священник встал с постели, то узнал от своей заплаканной сестры о большом прегрешении, которое он совершил вчера вечером, опять искушенный дьяволом.

И он вновь зарекался, но вечером повторилось то же самое, и снова полдеревни набожно и почтительно, с открытыми ртами, слушали под окнами спальни, как там, наверху, их старый духовный пастырь распевает удивительные песни о зеленом вине и лесных девах.

С той поры такие песнопения стали повторяться, и крестьяне каждый вечер ходили послушать пана фараржа.

Для его сестры настали печальные времена. Всюду она видела адский огонь и однажды, набравшись мужества, дрожащей рукой написала викарию * в тарновскую консисторию * письмо, в котором просила во имя спасения пана фараржа в Домбровицах явиться с ревизией к ее брату, по-отечески пожурить его и высвободить из сетей и когтей дьявольских.

Она подписала письмо, окропила его слезами и послала в Тарнов, ни словом не обмолвившись об этом своему брату.

Прошло несколько дней.

В один прекрасный зимний день перед фарой зазвенели колокольчики, четыре ретивых коня забили копытами по мерзлой земле так, что искры полетели, а из саней вышел достопочтенный тарновский пан викарий, объявив удивленному пану фараржу, что приехал с ревизией.

Молнией пронеслась в голове священника мысль — не проведали ли в Тарнове о его певческих упражнениях, — и он не отваживался взглянуть на седого, хотя и более молодого, чем он, викария, который, напротив, очень учтиво говорил со старым беловласым фараржем.

Досточтимый пан викарий выразил свое удовлетворение состоянием костела и после ужина уселся напротив пана фараржа, подыскивая повод, каким бы образом он мог выполнить просьбу сестры священника, которая в это время в соседних покоях усердно молилась.

— Здешние края летом, вероятно, необыкновенно красивы,— начал он после длительного молчания.

— Да, необыкновенно красивы,— печально произнес пан фарарж, поглядывая в угол, где стояла большая бутылка с благочестивой этикеткой.

— Сколько радости приносят вам летом эти леса,— продолжал пан викарий,— а зимой грустно. И тогда лучше всего сидеть у теплой печки и читать молитвенник. Прекрасно читаются размышления святого Августина * и отцов церкви. Тогда уже не страшно никакое дьявольское искушение. Брат мой, я привез с собой несколько книг о вечной жизни и замечательные рассуждения святого Августина. Лучше всего это читать по вечерам два-три часа. Сейчас я их принесу.

С этими словами он удалился в соседнюю комнату.

Священник после его ухода что-то смекнул, подскочил к бутылке и отведал своего волшебного напитка.

Когда достопочтенный викарий вернулся с грудой книг в руках, пан фарарж снова уже спокойно сидел на своем месте и набожно смотрел в потолок.

— Вот здесь то чтение, которое возносит душу читающего к иным мирам и которое отгоняет все дурные мысли,— сказал пан викарий, раскладывая перед фараржем книги, и через минуту добавил:

— Тут у вас такой аромат, как будто бы влились сюда запахи леса.

— Это мое «Вино лесов, вино земляничное»,— вырвалось радостно у пана фараржа, и, не дожидаясь ответа, он наполнил зеленым напитком два стаканчика и чокнулся со сконфуженным паном викарием.

Они опорожнили стаканчики.

— Не правда ли, необыкновенный вкус? — спросил сияющий пан фарарж, видя, как пан викарий причмокивает.— Еще одну, не так ли?

И снова опорожнились стаканчики.

— Необыкновенно! Кажется, что человек блуждает летом по лесу и впитывает в себя благоухание лета,— мечтательно, со вздохом промолвил ревизор.

У священника блестели глаза, когда он рассказывал о своем изделии, о детище своего разума, экстракте своих мыслей.

При этом оба отве­ды­ва­ли зе­ле­ный на­пи­ток, и до­сто­ч­ти­мый ви­ка­рий пе­ред ка­ж­дым но­вым ста­кан­чи­ком шеп­тал: «Multum nocet, multum nocet»¹,— со­вер­шен­но за­быв о це­ли сво­е­го по­се­ще­ния, о дя­во­ле, о свя­том Ав­гу­сти­не и о свя­тых от­цах.

Ко­гда же ве­че­ром кре­стья­не по обыкно­ве­нию собра­лись пе­ред фарой, они услы­ша­ли, к сво­е­му изумле­нию, что из спаль­ни па­на фарар­жа до­но­сят­ся зву­ки пе­сни о лес­ных де­вах и о зе­ле­ном вине, распе­вае­мой не од­ним, а дву­мя го­ло­са­ми, при­чем тот, вто­рой, не­зна­ко­мый го­ло­с был на­мно­го силь­нее...

О даль­ней­шем я умо­лчу. До­ба­влю толь­ко, что это был пер­вый, но да­леко не по­след­ний ви­зит и что ко­гда до­сто­ч­ти­мый тар­нов­ский па­н ви­ка­рий, вер­ну­в­шись на тре­тий день до­мой, раз­вер­нул бо­ль­шую бу­тыл­ку «Вина лесов, вина зе­м­ля­ни­чно­го», то, к сво­е­му уди­вле­нию, об­на­ру­жил, что оберт­кой ей по­слу­жи­ло не­сколь­ко стра­ниц кни­ги свя­то­го Ав­гу­сти­на и свя­тых от­цов.

«Вино лесов, вино зе­м­ля­ни­чно­е» сни­ска­ло дом­бро­виц­ко­му от­цу фарар­жу бес­смерт­ную сла­ву.

¹ Много вредно, много вредно (лат.).

ИДИЛЛИЯ КУКУРУЗНОГО ПОЛЯ

(Миниатюра из жизни на венгерских равнинах)

Широко, необозримо широко раскинулось кукурузное поле. Ветер колыхал высокие стебли, и все поле слегка волновалось.

А среди поля жил цыган Варга со своей семьей.

Три месяца тому назад староста из Лочбани сказал ему:

— Слушай, Варга, собачий сын, хочешь стеречь нашу кукурузу? Получишь две мерки зерна после уборки, а молодой кукурузы рви сколько хочешь, только смотри, много не набирать!

Цыган Варга согнулся чуть не до самой земли и забормотал:

— Ваша милость, как же мне не хотеть сторожить общинную кукурузу? Ведь община мне мать родная, она кормит меня, содержит меня, хвала господу богу, я живу в общине, должен быть благодарен ей, клянусь душой, ведь община — наша мать родная!

— Так хочешь сторожить или нет? — прервал староста красноречивого цыгана, раскуривая трубку.

— Как не хотеть,— повторил Варга, почесывая грудь,— как не хотеть, ваша милость, ведь община — моя мать; только я просил бы три мерки, а не две: ведь жизнь теперь тяжелая да и лихих людей много. Сиди хоть все ночи напролет — и то не усмотришь; а еще я просил бы на стопку палинки: ночи теперь стоят холодные.

— Ну ладно, только помни: сторожить хорошенько. Особенно присматривай за этими бандитами, цыганами из Ботфали. Понадобится — бей, трави собаками. Иначе ничего не получишь. Смотри же, хорошенько охраняй, — сказал староста и дал Варге на палинку.

Без конца кланяясь и благодаря, цыган Варга удался и сообщил радостную новость своему семейству, которое, живописно расположившись на лужайке за деревней, перед слепленным из соломы и глины шалашом, спокойно и удовлетворенно предавалось уничтожению ворованной картошки, испеченной в золе.

Так случилось, что семья Варги уже три месяца жила среди высокой кукурузы.

Варга сторожил. Днем он лежал, любуясь колышущимися метелками и сверкающей меж зеленых стеблей лазурью неба.

Его близкие сидели у тлеющего костра или валялись на земле, подражая главе семьи; только старшая дочь Гава изредка поднималась, срывала несколько початков и клала их на огонь, чтобы они испеклись. Иногда она брала кувшин и шла за водой, а принеся воды, опять спокойно укладывалась рядом с остальным семейством.

Когда наступал вечер, Варга вставал и вытаскивал из тайника в кустах у ручья старую тачку, а едва солнце садилось за низкие холмы на западе, сторож Варга принимался рвать кукурузу и складывать на тачку. Затем, дождавшись, пока умолкнут звуки рога, отмечавшие полночь, осторожно отвозил свой груз под тополя у дороги, где его поджидал староста со своей тачкой. Груз перекладывали, Варга получал от старосты на водку и возвращался к своему ложу среди кукурузы.

Так идиллически жил он до тех пор, пока его дочь Гава не влюбилась в молодого цыгана Болдара, принадлежавшего к семье тех самых «бандитов» из Ботфали, от которых староста предостерегал Варгу.

Быть может, Варга ничего и не имел бы против этого, если бы его дочь сама ходила навещать своего милого: в таком случае она могла бы прихватить что-нибудь домой, — например, горшок, кувшинчик и тому подобные мелочи. Варга всегда поучал свою дочь: «Ты молода, а молодой крови всего хочется. Не надо терзаться, если тебе что-нибудь понравится».

Но тут получилось наоборот. Цыган Болдар сам приходил навещать Гаву, и после каждого его посещения Варга обнаруживал, что от полной бутылки доброй дебrecенской сливовицы оставалось только чуть-чуть, на самом доньшке.

Возлюбленный Гавы аккуратно выпивал запасы своего теста in spe¹.

Старик каждый день ругался с дочерью, но все было напрасно.

Тогда Варга отправился жаловаться старосте: дескать, цыган Болдар каждый вечер приходит к его дочери и при этом выпивает все, что пахнет спиртом.

— А побить его я, видите ли, не могу,— прибавил он грустно.

— Почему же?

— Да не могу, ваша милость, не могу. Если я его ударю, он даст мне сдачи, а ведь он в двадцать раз сильнее меня,— чуть не плача, ответил Варга.

— Знаешь что, налей-ка в бутылку керосина,— посоветовал староста,— он выпьет и больше не покажется.

И Варга одному ему известным способом достал где-то в деревне керосина, налил его в бутылку и стал ждать, когда наступит ночь, а сам отправился в кукурузу.

Там было хорошо. Тихо, спокойно. Варга уснул.

Проснулся он поздно ночью.

При свете месяца, недалеко от себя, он увидел свою дочь рядом с молодым Болдаром.

Болдар держал в руке бутылку. Варга подошел ближе. На него пахло керосином.

— Что ты здесь делаешь? — робко спросил он сидевшего на земле молодого цыгана.

— Да так, просто сижу и пью,— прозвучал ответ.— У тебя какая-то странная сливовица: пью с самого вечера, а не выпил еще и четверти бутылки. Хороша, только уж очень крепкая.— И молодой цыган положил курчавую голову на колени Гавы.

Месяц осветил живописную группу; легкий ветерок клонил к земле и снова поднимал высокую кукурузу.

Старый цыган Варга молчал...

¹ В будущем (лат.).

ЗБОЙНИК ЗА МАГУРОЙ *

Подули ветры из Галиции, и утром, когда рассеялся туман, пастухи, посмотрев из шалашей над Ждьяром в сторону Высоких Татр, увидели, что даже подножия гор покрыты белым, сверкающим снегом. Жутко чернели лишь острые пики да склоны гор.

Осень наступила сразу. Потемнели на низких склонах кусты кизила, а их плоды рдели среди черных листьев, как капли крови. На лугах появились сиреневые бессмертники. Они распустились за одну ночь повсюду, среди хмурой зелени осенних трав.

— Вот и осень,— вздыхали пастухи в шалашах.— Недалеко до холодов, пора спускаться с отарами вниз,— добавляли они, кутаясь в свои огромные шубы.

Повсюду царилла какая-то особая грусть, казалось, даже костры трещат не так весело и светят не так ярко, как в теплые, ясные летние ночи.

Снова повторяли рассказы о том, как несколько лет назад Кашу Войтикову зимой задрали медведи. Говорили, что ночью слышен вой волков на польской стороне, а на венгерской так протяжно режут дикие звери и трубят олени, что страх берет.

Молодой Борко рассказывал, как худо пришлось им в позапрошлом году в последнюю ночь, когда они поздней осенью спускались вниз с отарами. Они уже рассуждали о том, сколько слез будет, когда их найдут погребенными под снегом, окоченевшими, с погасшей трубкой-носогрейкой в зубах. Так много снегу выпало тогда и такой был мороз. А ко всему еще дул ужасный

ветер с польской стороны. Шалаш трещал. В ту ночь замерзло пятнадцать овец. А когда на минуту затихал ветер, было слышно печальное блеяние овец, стоявших в открытом загоне подле шалаша. И никак нельзя было им помочь.

За такими разговорами в шалашах готовились к спуску вниз, чтобы жестокие холода не застигли овец в горах. Все радовались близкой встрече с семьей, которую не видели целое лето, а молодежь радовалась не только семье, но и красивым девичьим личикам.

Итак, вниз!

Но Янко Карача этот призыв не обрадовал, а сильно опечалил. И вот почему. Еще летом молодой Янко подолгу задумчиво сживал на пастбище, не играл на рожке и все поглядывал поверх поросших карликовой сосной склонов на польскую сторону. Так сидел он молча целыми часами и лишь изредка протяжно и грустно напевал:

Прямо к лесу, к лесу стадо подгоняла
И сама не знала, кого целовала.
Долы мои, доли вьются меж горами,
И никто не знает, что случилось с нами.
Я тебя, тебя я не заставил силой,
Ты сама на это меня соблазнила.

Янко Карач был влюблен. Вечером, когда, подоив овец, все усаживались вокруг потрескивавшего костра, старый пастух Гач шутил, что Янко опять запел, значит, теперь даже сусликов не увидишь — давеча он нашел у родника двух околевших, вероятно, они пришли напиться да там и подохли с тоски, потому что неподалеку Янко пас свою отару.

Бедный парень краснел. А остальные еще пуще смеялись, и молодой Чамко рассказывал, как Янко познакомился с Картушей.

Сидел Янко как-то в полдень на большом камне и насвистывал збойницкую песенку, вдруг слышит за спиной рычание медведя. Янко испугался, обернулся и остолбенел — вместо медведя увидел Картушу.

В шалаше хохотали еще громче, а Янко багровел от гнева, но делал вид, будто это его ничуть не касается.

— И скажу я вам, хлопцы,— снова раздался в шалаше голос пастуха,— Картуша эта, судя по всему, с на-

шим Янко вмиг бы справилась, хоть он и сын збойника Карача. Я ее видел. Такая девушка за пять парней сойдет — крепкая, рослая...

Этим пастух окончательно вывел Янко из себя. Разозлившись, он вскочил с войлока, на котором сидел, и крикнул:

— Не думай, что я побоюсь этой Картуши! Она рассказывала, что зимой сама сторожит свою отару. Пойду и украду из Картушиной овчарни самую лучшую овцу. Посмотрим, кто кого! Подумаешь, что мне Картуша!

— Ладно, если сумеешь украсть овцу, — ты настоящий мужчина, — отрезал пастух, и больше об этом не говорили. Но чем ближе подходили холода, тем грустнее становился Янко.

И вот наступила зима. Пастухи согнали отары с гор в деревянные ждьярские овчарни и вечерами при свете сальной свечи вырезали деревянные башмаки, палки, разные формы для сыров и только по воскресеньям собирались в корчме. Вспоминали там разные случаи, происходившие летом, когда они пасли отары высоко в горах.

Во время одной из таких встреч старый пастух Гач упрекнул Янко: что ж он, мол, до сих пор не попытался украсть овцу у Картуши из Подলেখниц.

В тот день много выпили, и Янко пообещал в будущее воскресенье, как только вернется из церкви, отправиться в Подলেখнице.

Водку пили в воскресенье, и тогда Янко разглагольствовал, но в понедельник призадумался и стал вздыхать.

Вспоминал солнечный летний день, когда, глядя в голубые глаза Картуши, обещал, что зимой в церкви огласят их помолвку. А вчера обещал пойти и украсть у своей суженой овцу. Вся деревня слышала, как после полудня он кричал это на площади.

Что скажут, если он не пойдет? Все бабы будут приставать к нему. А пстом станут судачить, что он испугался женщины. Нет, пойдет с помощью божьей. Ах, Картуша, Картуша!

Миновала неделя, и снова наступило воскресенье. Выйдя из церкви, Янко отправился в корчму подкрепиться для предстоящего похода.

Пришли соседи, выпили по несколько стаканчиков, и Янко расхвастался, что такого збойника, как он, нет и не будет не только в Подгалье, но и за Магурой. Потом пели збойницкие песни.

Даже на деревенской площади слышно было, как дрожали грязные стекла корчмы, когда затянули:

Были хлопцы, были,
На разбой ходили.
Быть веселым, смелым
Надо для их дела.
Взять валашку в руки,
Прыгать через буки,
В зной идти и в холод.
Обвенчайся с милой,
Яник, пока молод.

Янко слушал песни. Бурная мелодия вливалась в его душу отвагу, к тому же Янко так усердно пил водку, что ему мерещилось, будто перед ним уже не соседи, а овцы Картуши, которых он гонит домой.

Тем более когда запели:

Гей, ребята, все за мной!
На разбой спешి весной,
А лишь тронет лес зима,
Гей, ребята, по домам!

Гей в Подлехнице! Янко встал и, пошатываясь, побрел по покрытой снегом дороге. На склонах гор снег, на соснах снег, на хатах снег, всюду снег, рассуждал Янко, зайду-ка я в Подлехнице опрокинуть еще стаканчик, обратный путь с овцами будет нелегкий.

Так он и сделал. Подкрепился в Подлехнице, а когда луна осветила белые равнины, оказался перед Картушиной усадьбой.

Тяжело перепрыгнув через небольшой забор, все еще распаленный, Янко очутился у овчарни.

Еще шаг, вот уже открыта дверь, и на подвыпившего молодца повеяло теплом овчарни.

И тут разразилась катастрофа.

Янко вдруг восторженно грянул:

Скоро, хлопцы, скоро
Окропит росою горы,
Белой, точно пена,—
Снегом по колено.

Красивые белые овечки заблеяли, раздался шорох, мускулистая рука схватила злополучного разбойника и не то выволокла, не то вынесла его из овчарни.

— Иисусе Христе, ведь это я, Янко! — кричал он, но голубоглазая Картуша с возгласом: «Ах ты, разбойник, разбойник!» — своими железными руками обрушивала на него все новые удары.

А луна освещала сверкающий снег.

Утром вся деревня Ждьярки была взбудоражена.

Янко вернулся с распухшей щекой, хромал и держался за нос.

На вопрос, где свѣцы, он ничего не ответил и пошел прямо к священнику. А потом исчез из деревни...

Как же были поражены горцы, когда в следующее воскресенье священник среди прочих оглашений прочел: «Первое оглашение помолвки Янко Карачи и Картуши Повако».

Вечером в корчме пастух Гач предложил разрешить следующий философский вопрос: «Кого украл Янко — овец или Картушу?»

Эх, Картуша, Картуша!

ЗАТОРСКАЯ КАНОНИЯ

Заторские каноники * всегда держали собственных стражников, которые днем и ночью оберегали их владения, носили письма куда надо и вообще занимали видное место в истории обители.

Последним из этих мужей был прославленный Тадеуш Борунский. Я сказал «прославленный», ибо таковым почитала его вся округа. Там никто не скажет: «При канонике Яне Можевском стражником был Борунский Тадеуш». Всякий скажет так: «При стражнике Тадеуше каноником был Можевский».

Слава Борунского разнеслась по всей округе. Борунский был не только стражником, Борунский шил еще кунтуши. И кунтуши эти были поэтическим произведением иглы. Белые, как горный снег, пуговицы с кулак — синие, черные, желтые, зеленые или красные, по желанию заказчика, а подкладка алая, как солнце, когда оно осенью закатывается за рекой Скавой.

По воскресеньям невысокая кряжистая фигура Борунского уже с утра торчала во дворе канонии *, возле статуи святого Венделина, покровителя стад, к которому приходили молиться окрестные мужики, отправляясь продавать скотину на базаре в Подгуже, что возле Кракова; им-то и предлагал свои кунтуши Тадеуш Борунский.

Через этих мужиков слава о нем расходилась во все стороны.

С каноником Можевским Борунский жил в ладу. Редко каноник сердился на него или делал ему внушение. Правда, каноник имел обыкновение говорить: «Тадеуш, вы осел, только я не хочу этого сказать». Но однажды каноник так и не добавил «только я не хочу этого сказать». Это случилось, когда Можевский узнал, какую странную штуку выкинул Тадеуш в прошлое воскресенье.

В тот день стоял он, как всегда, у статуи святого Венделина и торговал кунтушами. Один крестьянин пожелал заглазно купить кунтуш для сына. Борунский спросил, велик ли сын, и крестьянин с благоговением указал на фигуру святого. Тадеуш Борунский, недолго думая, притащил несколько кунтушей и стал примерять их на статуе, пока не подобрал по росту.

Крестьяне дивились и головами качали: таким красивым был святой Венделин в кунтушах Борунского. А каноник Можевский выразился по этому поводу кратко:

— Осел ты, Тадеуш, ослиный хвост, ослиная башка.

Однако гнев его скоро прошел. Под конец он даже посмеялся над этой историей, промолвив:

— Впрочем, если поразмыслить, то Борунский вовсе не осел.

А вечером, в городском трактире, каноник, уже улыбаясь во весь рот, просил Борунского рассказать, как тот двадцать пять лет назад гасил пожар в Станиславове. Это был конек Тадеуша — повествовать о своих приключениях.

Все так и покатались со смеху, едва с губ Тадеуша слетели первые слова:

— Вот провалиться мне на этом месте, все так точно и было.

И он принялся рассказывать, как спас жизнь девяноста трем людям, один вынес двадцать сундуков из шестидесяти двух горящих домов, а в конце концов выяснилось, что в ту пору во всем Станиславове ни одна щепочка не горела.

Иной раз Борунский рассказывал о своей жене, и самое большое удовольствие получала публика от того, как он изображал супружеские перебранки.

Сначала он будто стоит на улице и рассуждает, что если жена его встретит плохо, он ей спуску не даст... Но вот он входит в дом и... Тут он передразнивал резкий, крикливый голос жены: «Как огрею тебя по хребту, негодяй, бездельник! Я тебя проучу! Убирайся вон! Сейчас же убирайся! Понял, или я тебя...» А он будто отвечает: «Касенька, Касенька, ради бога, опомнись, пожалуйста, да я никогда...»

Публика хохотала. Борунский хохотал тоже.

Но однажды ему стало не до смеха: каноник, уходя вечером из трактира, велел Борунскому прийти завтра после обеда: надо, мол, поговорить о рыбной ловле на Скаве. А это для пана Тадеуша был весьма щекотливый предмет разговора.

Право ловить рыбу в Скаве принадлежало исключительно канонии, и Борунский обязан был еженочно следить за тем, чтобы никто другой не закидывал в реку своих удочек. Но неужто же Борунскому бродить ночью по прибрежным кустам, по камышовым зарослям и болотам? Канония не рухнет, если кто и выловит рыбку-другую, рассуждал он и, вернувшись из трактира, спокойно оставался дома, немного шил и укладывался на боковую.

Что теперь делать?

Весь день он провел в страхе. Чем кончится разговор с начальством? В последний раз он выходил сторожить ночью реку четырнадцать лет назад. Ох, грехи тяжкие!

И вот, весь дрожа, он стоит перед каноником Можевским, нервно комкает в руках фуражку и ждет, что сейчас ему бросят в лицо такие слова, как «нечестный человек», «укрыватель браконьеров», «висельник», — короче, прохвост.

Но каноник заговорил с ним очень мягко:

— Знаешь, Тадеуш, почему я призвал тебя? Мне известно, что ты всегда достойно исполняешь свои нелегкие обязанности, мы ведь знакомы с тобой немало лет. Ты, конечно, усердствуешь и ходишь дозором где-нибудь далеко, а тут, под самыми окнами канонии, каждую ночь удят рыбу.

— Не может быть, я об этом и мысли не смел допустить! — с прояснившимся лицом начал врать Тадеуш

Борунский.— Везде я хожу: и у Черного дола и у перевоза — и никого не поймал.

— Нет, я тебе верно говорю,— возразил каноник.— Вчера ночью разболелась у меня голова. Открыл я тогда окно и вижу при лунном свете, сидят рядком на бережку с удочками... Пожалуй, лучше всего будет искупать кого-нибудь из них. Река тут неглубокая, по колена, никому никакого худа не случится, кроме того что вымокнет. Завтра возьми с собой кухаря и кучера и в одиннадцать часов выходи на обход сюда, под окна. За каждого пойманного — отдельная награда. Кого увидите, хватайте — и в воду. В другой раз не полезет. Понял?

— Понял, пан благодетель.

— Ну, добро!

С этими словами Борунский был отпущен. Как легко стало у него на душе! Искупают кого-нибудь, да еще плату за это получают, а главное, уважать его больше будут. Все теперь скажут: «О, наш пан Тадеуш — серьезный человек, с ним не шути!» В общем, хватай каждого — и в воду!

Настала ночь. Месяц временами появлялся в разорванных тучах; Скава тихо несла свои воды в камышах.

Часов в одиннадцать по берегу легким шагом проходили Тадеуш, кухарь и кучер. Тадеуш тихо шептал им распоряжения. Как кого увидят — в воду! Вот они подошли к саду канонии. На берегу, под самой оградой сада, чернела фигура какого-то человека, который то и дело озирался.

— Учуйл что-то, видите, как осматривается,— прошептал Тадеуш спутникам на ухо. Он дрожал от возбуждения.— Теперь тихо надо подойти... Не то заметит!

Три человека крались к тому, кто был на берегу. Вот их отделяет от него уже только узкая полоска камышей. Ага!

Две пары мускулистых рук схватили подозрительного и с большим шумом спихнули его в неглубокую чистую Скаву; человек, плюхнувшись в воду, сейчас же закричал жалобно:

— Помогите! Я каноник Ян Можевский!

Бедный каноник вышел посмотреть, как будет Тадеуш исполнять приказ, и стал жертвой его рвення.

Когда перепуганные сторожа вытащили каноника, вид у него был плачевный, но еще несчастнее выглядел Тадеуш Борунский, так что даже пострадавший, отжимая воду из одежды, усмехнулся:

— Ты не виноват. Кто другому яму копает...

Он не закончил, так как Борунский, видя, что каноник улыбается, воскликнул:

— А награда-то нам достанется?..

От такого купанья канонику достался насморк, а Тадеушу ничего не досталось. Счастливые люди!

ПОХОЖДЕНИЯ ДЬЮЛЫ КАКОНИ

(Юмореска)

Молодой Дьюла Какони отправился под вечер на прогулку. Сначала он прошел по всей деревне Целешхас, потом направился к реке Нитре, воды которой между низких берегов можно было видеть уже издали.

Он немного полюбовался ее стремительным течением, широким руслом, окаймленным с обеих сторон глинистыми красноватыми берегами, и неторопливо пошел вниз по реке, прислушиваясь к ругани пастухов, которые поили у брода грязную скотину.

Затем он бродил, раздумывая в нерешительности, стоит ли идти дальше, пока пастухи не погнали стадо в деревню, громко перекликаясь и щелкая бичами.

Почти совсем уже стемнело. В опустившемся тумане стало трудно различать окрестности, и путь вдоль берега перестал быть привлекательным. Но Дьюла Какони все-таки пошел вниз по течению шумящей реки, в сторону цыганских хибарок.

Целешхасские цыгане жили не слишком романтично. Наоборот, это были весьма почтенные граждане. Они не воровали, не грабили, а честно занимались домашним хозяйством и игрой на скрипке. По воскресным дням и в праздники они играли в целешхасской корчме, и богатые крестьяне щедро платили за их не слишком искусную музыку, главным образом потому, что с цыганами выступала красивая цыганка Йока. Несмотря на самую простенькую мелодию, она умела настолько захватить

своей музыкой, что мужчины восторженно хлопали себя по ляжкам и кричали наперебой: *Éljen, éljen!*¹.

Когда музыканты возвращались в свои лачуги и пересчитывали выручку, они всякий раз бормотали:

— Ну и Йока, чистое золото!

Вот туда-то, к этим лачугам, и направил свои стопы Дьюла Какони.

В первой хибарке горел свет.

— Свет...— прошептал Дьюла, спотыкаясь о травянистые кочки, ошипанные коровами.

— Охотно бы... гм... в самом деле, охотно поболтал бы я с Йокой, да как это устроить? Войду сейчас и спрошу. Постучу,— продолжал он, отряхивая черные штаны, которые испачкал, споткнувшись в темноте,— похвалю их выступление, особенно же Йоку. А дальше?.. Ну да, цыгане и есть цыгане. Восточная кровь. Ладно, там увидим!

Разговаривая так сам с собой, он подошел к освещенной хибарке, постучал. Ответа не было. Постучал еще раз. Опять молчание. Он уже собирался было уйти, когда в лачуге послышались звуки скрипки — там играли марш Ракоци.

Дьюла Какони открыл дверь и вошел.

У него занялся дух. При свете крохотной коптящей керосиновой лампы он разглядел на середине комнаты Йоку со скрипкой в руках. В лачуге больше никого не было.

Йока, высокая красавица с блестящим ожерельем из монет на шее, спросила, что угодно его милости.

— Я пришел...— смущенно заикаясь, начал Какони,— поблагодарить за то удовольствие, которое мне доставила ваша музыка в прошлое воскресенье, когда вы играли в деревенском трактире. Я был просто восхищен! Уж поверьте мне, сударыня, в Пеште я не слыхивал ничего подобного. Ваше выступление меня захватило...

— У вас красивая булавка,— ответила Йока, вытаскивая ее из галстука Какони.

— Я принес булавку вам в подарок за ваше воистину художественное выступление,— снова смущенно залепетал Какони, удивленный внезапным оборотом дела.

¹ Bravo, bravo! (венгерск.)

Притворщица Йока улыбалась ему так приветливо, что он был готов немедленно подарить ей не одну, а двадцать таких булавок.

— Лучше подарили бы вы мне этот перстень, а булавку я отдам брату.— И Йока опять улыбнулась.— Я галстуков не ношу.

И она коснулась руки Какони.

— Этот перстень я принес вам как особое вознаграждение,— врал Дьюла,— а булавку я и вправду подумывал отдать вашему брату,— говорил он, а сам уже снимал перстень с пальца.

— Сударыня,— продолжал он, не сводя с цыганки влюбленного взгляда,— ваше выступление меня очаровало, но мне хочется, чтобы и вы были ко мне немного более благосклонны.

— Ваша милость,— ответила красавица цыганка,— сейчас того и гляди сюда войдет кто-нибудь из моих родственников, а с ними и мой жених цыган Роко. Не знаю, что он вам скажет. Приходите-ка лучше завтра об эту же пору на старую плавучую мельницу на реке. Я буду ждать вас там.

И не успел Какони опомниться, как был деликатно выставлен за дверь хибарки. Вслед ему в ночной темноте понеслись звуки скрипки, играющей в ускоренном темпе марш Ракоци.

Дьюла, спотыкаясь, вышагивал по темной дороге среди лугов в сторону деревни, к поместью своего дяди.

«У нее есть жених, но она дьявольски красива,— думал он.— Теперь я могу уже на кое-что отважиться...»

А в помещичьем доме был переполох.

Дядя встретил племянника, обрадованный, что тот жив. Но за ужином обнаружилось, что у Дьюлы нет в галстук булавки, а на пальце перстня.

— Я купался,— пояснил Дьюла,— и уронил эти вещи в воду.

— В галстук ты, что ли, купался? — недоверчиво спросил дядя.

— Нет, когда раздевался, слышу, булькнуло что-то, и галстук... то есть я хотел сказать, перстень, то есть нет... булавка... утонула, а перстень соскользнул с пальца в воду, когда я вылезал. Вода была сегодня холодная,

но я думаю, что она еще потеплеет,— пытался Дьюла замять разговор, видя, что дядя пристально на него смотрит,— может, еще и дождь пойдет...

— После купанья ты, видно, еще и прогуляться вздумал? — спросил дядя, помолчав.

— Да, я решил пройтись, знаешь, ведь это очень полезно для здоровья. Я прошелся немного по берегу реки и не заметил, что иду в сторону от деревни.

— Бывает, бывает,— согласился дядя.— Я ведь только потому и спросил, что кучер видел тебя вблизи от цыганских хибарок. Он шел из города, поздоровался с тобой, а ты и внимания на него не обратил. Правда, темно уже было. И ты будто бы что-то бормотал все время и спотыкался, идя через луг, понимаешь ли. Вот что рассказал кучер.

И дядя принялся громко хохотать.

«Ну, влетит мне теперь»,— думал Какони, обгрызая дынную корку.

— Кучер говорит, что он еще подумал: «Молодой барин, кажись, где-то лишнего хватил и домой попасть не может». Ха-ха!

Какони облегченно перевел дух.

— Давай-ка поговорим серьезно,— продолжал дядя.— Сегодня днем, когда тебя не было дома, я получил письмо от твоего отца. Он приедет сюда завтра вечером. Он пишет, что хочет проверить, облагоразумился ли ты и можешь ли вернуться в Пешт. Он предполагает, что ты, конечно, уже забыл эту певичку и тебя, вероятно, можно теперь женить, не опасаясь, что ты будешь с ума сходить по ней.

— Дядюшка, мне и в голову ничего подобного не приходило,— заискивающим тоном ответил Дьюла.— Вы меня, должно быть, уже хорошо знаете. Ведь я живу здесь почти месяц, и вы могли убедиться, что со всеми девушками я вел себя весьма скромно. А с певичкой это было просто так.

И Дьюла Какони, очевидно, очень растроганный, ушел в свою спальню.

С месяц назад в конторе фирмы «Янош Какони и К^о» в Пеште произошел весьма неприятный разговор.

На канцелярском столе сидел молодой Дьюла Какони, а перед ним весь красный стоял его отец.

— Ты женишься на Ольге как можно скорее и прежде, чем состоится общее собрание акционеров нашей компании по производству цемента! Запомни, что отец Ольги держит в руках семьсот восемьдесят акций, которые он дает за ней в приданое. Если мы прибавим к ним твои двести двадцать акций, ты станешь владельцем тысячи акций, которые я куплю у тебя по номинальной стоимости двести крон за штуку. Но это должно быть сделано до общего собрания, потому что на общем собрании ты сорвешь хорошие проценты с прибыли. Впрочем, я хотел говорить с тобой не об этом. Ты — жених, понимаешь? А понимаешь ли ты, что, как жених, должен следить за собой и не имеешь права компрометировать семейство Какони? Получив такое хорошее воспитание и будучи женихом, ты раскатываешь по городу в коляске с певичкой из кафешантана, танцуешь с ней, словно ты ослеп и оглох. Разве ты не понимаешь, что отец твоей невесты видит все это? Ты просто осел! Помни, что речь идет о семистах восьмидесяти акциях. Словом, ты должен на месяц убраться из города и выбросить из головы эту певичку. Иначе, пожалуй, ты натворишь еще больших глупостей! Завтра же уедешь к дяде в Целешхас. Поезд уходит в половине восьмого утра с Северного вокзала. Согласен?

— Да!

Какони-старший подошел к телефону, попросил дать ему номер 238 и сказал в аппарат:

— Милый друг! Дьюла завтра уедет в деревню. Надеюсь, что все обойдется как надо!

Так примерно думал о прошлом Дьюла на следующий день, расхаживая по берегу Нитры.

Певичка была красива, но с Йоккой не шла ни в какое сравнение. Какое там! Огромная разница! У певички черные глаза и белокурые волосы, а у цыганки черные глаза и черные волосы. Настоящий восточный тип!

Перед обедом Дьюла отправился еще раз осмотреть старую плавучую мельницу.

Это была одна из тех мельниц, что во множестве

еще можно встретить на реках неподалеку от впадения их в Дунай.

Два дощаника соединены между собой примитивным срубом, в середине его установлено мельничное колесо, которое вращается силой речного течения.

Дощаники обычно привязывают к берегу канатом. При желании такую мельницу можно переправлять с места на место, и жители прибрежных деревень приносят к реке зерно для помола.

С берега на плавучую мельницу перебрасывают деревянные мостки.

Вот такая мельница и была назначена местом свидания.

Здесь уже давно ничего не мололи: водяное колесо было совсем изломано.

Наступил вечер.

Какони сказал, что пойдет в город встретить своего отца, а сам отправился к старой плавучей мельнице.

Под крышей было совсем темно.

Какони сел на перегородку, закурил и стал ждать.

Поблизости мычало стадо и ругались пастухи.

Речные струи с шумом бились в бока дощаников.

Мычание скотины постепенно замирало вдали, пока наконец совсем не смолкло.

Мельницу слегка качнуло.

«Должно быть, Йока сейчас уже придет,— обрадовался Дьюла.— Она не хотела, чтобы ее видели пастухи. Который же час?»

Дьюла зажег спичку и посмотрел на часы.

«В половине девятого приедет отец,— думал Какони-младший.— А-а, скажу, что сбился с дороги».

Мельница как-то странно вздрагивала, вода шумела все сильнее.

— Не хочется здесь долго торчать,— пробормотал Дьюла, просидев час.— Она могла бы уже и прийти, очевидно, дома ее что-нибудь задержало... Ну ладно, лишь бы пришла... Жаль, что ее в Пеште нет.

Мельница вдруг резко повернулась, так что Дьюла чуть не свалился с перегородки, на которой сидел.

— Черт побери, что такое происходит? — пробормотал Дьюла, зажигая маленький карманный фонарик.— Я лучше выйду.

Он поднялся по нескольким ступенькам к двери, которая вела на мостки.

Фонарик чуть не погас от резкого порыва ветра, и Дьюла Какони, к немалому своему испугу, увидел, что мельницу со всех сторон окружает вода, а деревья и кусты с бешеной скоростью убегают назад.

Дьюла Какони плыл вниз по течению Нитры...

Он принялся кричать, но шум воды заглушал его отчаянные вопли о помощи.

На следующий день в газетах было напечатано следующее сообщение:

НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА РЕКЕ

Во время пребывания в Целешхасе с господином Дьюлой Какони произошел сенсационный случай, который привлечет внимание читателей, поскольку господин Дьюла Какони известен во всех кругах пештского общества. Вчера вечером он решил осмотреть старую плавучую мельницу и не заметил, что по не установленной до сих пор причине оборвался канат, которым она была привязана. Когда мельница находилась уже на значительном расстоянии от Целешхаса, господин Дьюла Какони вдруг заметил, что она плывет вниз по течению. Все его призывы о помощи оказались тщетными. Только сегодня в шесть часов утра мельница была остановлена близ впадения Нитры в Дунай и господина Дьюлу Какони выручили из неприятного положения. В своем плавучем заключении он проделал путь в 45 километров...

Прочитал ли эту заметку жених прекрасной Йоки, цыган Роко, сказать не могу, так же как не могу объяснить, почему Йока не могла играть на скрипке в трактире даже через две недели и ходила с завязанным лицом.

И не стану я также утверждать, что кто-нибудь видел цыгана Роко перерезающим канат у старой плавучей мельницы или что видел его кто-нибудь за день до происшествия подслушивающим у старой хибарки, когда там находился наедине с цыганкой Дьюла Какони.

Но, как бы то ни было, Роко всякий раз, проходя по берегу реки Нитры, при виде плавучей мельницы лукаво ухмыляется.

КАК ДЕДУШКА ПЕРУНКО ВЕШАЛСЯ

(Очерк из Подгалья)

Пока был жив лесник Дудра, хорошо жилось подлехницким жителям.

Лесник Дудра говаривал в подлехницкой корчме: — Я лесник, и хороший лесник, господам-то я служу много лет, но землякам почет в первую очередь. Вы из Подлехниц, я из Подлехниц, значит, у нас родная кровь. Я все вижу и ничего не вижу.

Сказав так, он умолкал и через несколько минут обращался к подлехницам, будто речь шла совсем о другом:

— Друзья, завтра я иду на обход к перекрестку.

Ну, понятное дело, не было ничего странного, что в тот день на противоположном конце леса кубарем катились зайцы и косули, а в Подлехницах у многих лоснились губы. Все это было уже настолько привычно, что лесник Дудра ни одного вечера не приходил трезвым в господскую лесную сторожку, дырявая крыша которой живописно выглядывала из-за зеленых свежих елей.

Но это бывало лишь зимой. Летом у горцев нет времени думать об охоте. Им хватает хлопот и с разбегающимися в разные стороны овцами. Тут уж не до зайцев и косуль! Летом горец, увидев косулю, говорит спокойно:

— Если бы да наши овцы так прыгали, за ними никто бы не углядел.

Зато уж зимой забьется сердце горца под овчинным кожухом, глаза заблестят и он даже сплюнет!

— Эх, черт побери, если бы да эти косули так же тихо ползали, как наши овцы.

Но в последнюю зиму вышло все по-другому.

Летом лесник Дудра помер. Выпил, значит, немного лишку и сбился с дороги, идя домой. Вместо леса попал он к разбойничьей скале, упал с нее и разбился насмерть. Эх, как жалели все Дудру!

Господским лесничим стал Станько Шашчар. Он был не из Подлехниц, а из Важной. И поскольку происходил он из Важной, у него не хватало одного уха. Ведь подлехнинцы были закоренелыми врагами всех жителей Важной и потому во время драк с ними по старому своему обычаю отрезали им уши.

Такая судьба постигла и Шашчара, когда он влюбился в дочку газды¹ Перунко. Газда Перунко самолично произвел операцию над ухом Шашчара.

Тот, когда рана зажила, сказал:

— Даром все это деду Перунке не пройдет. Если бы ему, старому черту, ноги переломать, я за все бы с ним был в расчете. И дочка у него зубастая, дьявол!

Грустно было в Подлехницах той зимой.

Дедушка Перунко тоскливо поглядывал на печь, где под кожухом, на котором он спал, ржавели проволочные силки для зайцев.

«Зимой прежде куда лучше жилось. Как первый снег выпадет да подморозит покрепче, он, дед Перунко, первый потихоньку слезет, бывало, с печи, возьмет силки и идет по хрустящему снегу в лес. Там он знал места, где зайцы бегали к деревне. Он ставил силки и шел домой на печь. И утром, глядишь, отличный заяц в силках. Потом его жарили. А нынче?»

Вот уже и первый глубокий снег выпал. Дичи вдоволь. И косули уже подходят к домам. Прежде взял бы дед Перунко свое ружье, старинное, но очень хорошее. Только разве пороху много надо для этого ружья, зато бьет оно без промаху... Может, кого другого отдача и свалит на землю, а ему, деду, хоть бы что — ни за что не упадет, но уж несколько голов дичи из него

¹ Хозяина (словацк.). (Прим. автора.)

уложит! А сейчас ружье в углу ржавеет, порох весь отсырел. Все ржавеет. А эта собака Шашчар вокруг хаты деда Перунко похаживает. Как взойдет месяц, так тень Шашчара и видна в халупе. Никак нельзя на охоту выйти!»

Так плакался дедушка Перунко старосте и соседям, когда они в воскресенье собрались у него потолковать.

— А завтра, друзья, время будет,— тонким голосом сказал Войтех Свака,— непременно будет. Встретил я утречком у корчмы бабу из Важной. Да вы ее знаете, эту Кмохову Мару. Она шла выпить немножко. Остановился я — словечком-другим перекинуться. Она, между прочим, и говорит, что завтра Шашчар в город подастся на польскую сторону, к господам, мол, пойдет за письмом. Значит, можем мы действовать смело, бояться нечего. Лесника не будет, а зайцев — под каждым кустом. До польской стороны далеко, он послезавтра разве что к вечеру вернется.

Условились. Завтра вечером все соберутся у дедушки Перунко и пойдут в господский лес.

Сколько лесов, и все господские, прости господи! Сколько дичи, и вся господская, а мужику ничего?

На следующий день вечером восемь горцев в кожах вышли из Перунковой халупы.

Перунко шел с проволочными силками впереди всех.

Они тихонько ступали по хрустящему снегу, поглядывая на заснеженные, серебристые в белом свете месяца равнины.

Ни единого черного пятнышка на снегу. Тишина повсюду.

Дошли мужики до леса. Черные деревья быстро приближались.

Прошли полосу леса и вышли на лесосеку.

— Оставайтесь здесь,— приказал дедушка Перунко,— а я пока кое-где силки расставляю, ну вон хотя бы у той елки.

Он указал на небольшую елку, одиноко стоявшую на середине вырубки, и пошел.

Остальные спрятались в кусты.

Идет Перунко. Подходит к елке. Ставит силки внизу между елкой и низкой еловой порослью. И тут сильная рука ухватила его за воротник. Оглянулся дед... Это был просто-напросто Шашчар, настоящий Шашчар.

— Что ты здесь делаешь? — рявкнул он над ухом дедушки. Ружейный ствол блеснул в лунном свете.

— Я... я... — залепетал Перунко. — Я... я...

— Говори, негодяй! — снова рявкнул лесник.

В седой голове Перунко мелькнула удивительная мысль.

— Я... я... иду на лесосеку повеситься, — еле вымолвил он. — Надоело мне жить на свете, плохо мне живется...

Лесник молчал.

«Я его перехитрил», — подумал дедушка Перунко и потому продолжал:

— Плохо мне живется на белом свете, налоги одолели, а сколько их! Старость подошла, и дома говорят: как с дедом быть, от его работы толку нет. Ну вот и пошел я на лесосеку повеситься на проволоке.

Перунко умолк, всхлипнул и дождался ответа Шашчара.

Тот ухмыльнулся.

— Дедушка Перунко, эта елка тебя не удержит. Вон там, на склоне, сосна отличная, ветки у нее толстые. Если не доберешься до них, я тебя подсажу...

И лесник почти поволок ошеломленного Перунко по тропинке к красивой сосне.

Не понадобилось и пяти минут пути в ту сторону, чтобы дедушке Перунко снова захотелось жить, и он тут же признался ухмылявшемуся Шашчару, что и не думал удавиться в силках, которые годились лишь для зайцев.

После этого дедушка Перунко отсидел в кутузке пять дней.

ЧЕРЕЗ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ

(Галицийский очерк)

В Кракове бродягу Гробко одели в заплатанную, но приличную одежду и выслали по этапу в родную деревню Цепле где-то за Станиславом.

— А все-таки я правду говорил,— гордо произнес старик Гробко, когда его вели к поезду,— что через тридцать лет вернусь в Цепле. Умею я слово свое держать.

И седой Гробко мечтательно оглядел железнодорожные вагоны.

Тридцать лет назад Гробко жил в Цепле, среди хвойных лесов, которые навевают тоску, когда вы идете по ним. Вы ничего не видите вокруг себя, кроме черных молчаливых деревьев, и под ногами у вас шуршит осыпавшаяся хвоя. Пейзаж изменится, если вы пройдете до больших черных озер. Почва колеблется под ногами, а деревья вечером отбрасывают на воду длинные причудливые тени, так что вы волей-неволей вспоминаете разную нечисть, которой вас пугали в детстве.

Вот в каких местах вырос Гробко. В детстве он видел, как отец валит лес и рубит ели, на которые взбирались деревенские ребяташки, чтобы разорять птичьи гнезда. Он вырос, стал сильным парнем и так же, как отец, сделался лесорубом. На рубке леса Гробко кричал до хрипоты:

— Раз, два, три!

Он жил, довольствуясь тем, что по воскресеньям пропивал у еврея Берко до трети своего заработка.

Но эта мирная жизнь продолжалась до той поры, пока отец не сказал, что пришло время сыну жениться, и мать начала подыскивать невесту.

Ему присмотрели Машу. Она приглянулась, и Гробко уже совсем свыкся с мыслью, что Маша станет его женой, когда в деревню приехал горбун Боркатиц и дал за Машу на двадцать золотых больше.

Там, в лесах, девушку получал тот, кто давал за нее больше.

Гробко сказал горбуну Боркатицу, что уедет и вернется через тридцать лет, и тогда халупа Боркатица весело запылает, как солнце, когда оно вечером заходит за лес. И на другой день Гробко уехал с топором за плечами искать счастья на чужой стороне.

— Правду я говорил, что вернусь через тридцать лет домой,— повторил Гробко своему конвоиру в поезде, поглядывая в окно. В окне мелькали деревни, поля, деревья, серебристые ленты рек, а Гробко все смотрел вперед, бормоча: — Через тридцать лет...

Потом он сел в уголке вагона, раздумывая, что надо раньше сделать. Нужно ли, как он обещал тридцать лет назад, сперва запалить халупу Боркатица, а потом пойти в корчму или пойти сперва выпить и только тогда уже поджечь халупу.

В кармане у него было пятнадцать крейцеров суточных, которые выдавали на харчи каждому высланному по этапу. Гробко заранее подсчитал, сколько водки сможет получить на эти деньги.

— Боркатиц тоже, наверное, стариком стал,— бормотал он,— а Маша — старой бабой, но это неважно. Я хоть докажу, что слово мое крепко... Через тридцать лет!..

Внезапно из глаз Гробко брызнули слезы. Тридцать лет он не горевал о родных местах, скитаясь по белу свету, и тридцать лет повторял из года в год свое обещание, данное Боркатицу. А теперь, когда он к вечеру будет дома, все это время, прожитое им, вдруг показалось ему таким долгим, что он даже заплакал. Поезд шел по темным лесам.

Под вечер он был уже дома. Уходя от старосты, которому он сдал свой сопроводительный документ, Гробко все еще раздумывал, сразу запалить халупу Бор-

катица или сперва зайти в корчму. Наконец, он решил: сперва подпалю.

Не подавая виду, кто он, Гробко спросил у встречаемых лесорубов, дома ли Боркатиц.

— Ох, старый Боркатиц лежит дома,— сказал один из них, покачав головой.— Лежит дома и ждет, не принесет ли ему кто-нибудь хлебца кусок. Руку он сломал, когда рубил дерево, жена от него ушла, и теперь старика Боркатица кормит община.

Бродяга Гробко, не говоря ни слова, вынул из кармана свои пятнадцать крейцеров и вошел в развалившуюся халупу Боркатица. Стараясь не глядеть на горбуна, лежавшего в задней комнате, он положил деньги на лавку и сказал, изменив голос:

— Купи на эти деньги хлеба!

И чтобы не слышать благодарности, выскочил из комнаты и без оглядки зашагал в черные хвойные леса, что окружали деревню.

Через тридцать лет...

ЦЫГАНСКАЯ ПОЭЗИЯ

Взошла луна. Багровый шар все явственнее выступал из мглы, бледнел, и вот уже белым светом залило степные травы.

Цыган Барро следил за восходом луны. Он стоял, то покачивая головой, то кивая, по мере того, как луна поднималась все выше и выше, и казалось, цыган вполне ее одобряет.

— Долголько не видел ты этого,— промолвил молодой цыган, сидевший рядом на земле.— В тюрьме ты на месяц не смотрел.

— Да, отсидел-таки три месяца,— ответил Барро, не спуская глаз с луны.

— Почему ты так смотришь на месяц?

— Думаю,— медленно произнес Барро.— Сначала был большой шар, потом красный цвет исчез, и месяц стал совсем белый.

— Хотел бы я быть месяцем,— проговорил молодой цыган.— Плавал бы там, наверху, и никто бы меня не поймал.

— А я ходил бы среди звезд да смотрел вниз, на жандармов,— задумчиво произнес Барро.

— И они казались бы маленькими,— решительно сказал его молодой товарищ,— такими маленькими, что и не разглядишь.

— И они не могли бы разглядеть нас,— подхватил старший,— и жил бы я спокойно, бегать не надо было бы.

— Разве ты бежал из тюрьмы?

— Да видишь ли,— доверительно сказал Барро,— нынче утром удрал я из города, и вот я в степи. Три месяца отсидел, а сидеть еще девять месяцев не захотелось. Теперь самое подходящее время: крестьяне убирают кукурузу, в деревнях ни души.

— Смотри, как звезды дрожат,— перебил его молодой цыган, подняв лицо к небу.

— Дрожат — это у них вроде землетрясения,— серьезно пояснил Барро.— А видишь месяц, он уже белый, смотри, облака проходят по нему, как будто он плывет, а сам стоит на месте.

— Хотел бы я очутиться на месяце,— в раздумье проронил молодой цыган.— А за что тебя схватили?

— За коня, вернее, это был жеребенок,— ответил спрошенный.— Видишь ту яркую звезду, а там вон — красную?

— Вижу, но скажи, тебя не били там, в тюрьме?

— Били, но немного; смотри, месяц выплыл из облаков.

Из высоких трав вдруг вынырнули два штыка, и в следующий миг Барро лежал на земле с наручниками на запястьях и над ним склонялись свирепые лица жандармов. Молодой цыган исчез.

Луна озаряла штыки жандармов, когда Барро в наручниках шагал между ними к городу по широкой безмолвной степи.

А в городе, когда судья спросил, как его поймали, Барро сказал:

— Месяц задержал, вельможный пан.

— Как месяц?

— Да вот всходил месяц, я и задержался.

КРЕСТИНЫ

(Очерк из Подгалья)

Халупа Гробека стоит на отшибе. Растущие вокруг старые, хмурые деревья как будто с состраданием поглядывают на нее, на деревянный загон, где летом содержатся овцы, и на притулившийся неподалеку полуразвалившийся хлев для зимовки скота. Смотрят деревья, качают своими ветвями, словно хотят сказать: «Когда же наконец сметет все это ветер, и вместе со всеми обитателями? Смел бы по крайней мере хоть гробековских ребяташек, чтобы не кидали в нас камнями!»

Примерно так думал и Гробек, когда у него родился седьмой ребенок.

«До чего ж они жалостно качаются, эти деревья... Опять на одного больше, а халупа того и гляди развалится, хлев вот-вот рассыплется,— рассуждал он сам с собой, стоя перед своим жилищем.— Теперь-то уж все это рухнет. Новый хлопец тому поможет. Здоровый будет парень...

Где взять крестного? — размышлял он дальше, глядя с откоса вниз, на рассыпанные по долине избы подлехничан.— Ну кто ко мне пойдет? Небось, каждый смотрит на меня как на вора. Что правда, то правда: овец ворую. Но ведь столько ребят... Чем больше ребят, тем больше нужно овец. Это уж такое дело.

Пойду я, к примеру, к Вореку, а он спросит: «Куда дел барана, что у меня украл?» Пойду, скажем, к Палеку, этот схватится за кнут: «Отдай моих овец,

негодяй! А если пойти к Ренчану?.. Тяжко, братцы! Я у него... Э, да что там говорить! Лучше всего обратиться к Лунеку: он тоже поворовывает, живет, как и я. Помогите, господи! Чего-нибудь уж принесет младенцу. Как же, иначе нельзя: крестный отец — почетный отец».

Приняв решение, Гробек зашел в халупу, подпоясался и спустился со склона вниз, в долину.

Вскоре он был уже в Подлехницах. Лунека нашел в корчме; выпил с ним там пару стопок водки, проследил за ним, расстроенный, сообщил приятелю:

— Лунек, друг, народился у меня хлопец.

Затем, встав с грубой, деревянной, кое-как сколоченной скамьи, обнял Лунека и, всхлипывая, прошептал ему на ухо:

— Дружище, прошу тебя быть крестным.

Удивленный Лунек выдавил из себя: «Ладно», — и Гробек облобызал его:

— Крестный отец — почетный отец!

После этого водка лилась уже сама собой, и замызганная краснощекая корчмарка еле успевала ставить на стол все новые и новые склянки.

Расходясь поздно ночью, оба были так растроганы, что разрыдались в ночной тишине, не будучи в состоянии решить, кто к кому должен идти за крестного: Гробек к Лунеку или Лунек к Гробеку.

Тяжко было Гробеку добираться до своей халупы. Ежеминутно запутывался он в сети трав; спотыкаясь, брел через вырубку, натыкался на сосны, падал на кусты ежевики, но домой все-таки попал. Привычка есть привычка.

Дома, при свете тлеющих в жаровне углей, он вдруг увидел вместо одного новорожденного целых пять. В ужасе выбежал он вон и начал кричать в темноту, что, когда вечером выходил из дома, у него был всего один новорожденный, а сейчас их пятеро.

Гробек громко вопил и причитал. Вернувшись в избу, он обнаружил уже шестерых.

Наутро все село помиралось со смеху. Староста божился всеми святыми, что около полуночи он вдруг услышал странные звуки, доносящиеся от халупы Гробека, как будто кто-то рыдает, и что он явственно разобрал, как

Гробек сначала кричал, что приключилось диво-дивное: у него народилось сразу пять новых ребят, а через минуту раздался еще более отчаянный вопль: это Гробек причитал уже над тремя парами младенцев.

И, глядите-ка, Гробек и сам тут как тут, на майдане. Идет, кожух на плечах, расстроенный, вздыхает.

— Что там у тебя случилось? — спросил староста, умывающийся по случаю воскресного дня в ручейке, который низвергался в долину с гор и пробегал через всю деревню.

— Староста, несу злую весть: кто-то украл у меня ночью лучшего барана. Он был весь черный, как земля вокруг костра, чернехонький, только на шее белое пятнышко. Король-баран! Я его недавно...—Гробек прикусил язык.— Я его недавно... купил на базаре в Кежмароке. Дорога была долгая, тяжкая. Купил и вчера еще думаю себе: «Вишь, какие дела, старый Юро, у тебя теперь новый парень и новый баран. Парень вырастет, и баран вырастет. Барана парень сможет продать, коли понадобится. А пока что он нам послужит. Себя оправдает. Все на одного больше».

А баран-то нынче и пропал! Иду это я утром в хлев, а там одни только белые шубы.

Гробек вытер глаза засаленным рукавом своего кожуха.

Староста усмехнулся:

— Видишь, Гробек, и ты чужих потаскиваешь! А сейчас у тебя у самого утащили. Вор у вора дубинку украл!

Староста умылся и зашагал к дому. Гробек поплелся к корчме, не переставая дорогой причитать.

*

Прошло несколько дней. Фарарж окрестил младенца Гробека. Крещение обошлось без всяких неприятных происшествий. Только празднично разодетый крестный Лунек целых семь раз погружал молодого Гробека в огромную купель, так что младенец в знак протеста начал даже брызгаться, чем доставил немалое удовольствие присутствующим подлехничанам; в тишине костела раздались их одобрительные восклицания: «Вот это

да! Это будет парень! Гляди, как трепыхается! Чертеночек маленький!»

Когда Лунек надумал повторить эту процедуру восьмой раз, пан фарарж дал ему по уху.

На этом крещение было закончено, и началось празднование.

При крестинах, как и при свадьбах, в Подলেখницах обычно стреляют из старых пистолетов. На этот раз стреляли по направлению к гробековской халупе, перед которой красовался бочонок водки.

Распознав его, гости запели:

Дай мне бог здоровья, воззри отчим глазом,
Чарочки четыре опрокину разом.
Горилочка — уйу! — в животе играет,
Если я помру, кто меня вспомянет?

Младенец, положенный на траву, кричал изо всех сил. Кругом все пили. Каждый подходил к новорожденному со стопкой и, наклонясь над ним, шептал: «Благослови, господи, благослови, господи», — затем одним духом опоражничал склянку, и снова раздавалось пение:

Умру, умру, не буду жить,
Кто ж горилку будет пить?
Есть девчонка у меня,
Пьет горилочку, как я.

Старая Вавруша хриплым голосом засипела:

Девчоночка, девчоночка,
Моей будешь, моей...

Некоторые гости, что постарше, уже спали, истомленные питьем, когда упившийся крестный Лунек прошептал Гробеку:

— Пойду, братец, за подарком!

Ушел... Прошло немало времени, прежде чем на откосе снова раздался его голос, оповещающий о прибытии. Он тащил за собой что-то черное. Это «что-то» неистово упиралось.

Несколько раз споткнувшись, Лунек приблизился наконец к собравшимся горцам. Тут вдруг Гробек завопил:

— Лунек! Ты вор, негодяй!

И уж Лунек лежит на земле, а на нем восседает Гробек, вцепившись ему одной рукой в горло, а другой удерживая поводок, обвязанный вокруг шеи приведенного Лунеком животного.

Это черное животное оказалось тем самым гробковским бараном, что был у него украден. Весь черный, а на шее белое пятнышко.

Крестный Лунек был нещадно бит...

Наутро, когда староста допрашивал его, как он мог так ошибиться, Лунек, пригорюнившись, ответил:

— Так их у меня много, черных-то баранов! Кто их там разберет!

Воистину, крестный отец — почетный отец!

НЕТ БОЛЬШЕ РОМАНТИКИ В ГЕМЕРЕ

(Венгерский очерк)

Когда в Добшине бывает базар и старуха Карханиха, которая у костела продает разноцветные платки, видит поблизости Юраша, она тотчас же убирает в ящик красные платки с голубыми колечками.

И вот почему. Лет пять назад Юраш купил Маруше Пухаловой точно такой же платок, но так и не женился на ней, хоть и ухаживал больше четырех лет.

С тех пор Юраш видеть не может эти платки, каждый раз скандалит:

— Что же ты, бабка, такие платки продаешь?!

Лет пять назад в Добшине тоже был базар. Юраш пошел туда с Марушей, купил ей платок, в городском трактире угостил стаканчиком сладкого вина и на обратном пути (а идти-то до Гнильцы четыре часа надо) то и дело объяснялся ей в любви.

А под вечер этого чудесного дня два жандарма вели Юраша в Спишску Нову Вес — в суд за недозволенную охоту в лесу и дерзкое сопротивление властям.

Бедняга Юраш! Он проводил Марушу до дому и на радостях выпил сливовицы у Радика. Там он услышал, что граф Андраши выехал сегодня в лес на охоту.

— Чем я хуже графа? — сказал Юраш, голова которого кружилась от любви и сливовицы, встал с изрезанной скамейки, пошел домой, взял двустволку покойного отца и отправился в лес браконьерствовать.

Идет он вдоль ручья по долине, а навстречу ему лесник Пехура.

— Уйди с дороги, Пехура,— сперва вполне добродушно посоветовал Юраш.

Лесник Пехура, который шел, не зарядив ружья, схватился за длинный нож, что был у него в кармане куртки.

— Черт сам не пройдет, так жандарма пошлет,— рассказывает теперь Юраш.— Отобрал я нож у Пехуры, и он уже стоял на коленях, потому что я грозил пырнуть его. И тут откуда ни возьмись жандармы... И после того...

Словом, суд приговорил Юраша к шести месяцам тюрьмы.

На четвертом месяце отсидки в камеру к Юрашу попал молодой Оравец. Он угодил под арест на неделю за угрозу бросить в ручей сельского старосту из Предней Гуты.

— Чудные дела у нас в Гнильце творятся,— сказал в первый день Оравец, лег на нары и уснул.

На следующий день он обратился к Юрашу:

— И Маруша...

И только на третий день договорил:

— Маруша выходит замуж.

Оравец, боясь, что Юраш его изобьет, сказал это в присутствии надзирателя, когда тот принес им еду.

Тем не менее Юраша перевели в камеру № 4 и, наложив на него дисциплинарное взыскание, посадили на несколько дней в темный карцер, ибо в тюремном дисциплинарном уставе сказано: «а) Если заключенный учиняет насилие над другим заключенным, то...»

А Маруша и вправду собралась выйти замуж. Узнав, что Юраша в тот достопамятный день увели жандармы, она забыла и думать об утре, когда он, ее жених, объяснялся ей в любви, и о том, что он купил ей на шею красный платок с голубыми колечками, и сказала отцу:

— Этот Юраш — чистый разбойник. Жена его будет несчастной женщиной.

В следующее воскресенье Марушу провожал в костел Васко.

У Васко была большая мельница, на голубую куртку были нашиты тяжелые серебряные пуговицы. А у Юраша была крохотная хибарка, он поставлял древесный уголь на рудник и вместо голубой куртки носил рубашку с пряжками. Вдобавок это был негодяй и разбойник.

Через две недели Васко пришел к Пухалам просить руки Маруши. Старый Пухала дал согласие, но на следующий день Васко пожаловался, что у него болит спина — его подстерегли у мельницы парни, друзья арестованного Юраша.

Когда об этом узнал лесничий в Долинке, он вскоре как-то сказал в Добшине добшинскому нотариусу:

— Какой наш народ романтичный!

А романтики еще прибавилось, когда Юраш вышел из тюрьмы.

Все видели, что Юраш торчал целый день у мельницы Васко.

— Ждите самых удивительных событий,— сказал лесничий в добшинском казино городскому нотариусу.

И в самом деле произошли удивительные события.

Лежит Юраш в лесу у самой мельницы и внимательно следит, не покажется ли Васко.

— Ну-ка, выйди, парень! — кричит Юраш мельнику. — Выдь-ка, мне надо с тобой поговорить!

У окна показывается испачканное мукой лицо Васко.

— Ну, так ты выйдешь или нет? — снова кричит Юраш.

Васко осторожно приоткрывает окно.

— Юраш, дружок, не сердись...

— Так впусти меня! — кричит Юраш. — Мне надо кое о чем с тобой потскаковать.

— Юрашек, — упирается Васко, — не могу, ты меня избобьешь.

— Спрашиваю: ты меня впустишь или нет? — гаркнул Юраш на весь дремучий черный лес, подходя к окну.

Васко, еле волоча ноги, подошел к воротам, отодвинул засов и впустил Юраша.

— Хорошо, — одобрил Юраш и шагнул в комнату. Васко — за ним. Оба сели.

— Юрашек, не сердись. Не выпьешь ли рюмочку? — дрожащим голосом спросил Васко.

— Выпью, отчего не выпить,— согласился Юраш.— Ты знаешь, о чем я хочу с тобой поговорить?

— Не сердись, друг милый,— попросил Васко.— Я и сам не рад, что так получилось. Девушки, что листья с дерева. Сегодня здесь, завтра там.

— Васко, давай, неси вино,— посоветовал Юраш,— да народ от окошек отгони.

Ведь половина деревни ждала, чем кончится этот визит.

Васко вскоре вернулся с вином, налил, оба выпили.

— Доброе вино,— сказал он,— в Ягре покупал. Не кислое, но и не сладкое.

— Замолчи! — ответил Юраш.— Да знаешь ли ты, зачем я к тебе пришел?

— Милый, золотой мой,— попросил Васко,— к чему этот разговор! Мы всегда были товарищами, и... понимаешь, она мне понравилась, я — ей...

— Не об этом я спрашиваю! — закричал Юраш.— Садись-ка поближе да вина наливай, чего ты все к двери жмешься?

Васко осторожно присел и налил снова.

Юраш выпил и тихонько сказал Васко:

— Тот платок, что я Маруше купил, обошелся мне два гульдена, Васко, заплати мне эти два гульдена, и дело с концом!..

— Видишь теперь, братец,— сказал немного спустя Юраш, пряча деньги за потертый пояс,— что мы всегда товарищами были.

— Вывелись романтики в Гемере,— сказал на следующий день в добшинском казино лесничий из Долинки и стал рассказывать...

КЛИНОПИСЬ *

Неподалеку от подножия обрывистых скал добывала уголь фирма «Вильгельм и К⁰». На втором этаже здания дирекции сидел в своем кабинете бледный, дрожащий инженер компании Павел Вебрейх. Время от времени он потирал спину, чрезвычайно взволнованный, что было ему вообще-то несвойственно.

Павел Вебрейх уже давно жил на Востоке. Самое любопытное заключалось в том, что здесь, на северо-востоке Малой Азии, где добывала уголь фирма «Вильгельм и К⁰», он поспешил применить свои принципы, усвоенные им в Европе. Другими словами, он с чистой совестью клал себе в карман часть заработка шахтеров — людей самых различных национальностей, как-то: арабов, грузин, персов и армян, — совершенно так же, как где-нибудь в Центральной Европе.

Но, кроме того, он ставил здесь различные научные опыты, стремясь на практике проверить, как вообще возможно ничего не платить шахтерам. Другим его развлечением, совершенно несхожим с остальными его занятиями, были поиски древних клинописей, которые оставили на окрестных скалах ныне вымершие жители этой страны.

И в этой области инженер Павел Вебрейх блестяще преуспевал. Не было в Европе такого ученого исторического общества, которое в своих ученых журналах время от времени не публиковало бы открытия инженера, его сообщения о найденных им новых клинописных текстах и их расшифровке.

Словом, Павел Вебрейх был весьма известным исследователем древней ассирийской письменности. За несколько тысячелетий до нашей эры в этих краях жили ассирийцы, занимая территорию от Тигра и Евфрата до северо-востока Малой Азии, где в наши дни добывала уголь фирма «Вильгельм и К^о».

Смуглый араб, слуга инженера, смотрел в замочную скважину на странное поведение своего господина. Тот то и дело тер спину и ерзал на стуле, склоняясь над бумагами с оттисками клинописи.

Павел Вебрейх расшифровывал новый, весьма странненький текст, открытый несколько недель назад на соседних скалах. Сейчас перед инженером лежала именно эта клинопись.

Чем дольше смотрел Павел Вебрейх на оттиск, тем усерднее тер он спину и ерзал так чудно, что араб, слуга инженера, подражая своему господину, начал тоже ерзать и тереть рубаху так же странно, словно уклонялся от многочисленных ударов.

Это удивительное развлечение продолжалось до тех пор, пока к Павлу Вебрейху не пришел гость — глава фирмы, сам Вильгельм.

— Приветствую вас, господин директор,— сказал бледный Вебрейх.

— Я пришел узнать, как подвигается расшифровка вновь найденного клинописного текста,— сказал Вильгельм.

— Я прочитал его,— произнес дрожащим голосом инженер.

— По вашему лицу сразу заметно, сколько сил вы положили на разгадывание этой клинописи,— сказал Вильгельм.— Что же с вами случилось, почему вам спокойно не сидится?

— Я не нахожу себе места, разрешите вам сказать, господин директор,— отвечал бледный инженер.— По неволе начнешь ерзать, если мороз дерет по спине. Ужасные вещи я узнал из этой новой клинописи.

Тут Павла Вебрейха снова схватило, и он принялся чесать спину об угол шкафа.

Несколько успокоившись, он продолжал:

— Извините, что вы видите меня в таком странном состоянии, но вы несколько не удивитесь, когда я про-

что вам перевод этой клинописи. Необыкновенно интересная надпись. У древних ассирийцев, как я узнал из расшифрованного текста, еще шесть тысяч лет назад здесь были шахты. Произошло восстание...

Директор Вильгельм, услышав слово «восстание», нервно закусил свой черный ус.

— Началось восстание,— продолжал Вебрейх.— Собственно говоря, древние ассирийцы, которые были рабами и работали в шахтах, взбунтовались... Произошли ужасные события... Древние ассирийцы прогнали своих начальников...

Директору пришлось сесть, так как от слов инженера у него подкосились ноги.

— Да,— продолжал инженер,— и они прогнали своих начальников и в память этого события выбили на скалах надпись, которая рассказывает о том, что тогда произошло.

Павел Вебрейх склонился над бумагами и начал переводить текст клинописи, сопровождая свои слова различными невразумительными восклицаниями, обращенными к директору.

Он переводил:

— «...Было нас, ассирийцев, в копиях много... а их было мало... Но они подгоняли нас бичами... И даже малую, рабскую плату нам не доплачивали...

И было тех адсубаров как пальцев на руке...»

— «Адсубар» — это что-то вроде нынешнего инженера,— пояснил Вебрейх и продолжал переводить:

— «У тех адсубаров взгляд грозный, слова их еще ужаснее, и дыхание вонючее...»

— Какая дерзость! — возмутился директор.— Читайте дальше.

Вебрейх прочитал:

— «Слова адсубаров скотские, и мы молчали, как тигр в тростниках Евфрата, израненный стрелами лучников.

И сказали мы себе, что адсубаров мало, столько же, сколько пальцев на руке, а нас — что звезд над горами Ирана...

И после того сказали мы, что конец адсубаров близок,

И вечером одного дня, когда они выходили из нагашей...»

— «Нагаш» — это серебряный рудник, — пояснил Вебрейх и продолжал:

— «...Когда же они выходили из нагашей, схватили мы их одного за другим и...»

Инженер поерзал и прочитал сдавленным голосом:

— «...и палками из бычьих хвостов учинили алварашукбу», что значит расправу, и «марушукба», что значит «пролилась их кровь...»

Вебрейх дочитал рукописный текст, и араб, слуга, что подглядывал в замочную скважину, увидел самое удивительное зрелище: Вебрейх и директор чесали свои спины об углы шкафа.

И оба были бледны, как полотно.

Когда, наконец, они успокоились, директор сказал:

— Одно меня радует: что эти древние ассирийцы давно уже вымерли...

А что, если не все вымерли?

НАШ ДОМ

(Рассказ Лойзика)

Дом, в котором живем мы, красивый и сразу всякому бросается в глаза. В деревне люди живут в собственных маленьких низких домиках и хибарках. А тот дом, где мы живем, не наш, но зато он огромный, высокий. В нем пять этажей, подвал и чердак. Из подвала до самого чердака идут лестницы. Они хоть и узенькие, но зато длинные-предлинные. Мы по ним поднимаемся к себе на пятый этаж. Мама, правда, ругается: уж очень высоко мы живем, а папа утешает. Он всегда говорит, что будет гораздо хуже, если придется жить на улице.

А мама плачет и говорит, что лучше уж жить на улице, чем терзать свои несчастные легкие. (Она всегда, как закашляется, говорит: «Ах, мои несчастные легкие!») Папа уверяет, что когда-нибудь дело тем и кончится, что окажемся мы на улице. А я заранее радуюсь: то-то потеха будет!

Одного мне только жалко. Дворника у нас тогда не станет и подшутить не над кем будет. Ну да кто-нибудь еще найдется. Есть на худой конец наш Лойзамалыш, например. А ведь и правда! Значит, о дворнике можно не жалеть. Вечно он только бранится насчет квартирной платы за три месяца, да так ругается, что мне это нельзя и слушать, даже если я и не на все слова обращаю внимание.

Ну, понятно, к лучшему дело будет. Авось, мама

поменьше кашлять станет. Здесь-то ее мне даже жалко бывает!

Но я хотел о нашем доме написать.

Я уже сказал, что дом красивый, высокий, очень приметный. Стены гладкие, выкрашены на славу желтоватой краской, но немножко, правда, от времени грязные. Да разве это так важно, если в доме столько квартирантов. В общем, хозяин сдает двадцать восемь квартир: в подвале три, на первом, втором и третьем этажах — по четыре, на четвертом и пятом — «на галерке» — по пяти, да еще на чердаке три. Всего, значит, двадцать восемь квартир — здорово много! Как и всюду, квартиранты обязаны платить за квартиру, шуметь, ругаться между собой и сбрасывать всякий мусор на маленький двор. Там уже выросла преогромная куца. Она когда-нибудь до самого чердака дорастет.

Но этого еще долго ждать придется, и нам не дожидать здесь до того времени.

Из всех жильцов, — не считая собак и кошек, а их здесь в доме 23, то есть, если написать словами: двадцать три! — нравится мне больше всех старей дедушка с чердака.

Он каменщиком раньше был и говорит, что строил и эту «башню». Так он наш дом называет.

Иногда мы болтаем с ним о разных разностях. Я заметил, что хоть он и старей, а из ума не выжил и вести себя умеет. Обычно он все куда-то в слуховое окно смотрит, поплевывает на крыши и пускает густые клубы дыма. Это он курит.

И всегда он ругает разных живоглотов и обирал... Мне кажется, что он намекает при этом и на нашего хозяина дома и на других богачей, которые наши денежки у нас берут.

Просто удивительно, что те люди, у которых и без того денег хоть отбавляй, еще хотят взять у тех, у кого их вовсе нету.

Я как-то раз об этом дедушке с чердака сказал, а он плюнул и ответил, что это жульничество и таким людям надо дать хорошего пинка.

Но кому дать, так мне и не объяснил. Может, он думал о тех, кто позволяет отбирать у себя последнее, что у них есть?

Потом он мне рассказал и о нашем доме.

Раньше будто бы здесь пустырь был, а на нем какие-то доски лежали и тому подобное барахло. Потом этими досками огородили место, где дом задумали построить, и выкопали большую яму для фундамента.

И, как всегда бывает, одни люди копали, а другие за ними смотрели. Те, кто смотрел, от работы больше уставали, потому и денег им больше платили. В общем-то все было по справедливости.

Вправду ли так дедушка-каменщик думал или просто так сказал, я до сих пор не знаю: уж как-то очень чудно он подмигивал, когда все это говорил.

После фундамента и самый дом стали строить. До четвертого этажа довели, а потом все рухнуло. Семь человек убило, но хозяин не бросил свою затею, все-таки достроили дом до крыши. Под этой крышей теперь и живет старый каменщик, то есть этот дедушка с чердака.

Я спросил: почему же никто этих семерых покойников не боится? Ведь они могут людей испугать. А дедушка меня просмеял.

— Если,— говорит,— эти покойники при жизни ничего не сделали тем, кому их бояться следовало (кто это такие, я снова не понял), так теперь уж, когда они гниют, и вовсе никому ничего не сделают.

А я сказал, что на их месте я сделался бы привидением и ходил бы в такой дом людей пугать. Дедушка меня опять на смех поднял и глупым мальчишкой обозвал.

Мальчишка там я или нет, а уже решил: буду каменщиком, а если случится со мной то же самое, уж и покажу я этим неведомым людям, своих не узнают!

— Когда этот дом построили,— рассказывал мне еще дедушка,— взял я, говорит, в руки карандаш и подсчитал свои заработки. Вышло, что получал я ровно один гульден и пятнадцать крейцеров в день. И я еще доволен этим остался. И архитектор будто бы тоже подсчитал, и вышло, что он гульденов десять в день зарабатывал. И он недоволен был и все ругался, главное, из-за тех семерых, что на стройке убились. Ничего удивительного! Ему пришлось раскошелиться, дать

вдовам один-другой золотой. И, мол, больших денег стоило ему все это дело.

Вот какую занятную историю мне плюгавый старик каменщик рассказал. А теперь у него только и делов, что перекладывать трубочку во рту со стороны на сторону да ворчать целый день.

Я уже радуюсь, что мне тоже делать нечего будет.

Ну нет, со мной ничего подобного не приключится. Я упаду с лесов, убьюсь и привидением стану, чтобы людей пугать. Да испугать-то я и сейчас кого угодно уже могу. Моя мама, к примеру, говорит, что я оборванец, будто пугало огородное. Я сроду еще пугала не видывал, но один парень, что в деревне побывал, объяснил мне, что это — чучело такое, воробьев пугать.

Сейчас, значит, я могу воробьев пугать, а как вырасту — черт возьми! — стану на людей страх нагонять!

Даже живой!

Как гляну я на свою маму, когда она закашляется, да посмотрю на нас всех, так и кажется мне, что прав дедушка с чердака.

А почему же бояться таких оборванцев, как мы, если у людей совесть чиста?

И мне хочется не только пугать их... Ну, да там видно будет!

ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА

В некоем государстве, не в нашей стране, а далеко-далеко отсюда, жил некий государь, который вечно опасался за свою жизнь, и называли его султаном.

Не знаю точно, где это произошло, то ли в Турции, то ли в Персии, только все это истинная правда.

Вот как было дело. Новый сотрудник редакции газеты «Идалмо»* ночевал в редакции на матрасе. Он мирно спал, а рядом, за стеной, в другой комнате тоже мирно спал главный редактор этой же газеты.

В полночь в коридоре послышались шаги. Несколько человек тяжело топали, как могут топтать только стражи общественного благополучия.

Вскоре пробудился и новый сотрудник редакции, подумав, что на него рухнет потолок.

Но не обрушился на него потолок. Это шумели те самые люди, что топали в коридоре. И били они ногами в двери редакции и, громко ударяя в дверь, кричали:

— Откройте во имя аллаха, откройте во имя аллаха!

И открыл им дверь новый сотрудник редакции, и в редакцию ворвался юсу-пашá — начальник жандармерии того края, и еще двое, все вооруженные до зубов.

И спросил начальник нового сотрудника редакции:

— Что вы здесь делаете?

— Сплю, ибо сейчас ночь,— отвечал сотрудник редакции.

— Ваше имя?— строго спросил юсу-пашá.

— Такое-то.

— Имя вашего отца?

— Такое-то.

— И вашей матери?

— Такое-то.

— Вашего дедушки?

— Такое-то.

— А вашей бабушки?

— Такое-то.

— Вашей повивальной бабки?

— Такое-то.

— Имя повивальной бабки вашего отца, повивальной бабки вашей бабушки, отца вашего дедушки, деда вашего дедушки и бабушки вашего прадеда?

Спросив так, юсу-пашá подошел к матрасу и осмотрел его.

— Здесь нет,— недовольно сказал юсу-пашá. И пошел и обыскал печку.

— И даже здесь нет,— проворчал он.

И после того осмстрел он чернила, кисет, пальто, повешенное на дверь.

— И даже там ничего нет,— недовольным голосом сказал юсу-пашá своим подчиненным.

И, осмотрев плевательницу, подкладку пиджака и штаны сотрудника редакции, посетители ушли, оставив ошеломленного сотрудника редакции в изумлении от всего того, что ему довелось видеть.

А юсу-пашá после того пошел со своими людьми в квартиру главного редактора, и повторилось там все, что происходило рядом в редакции, с тем лишь различием, что гости осмотрели и тарелки и стакан с водой.

И, заглянув в рот сына главного редактора, ушли.

Главный же редактор сказал им:

— Как у себя дома!

— Как у себя дома,— ответили в один голос жандармы, уходя.

И на следующий день повторилось то же самое, что накануне, с той лишь разницей, что юсу-пашá под предлогом, что раньше был сапожником, осмотрел ботинки нового сотрудника, а в квартире главного редактора — под предлогом, что когда-то был грудным младенцем, засу-

нул голову в детскую коляску и долгое время не мог высвободиться оттуда.

И было так целую неделю из ночи в ночь.

А на седьмую ночь спросил главный редактор:

— Какого дьявола вы здесь ищете в конце концов?

Улыбнулся юсу-паша в ответ и кивнул своим людям.

И ответили жандармы хором:

— Ничего мы не ищем. Это просто так, просто так, по привычке.

И в той стране эта привычка сохранилась до сей поры, и тот юсу-паша жив, если не умер.

Седой дедушка, который рассказал своим внучатам эту сказочку, помолчав, добавил еще:

— Запомните же, детки! Ничего мы не ищем, это просто так, просто так, по привычке!

ПРЕДВЫБОРНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ЦЫГАНА ШАВАНЮ

Были у цыгана Шаваню политические убеждения? Нет. Ему было безразлично, какая партия стоит у кормила власти в новом здании парламента в Пеште. В газетах решались важнейшие политические проблемы, а цыган Шаваню только меланхолично любовался широкими равнинами, на которые открывался такой замечательный вид из его домика, стоявшего на самом краю Борошгаза.

Самые прекрасные политические лозунги не могли взволновать старого Шаваню, а когда в соседнем городе проводили народные собрания, Шаваню любил смотреть на толпы крестьян в бекешах и потрепанных широких штанах, отправлявшихся в город послушать благородного пана Капошфальви, который трижды в год изволил выступать перед своими избирателями.

В такие дни в деревне, как вы сами понимаете, никого не оставалось, а это было на руку семейству Шаваню: можно было кое-что стянуть. Поэтому за приступы красноречия пана Капошфальви Шаваню приходилось потом расплачиваться отсидкой.

Кроме абсолютной независимости политических убеждений, у цыгана Шаваню была еще одна особенность. Он играл на скрипке. О цыганских музыкантах написано уже бесчисленное количество страниц! Но Шаваню был и в этом отношении своеобразен. Обычно цыгане играют, а крестьяне тихохонько сидят, не пикнут, слушают, иногда танцуют. Но когда играл Шаваню, крестьяне должны были пить, а сам Шаваню в отличие от своих

цыганских коллег, играя, никогда не пил и не засыпал. Шаваню играл, крестьяне пили, он исполнял все новые и новые мелодии, одну веселее другой; ну, а поздно ночью, когда крестьянам уже было безразлично, по какой струне он проводит смычком, староста вскакивал из-за стола и кричал: «Nagyon szép!» (Замечательно!) и бросал Шаваню деньги, а тот все играл да играл. Случись в такой момент, что аплодирующего старосту от возбуждения хватил бы удар, слушатели единодушно выбрали бы старостой Шаваню.

Были назначены выборы в парламент. Благородный пан Капошфальви десять лет подряд был депутатом, при этом ни разу не вызвал недовольства у своих избирателей и никогда не имел соперников. Но в последнее время он загрустил и, как только речь заходила о выборах, сидел, понунив голову: у него появился соперник.

Капошфальви потерял сон. Будь новый кандидат хотя бы «благородным» человеком, который мог бы, подобно ему, Капошфальви, проследить свою дворянскую родословную до XVI столетия! Художественно выполненный дворянский герб Капошфальви висел в его рабочем кабинете: красивая, выразительная голова осла и рука с мечом, согнутая под углом 45 градусов. Но его соперник не имел ни дворянского звания, ни герба в кабинете, ни кабинета вообще, потому что был простым крестьянином, правда, богатым, но все же крестьянином. Его единственным званием было то, которым его наделили крестьяне, — пан староста. Это он кричал Шаваню «Nagyon szép!» Звали его Фереш. Его фамилия даже не кончалась на букву «и», окончание, которым гордилось свыше пяти тысяч венгерских дворян.

Единственный сын Фереша изучал в Праге право. Этот молодой человек вбил себе в голову, что его отец должен стать депутатом, так как, сдав первый государственный экзамен, юноша вообразил, что второй ему удастся сдать гораздо легче, если в списках будет сказано: «Янош Фереш, сын депутата парламента».

Борошгазский староста Фереш, до сих пор трижды в год с восхищением внимавший речам благородного пана Капошфальви, на последнем собрании крикнул оратору: «А мы что, пустое место?» Фереш малость напутал. Сын велел ему во время речи благородного пана

Капошфальви громко выразить свои оппозиционные убеждения. Но благородный пан, к несчастью, говорил о важности разведения мясного скота, и тут-то, к всеобщему изумлению, Фереш разразился упомянутым возгласом: «А мы что, пустое место?»

Благородный пан пригласил цыгана Шаваню, вернее, не пригласил, а велел привратнику привести его. Когда привратник явился с цыганом, Капошфальви сидел в своем кабинете.

— Дорогой друг,— обратился благородный пан к Шаваню, у которого тряслись ноги.— Я надеюсь, что ваши политические убеждения глубоко оскорблены бестактным выступлением пана Фереша, который намерен выставить свою кандидатуру. Я был в течение десяти лет вашим депутатом, и все вы знаете, что не впустую потрудился.

Цыган Шаваню не понял и десятой доли из речи благородного пана и потому только кивал головой, а после каждого слова приговаривал: «Смотри-ка, вот оно как!» Наконец он пришел в себя и ответил:

— Вельможный, благородный пан, я бедный цыган *gomano čáneja*, *čuprikane devlehureske* (клянусь богом), вельможный пан, я никого не обманываю, не ворую, *damneha sovelam* (сплю в комнате), и только несколько лет назад *prašta zidžubena* (со мной случилась беда).

Теперь уж благородный пан не понял Шаваню, потому что в его ответе было очень много цыганских слов. Поэтому он поддакивал: «Верно, верно»,— и, чтобы закончить разговор, сказал:

— Я знаю, что ты порядочный человек и прекрасно играешь на скрипке, мне говорили, что крестьяне могут без конца слушать твою игру и, если ты попросишь, ни в чем тебе не откажут. Так вот, прошу тебя, прошу вас, дорогой друг, ходите из трактира в трактир, играйте там и при этом кричите: «Да здравствует наш депутат благородный пан Капошфальви!» А я щедро вознагражу вас за это. Но кричите хорошенько!

— Что говорил тебе благородный пан Капошфальви? — спросил цыгана в тот же вечер староста Фереш, проходивший мимо цыганских хибарок.

— Вельможный пан староста, я должен прославлять в трактирах благородного пана,— сознался Шаваню, ко-

того мало трогало, что перед ним стоит соперник благородного пана.

Дома Фереш передал сыну слова Шаваню.

— Не беспокойся, делай то же, что я, а у меня есть идея, — ответил студент-юрист. — Завтра я сам поговорю с Шаваню.

— Шаваню, я слышал, что ты должен прославлять благородного пана. Молодец, кричи хорошенько, — сказал он на следующий день Шаваню. — Сколько у тебя детей?

— Двенадцать, — ответил цыган.

— Хорошо, — продолжал сын старосты. — Отпусти этих двенадцать детей ко мне на воскресенье. Получишь за каждого по пятьдесят крейцеров.

Неожиданно привалившее счастье, надежда получить деньги на минуту ошеломили цыгана, но он быстро очнулся и стал торговаться. Это, мол, мало, надо бы дать хоть по шестьдесят крейцеров за ребенка.

— Ладно, получишь по шестьдесят, — согласился молодой человек, — но, советую тебе, кричи погромче.

Наступило воскресенье. Утром все двенадцать детей Шаваню, можно сказать, в чем мать родила, вышли из усадьбы Фереша. Впереди шагал старший, тринадцатилетний мальчик — у него была рубашка подлиннее, — с зеленым знаменем в руках, на котором было написано: «Да здравствует благородный пан Капошфальви, наш депутат вот уж десять лет!»

В усадьбе их должным образом проинструктировали, и утром, когда особенно много народу шло в церковь, эта чумазая стайка выступала со знаменем по самым оживленным улицам и кричала во всю глотку:

— Да здравствует наш депутат благородный пан Капошфальви! Да здравствует наш благородный отец!

Благородный пан снял свою кандидатуру.

ГЕЙ, МАРКА!

На скалы над долиной святого Яна опустилась вечерняя тишина. Перестали посвистывать сурки, которых в этих местах водилось больше чем по всей Дюмбьерской гряде *; задремали над пропастями хищные горные птицы, угнездившиеся в расщелинах белых скал; несколько коз, только что пасшихся здесь, заслышав лай сторожевого пса, стремглав попрыгали со склонов на плато и помчались к загону бачи * Гронекка.

Валахи * загнали овец и прибежавших коз за ограду и вошли в колибу *.

В низкой деревянной колибе пылал и трещал огонь, на котором в котле варилась простокваша.

Быстро темнело. Тепло летнего дня сменилось ночной прохладой, и, когда в хижину вдруг ворвался поток холодного воздуха, все подобралось поближе к очагу.

Бача Гронек лежал на овечьем кожухе и время от времени подбрасывал в огонь подсохшие сосновые чурки. Их едкий дым заполнил чадом всю колибу, так что нельзя было даже разглядеть развешанные по стенам широкополые праздничные шляпы, окованные пояса, чепраки и вырезанную из дерева всевозможную утварь.

Простокваша в котле закипела. Пастухи разлили ее по черпакам, подали один Гронеку и начали пить, пока еще не остыла.

Наевшись, они достали из-за поясов короткие трубки, набили их табаком и сунули в горячий пепел, чтобы запеклись. Как только из обитого латунным железом мундштука пошел дым, они их вытащили, осторожно

продули, закурили и, по примеру бачи, растянулись на овечьих кожухах.

— Мало уж осталось снегу на Дюмбьере,— сказал бача Гронек, попыхивая своей «запекачкой».

— Мало,— ответил младший валах Яно.

— На Дереше он еще маленько держится,— отозвался старший валах Юрчик.

— Трава гляди как быстро начала расти,— продолжал бача.

— Уж и мох зацвел,— заметил Юрчик.

— Подкинь-ка в огонь,— распорядился бача.— А ты, Яно, давай спи с божьего благословения. Утром пойдешь вниз, в Валаску, за солью. У овец уж почитай ничего не осталось.

Не было особой необходимости советовать Яно заснуть. Он и так уже клевал носом. Совсем умаялся сегодня. Дважды забирался он нынче на Большой Дюмбьер, чтобы взглянуть оттуда на деревню Валаску. Но утром вся долина Грона была покрыта туманом, и ему пришлось спуститься ни с чем. Тогда после полудня он влез снова на вершину и наконец-то глубоко внизу, под лесами, увидел Валаску. А когда около четырех часов туман окончательно рассеялся, его зоркий глаз разглядел на краю деревни, у реки, маленький домик. На этот-то домик он и смотрел почти целых два часа: в нем жила его Марка.

Яно уснул на своем кожухе так крепко, что бача должен был отодвинуть его ноги от огня, а то бы у него и опанки * сгорели.

Вскоре на высоте почти полутора тысяч метров спокойно спали три человека. Тихой ночью лишь изредка раздавалось в горах блеяние овец да лай сторожевых псов.

Рано утром бача начал будить Яно. Длилось это довольно долго. Но стоило только ему сказать, что пора идти в Валаску за солью, как Яно сразу вскочил.

— Купишь двадцать фунтов,— наказывал бача Яно,— да передашь поклон старому Мише. Скажи, что, мол, все здоровы. Да гляди у меня, чтобы не напиться... И у Марки долго не задерживайся.

Яно быстро съел кусок черствого хлеба, взял свою валашку * и тронулся в путь.

Было еще темно. Все окутывал утренний туман. Он покрыл и все острые контуры скал, которые могли служить ориентиром. Но Яно это нисколько не тревожило: он знал дорогу так хорошо, что мог бы спуститься вниз, в долину, даже с завязанными глазами и при любом несчастье.

Кругом расплзлась седая мгла. Но когда Яно вскарабкался на Прегибу, темноту уже начали робко прокalyвать первые лучи восходящего солнца. Они были фиолетовые. А как только утренний ветер чуть разогнал туман, из-за скал появился красный солнечный шар. Чудилось, он так близко, что можно рукой достать.

— Гей, божье солнце! — воскликнул Яно в честь восходящего светила и высоко подбросил вверх свою валашку.

Туман быстро рассеивался. Казалось, что он течет — бежит к долине и хвойным лесам.

Солнце поднималось все выше и выше, постепенно уменьшаясь в размерах. Ясное утро сразу вступило в свои права.

Только что в двух шагах ничего не было видно, а сейчас открылось все — и поле и скалы, — и все так ясно и отчетливо. Хорошо были видны и Малый и Большой Дюмбьер, поросший мхом, каменистый с правой стороны Дереш, подальше Прегиба, Лесковец... Все эти вершины и скалы появились так неожиданно, словно вдруг вынырнули из этого седого, влажного тумана.

Со всех сторон блестили ветви стелющейся сосны, а остатки снега в расщелинах Дереша сверкали так нестерпимо, что у Яно даже глаза заслезились.

Яно спускался с Прегибы тропинкой посреди ползучих сосновых ветвей и смеялся.

«Ну и удивись ты, Марка, — думал он переполненный радостью. — Не видал тебя с самого начала лета, как только мы перебрались в горы на пастбище...»

Несколько пугливых сурков, потревоженных его шагами, засвистели и поспешно скрылись в норках.

Яно запел, и леса отвечали эхом на его песню.

Он перестал петь и крикнул в тишину лесов: «Гей, Марка!» И леса ответили: «Гей, Марка!»

«Гей, Яно!» — крикнул он снова. И снова лес зашумел в ответ: «Гей, Яно!»

Ползучие сосны гостепенно уступили место низкорослым елям и пихтам. А Яно все смеялся, радуясь, что увидит свою Марку, и спускался все ниже и ниже.

Всюду журчали летние воды. Холодный утренний ветер сменился теплым, летним. Лес становился все выше и гуще, тут и там попадались полуистлевшие стволы упавших деревьев, из которых выбивались молодые побеги.

«Через три часа буду у Марки»,— прикинул Яно, взглянув на солнце, и снова крикнул в глубину леса: «Гей, Марка!»

Бача Гронек любил порядок, поэтому, когда Яно не вернулся к вечеру из Валаски, он сказал Юрчику:

— Я всегда говорил, что из Яно никогда не выйдет порядочного югаса. Вот пошли его за солью, а он и нейдет, и овцам лизать нечего.

Когда же Яно не возвратился и на другой день, бача поделился со старшим валахом своей тревогой:

— Не иначе как с Яно какое несчастье приключилось!..

*

Нет, с Яно не случилось никакого несчастья. Когда он в то чудесное утро спустился в Валаску, он прежде всего направился к Марке.

У отца Марки, старого Миши, неделю тому назад утонул в разлившемся Гроне батрак. А попробуй-ка в нынешних условиях найти в Погронье хорошего работника. И остался Яно у старого Миши, совершенно забыв, что должен был купить для бачи двадцать фунтов соли.

Седой Дереш и вся Дюмбьерская гряда и по сей день напрасно ждут, что вот-вот появится валах Яно с солью для овец...

А чтобы не повторялось подобных случаев, начал бача Гронек уже сам ходить в Валаску за солью.

Гей, Марка!

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

(Американская юмореска)

— Нет, нет, ни в коем случае, мой юный друг,— произнес банкир Вильямс, обращаясь к молодому человеку, который сидел напротив, задрав ноги на спинку стула.— Никогда, господин Чейвин! Выслушайте меня внимательно и попытайтесь чему-нибудь научиться.

Вы просите руки моей дочери Лотты. Вам, очевидно, хотелось бы стать моим зятем. Вы надеетесь в конечном счете получить наследство. Минутой раньше на мой вопрос, есть ли у вас состояние, вы ответили, что вы бедны и получаете только двести долларов дохода.

Мистер Вильямс положил ноги на стол, за которым сидел, и продолжал:

— Вы можете сказать, что у меня когда-то не было и двухсот. Не отрицаю, но смею вас уверить, что в ваши годы я имел уже кругленькое состояньице. И это только потому, что у меня была голова на плечах, а у вас ее нет. Ага, вы ерзаете в кресле?! Советую вам не горячиться: слуга у нас — здоровенный негр. Выслушайте меня внимательно и намотайте себе на ус!

Шестнадцать лет я явился к своему дяде в Небраску. Деньги мне нужны были до зарезу, и я уговорил родственничка, чтобы негра, которого так или иначе должны были линчевать, казнили на его земле.

С чернокожим расправились на участке дядюшки. Все желающие поглазеть должны были заплатить за вход, потому что место казни мы обнесли забором. Выручку

собирал я, и, как только негр был повешен, я благополучно смылся, захватив все деньги.

Повешенный принес мне счастье. Я купил земельный участок на Севере и распространил слух, что, перекапывая его, нашел золото. Позже участок был очень выгодно продан, а деньги положены в банк.

Едва ли стоит вспоминать, что потом один из одуряченных стрелял в меня, но его пуля, раздробившая мне кисть правой руки, принесла мне почти две тысячи долларов — как возмещение за увечье.

Поправившись, я на все свои сбережения купил акции благотворительного общества по возведению храмов на территории, населенной индейцами. Мы выдавали почетные дипломы стоимостью в сто долларов, но не выстроили ни одной церквушки. Вскоре общество вынуждено было объявить себя банкротом. Это произошло ровно через неделю после того, как я обменял обесцененные акции на партию шкур, цены на которые тогда быстро росли. Основанный мною кожевенный завод принес мне целое состояние. И это все оттого, что продавал я за наличные, а покупал в кредит.

Разместив свой капитал в нескольких канадских банках, я объявил себя несостоятельным должником. Был арестован, но на следствии плел такую чушь, что эксперты признали меня душевнобольным. Присяжные не только вынесли мне оправдательный приговор, но и организовали в зале суда сбор денег в мою пользу. Их вполне хватило, чтобы добраться до Канады, где хранились мои сбережения.

У бруклинского миллионера Гамельста я похитил дочь и увез ее в Сан-Франциско. Он вынужден был согласиться на наш брак, так как я пригрозил, что не отпущу ее до тех пор, пока не смогу дать в газеты сенсационное сообщение вроде «Дочь мистера Гамельста — мать незаконнорожденного ребенка».

Видите, господин Чейвин, каким был я в ваши годы, а вы все еще не совершили ничего, что позволило бы мне сказать: вот вполне разумный молодой человек!

Вы говорите, что спасли жизнь моей дочери, когда она, катаясь в лодке, упала в море? Прекрасно, но я не вижу, чтобы для вас это имело практический смысл, ведь,

кажется, вы совершенно безнадежно испортили свои новые штиблеты?

Что же касается ваших чувств к моей дочери, то я не понимаю, почему я должен платить за них из своего кармана, тем более «зятю», у которого соображения нет ни на грош.

Ну вот, вы опять вертитесь в кресле. Пожалуйста, успокойтесь и ответьте мне, положив руку на сердце: совершили вы хоть раз в жизни что-нибудь путное?

— Ни разу.

— Вы богаты?

— Увы!

— И вы просите руки моей дочери?

— Да.

— Она любит вас?

— Да.

— Наконец, последний вопрос: сколько у вас с собой денег?

— Сорок шесть долларов.

— Хорошо, я беседую с вами больше тридцати минут. Вы хотели узнать, как делают деньги. Так вот, с вас тридцать долларов: по доллару за минуту.

— Но позвольте, мистер Вильямс...— запротестовал молодой человек.

— Никаких «позвольте»,— с усмешкой проговорил банкир, глядя на циферблат.— С вас причитается уже тридцать один доллар: прошла еще одна минута.

Когда изумленный Чейвин уплатил требуемое, мистер Вильямс любезно попросил:

— А теперь извольте оставить мой дом, или я прикажу вас вывести.

— А ваша дочь? — уже в дверях спросил молодой человек.

— Дураку она не достанется,— спокойно ответил мистер Вильямс.— Убирайтесь, или я доставлю вам удовольствие проглотить свои собственные зубы.

— Хорош был бы у меня зятек! — сказал господин Вильямс дочери, когда Чейвин ушел.— Этот твой возлюбленный глуп на редкость. И никогда не поумнеет.

— Значит,— осторожно спросила Лотта,— у него нет никаких надежд стать моим мужем?

— При теперешних обстоятельствах — это совершенно исключено, — категорически заявил мистер Вильямс. — Пока он каким-нибудь ловким манером не докажет обратное, у него нет никаких надежд!

И мистер Вильямс поведал теперь уже дочери историю линчевания негра на земле его дядюшки, рассказал также о своей крупной ссоре с миллионером Гамельстом и добавил:

— Я сообщил твоему знакомому немало поучительного.

На следующий день Вильямс уехал по делам. Неделю спустя он возвратился и нашел на своем письменном столе записку следующего содержания:

«Многоуважаемый мистер Вильямс!

Сердечно благодарю за совет, который вы дали мне на прошлой неделе.

Ваш пример так воодушевил меня, что я вместе с вашей дочерью уехал в Канаду, захватив из вашего сейфа все наличные деньги и ценные бумаги.

С уважением

Ваш Чейвин».

А ниже стояло:

«Дорогой папочка!

Просим твоего благословения и заодно сообщаем, что мы не смогли найти ключ от сейфа и взорвали его нитроглицерином.

Целую

Лотта».

МИЛОСЕРДНЫЕ САМАРИТЯНЕ

По лесной тропинке спускались с горы старый и молодой Вейводы.

— Да, да,— сказал старый,— уж больно трогательно говорил пан священник об этом милосердном самаритянине.

— Не свались, отец,— предостерег сын, заметив, что старик сильно пошатнулся.

— Сам не свались, Францек,— ответил старик.— А водочка-то сегодня была отменная.

— Уж куда лучше,— поддакнул Францек.

Из этого разговора каждый может понять, что представители семьи Вейводов шествовали из трактира, куда заглянули по пути из костела.

— Так вот, я говорю, до чего же здорово пан священник рассказал об этом самаритянине, о его милосердии,— продолжал благочестиво настроенный старик.

— А о разбойниках? — подхватил Францек.— Они так избили странника, что тот подняться не мог.

— Очень хорошо растолковал он и про разбойников,— добавил старик.— Они беднягу обобрали да так поколотили, что тот не мог уразуметь, как и домой добраться.

— А как поступил этот самаритянин — взял странника с собой и обмыл его раны,— сказал Францек.— Он был милосердный и не почел за труд возиться с ним.

— А сколько людей равнодушно прошло мимо! — продолжал старый.

— Не свались, отец! — воскликнул Францек.

— Я смотрю под ноги,— ответил старый Вейвода.— И никто-то на него даже не взглянул, кроме самаритянина, а самаритянами тогда все гнушались.

— Люди тогда самаритян не любили,— отозвался Францек.— После только признали их.

— Глянь-ка, Францек,— сказал старик,— вон лесник сидит.

— А, этот живодер! — подхватил Францек.— Он готов нас живьем сожрать.

— Наш пострел везде поспел,— продолжал старик, останавливаясь на вершине холма.— Ему всегда известно, где человек в последний раз ставил силки.

— Не успеет иной собрать охапку хвороста,— добавил Францек,— а он уж все знает.

— Францек, погляди-ка на лесника,— произнес его почтенный отец,— он вроде как-то странно ухмыляется.

— Вроде с места сдвинуться не может,— ответил Францек.— Похоже, встать хочет, да не может, опять садится.

— Пошли,— предложил старик,— живодер он.

— Голову даю на отсечение,— сказал Францек,— если я с ним поздороваюсь, он не ответит. Говорит: «С вами не здороваюсь».

— Не по душе ему браконьеры,— обронил старый.— Он много о себе воображает, ходит бароном, а сам всего-навсего лесник.

— А в лесу тоже крадет,— подхватил Францек.— Одно слово — лесник.

Так за разговором они приблизились к сидящему леснику.

— Мое почтение, добрый день, пан Фойтик,— приветствовал лесника старик, а вслед за ним и Францек.

— Здравствуйте,— к их удивлению, ответил лесник.— Ради бога, люди добрые, помогите мне, встать не могу.

— Что-то вы больно морщитесь,— заметил Францек.

— С обрыва упал,— запричитал лесник,— и вывихнул лодыжку.

— Ногу нужно вправить,— деловито заметил Францек,— взять ее и покрутить, и, когда она хрустнет, значит, все в порядке.— Францек схватил лесника за ногу.

— Моя жена вправила бы вам ногу,— сказал старый,— она уже многим людям помогла, возьмется за ногу — и готово.

— Знаю,— сказал лесник, скрипнув зубами от боли, когда Францек потянул его за ногу,— ваша жена вправляет людям кости, но Войта Длоугий не захотел меня к ней отвести. Шел он тут мимо, а я ему говорю: «Пан Длоугий, со мной приключилось то-то и то-то, будьте добры, доведите меня к Вейводке». А он в ответ: «Ты, дед, в тот раз засадил меня за зайца, вот и сиди тут, пусть тебя хоть лихоманка схватит».

— Мы самаритяне,— сказал старый Вейвода.— Подхвати-ка, Францек, гана Фойтика под левую руку, а я возьму под правую.

— Хоть вы нас и обижали,— сказал Францек, когда они вели лесника к своей лачуге,— с нашей стороны было бы нехорошо не оказать вам милосердия.

— Авось, в другой раз будете поумнее,— разглагольствовал старый Вейвода,— ведь порой можно и закрыть глаза кое на что...

Разговаривая, они подошли к лачуге, где старая Вейводиха вправила леснику вывихнутую ногу.

*

Через несколько дней после этого происшествия старый Вейвода с сыном ставили силки на зайцев на холме за просекой.

— Знать, лесник будет нам благодарен,— сказал Францек,— ведь мы поступили с ним, как самаритяне.

Не успел он рта закрыть, как кто-то схватил его за шиворот.

— Господи, да это лесник Фойтик! — воскликнул старый Вейвода.

— Именем закона,— спокойно произнес лесник, держа Францека за воротник.— Собирайте свои силки и пойдете со мной в управление.

— Извольте шутить! — добродушно сказал старый Вейвода.— Разве вы уже забыли про вывихнутую ногу?

— Молчать, и марш в управление! — заорал лесник.— Силки в руки — и айда!

— Но позвольте, пан Фойтик,— испуганно пролепетал старый Вейвода.— Неужто вы не помните о самаритянах?

— В управление, и баста! — строго сказал лесник, и все трое молча зашагали к деревне.

*

За правонарушение старый и молодой Вейвода предстали перед окружным судом.

— Вы обвиняетесь,— сообщил им судья,— в том, что ставили силки на зайцев. Что можете сказать в свое оправдание?

Старый и молодой Вейвода переглянулись, вздохнули, и седовласый старик Вейвода сокрушенно произнес:

— Ваша милость, скажу только одно: мы поступили, как милосердные самаритяне.

КАК ЧЕРТИ ОГРАБИЛИ МОНАСТЫРЬ СВЯТОГО ТОМАША

Третьего дня октября месяца лета господня 1564 настоятель монастыря святого Томаша Никазиус беспокойно шагал в своих сандалиях по монастырской галерее, утирая пот рукавом рясы.

Временами он останавливался и снова устремлялся вперед, не смущаясь тем, что монахи глазели на него из своих келий, удивляясь, отчего это настоятель не кланяется даже образу своего патрона, святого Никазиуса, каковой образ необычайно волновал воображение, ибо на нем были запечатлены последние минуты угодника, посаженного магометанскими язычниками на кол.

В конце концов настоятель все-таки остановился перед этим образом и вздохнул:

— О мой святой покровитель, хотел бы я быть на твоём месте! Аминь.— И продолжал свое хождение.

В конце галереи он опять остановился, вынул из сумки на боку письмо, писанное на пергаменте, и, в который раз пробежав глазами строчки при свете неугасимой лампы, печально поникнул головой и прошептал:

— Ох, недоброе дело, *miseria maxima*...¹

В письме, которое уже, наверное, десять раз перечитывал настоятель Никазиус, сообщалось, что король Максимилиан II повелел хоронить своего умершего отца Фердинанда I шестого октября в соборе святого Вита, на Градчанах, но перед тем как упокоиться в царствен-

¹ Величайшее бедствие (лат.).

ном склепе, тело усопшего должно было по дороге в Прагу два дня лежать в стенах монастыря святого Томаша.

— *Miseria maxima*,— еще раз прошептал бедный настоятель,— это ведь сколько коп грошей¹ придется выкинуть! Кормить весь двор...— От этой мысли аббат чуть не заплакал.

Настоятелю Никазиусу приходилось быть очень бережливым. Монастырь был беден, доходы неважные, и всякий раз, как случалась необходимость, аббат с болью в сердце отпирал кованый ларец, в котором поблескивали монетки старой чеканки. А тут такое известие! В Праге давно уже толковали о погребении Фердинанда I, но настоятель никак не предполагал, что это затронет его монастырь.

— *Tributa*, расходы,— бормотал он, спускаясь по скрипучей деревянной лестнице в кухню, где брат Пробус резал тонкими ломтиками каравай хлеба не слишком заманчивого цвета — монахам к ужину.

— Слышал ли ты, брат Пробус,— обратился настоятель к кухарю,— покойный Фердинанд I два дня будет лежать у нас в храме, чтобы похоронная процессия отдохнула по пути к собору святого Вита!

Усевшись на табуретку возле окованной двери, он продолжал:

— Придется двор кормить, *miseria maxima*. Тяжкое бремя, брат Пробус, *opus*² для бедных монахов...

Брат Пробус, не менее бережливый, чем настоятель, так испугался, что, вопреки обычаю, отвалил от каравая несколько толстых ломтей.

Некоторое время в темной сводчатой кухне царил молчание, нарушаемое лишь вздохами аббата Никазиуса.

— Что-то сделать придется,— молвил Пробус.— Большая для нас честь — принимать двор.

— Двор-то мы примем,— глухо отозвался настоятель.— Но как? Подешевле бы...

— Экономия и еще раз экономия,— вставил кухарь.

¹ К о п а г р о ш е й — шестьдесят грошей, средневековых чешских монет.

² Бремя (лат.).

— Я сам произнесу речь о том, что времена нынче худые, скудные,—сображал настоятель.— Монастырские животы убоги, а расходы велики, и, мол, чем богаты, тем и рады...

— На весь двор одной рыбы фунтов сто уйдет,—молвил брат Пробус.

— Брат Пробус! — с укоризной воскликнул настоятель.— Хватит и пятидесяти фунтов, а ежели будет недовольство, я опять скажу, что времена худые, а с 1556 года, с тех самых пор, как монастырь был вверен мне, за восемь лет мы многое сделали для его процветания, и это потребовало больших денег...

Тут разбухшие от сырости ножки табурета подломились, однако настоятель поднялся как ни в чем не бывало и даже не прервал речи.

— Брат Пробус,—говорил он,—думаю, рыбы хватит и двадцать пять фунтов. Да, да, купи двадцать пять.

— А пиво? —сказал кухарь.

— Пустое,—возразил настоятель,—пиво у нас свое есть, ты его только в кувшинах подавай. Все да пребудут в трезвости.

— А жаркое? —осведомился Пробус.

— Три телячьих окорока хватит, да не приправляй их слишком пряностями,—посоветовал Никазиус.— Во всем блюди умеренность!

— А гуси жареные? — не унимался Пробус.— Этих сколько?

— Изжарь пять гусей,—разрешил настоятель.— О, *miseria maxima, tributa...* В общем, делай как знаешь. *Fidem habeo*¹.

Настоятель поднялся по лестнице, огляделся, не подсматривает ли кто, и тихонько отпер ключом решетку небольшой ниши в галерее, где стоял обитый железными полосами ларец с монетами. Аббат вынул ларец, опять осторожно огляделся и открыл его. Бережно отсчитав монеты, он сунул их в свою мошну и снова тщательно запер, попробовал на диво выкованный замок, заперт ли, и вернулся в кухню. На стол, источенный червями, он выложил перед братом кухарем серебряные гроши и удалился.

¹ Доверяю (лат.).

По уходе настоятеля брат Пробус постоял, глядя на монеты, и задвинул дверную щеколду.

— Моя кухня пряностями не бедна,— пробормотал он, осторожно отвернув полу подрясника, серого, латаного, который он из экономии носил на кухне. Под подрясником у него был привязан расшитый кошелек; в него-то и ссыпал брат Пробус несколько грошей со стола.

— Худые времена,— бормотал он.— Надо про черный день копить, может, еще хуже станет...

Сухонькое личико брата Пробуса прояснело. Он подумал: «Зачем целых двадцать пять фунтов рыбы да три телячьих окорока — куплю два, да поплоче...»

И брат Пробус сгреб в свой кошелек еще несколько монеток.

— А гусей-то к чему пять штук? — прошептал он.— И четырех довольно! Нарезу малыми кусками, вроде пять и жарил.

И брат Пробус спрятал в свой кошелек новую стопку грошиков.

Потом он подошел к нише возле плиты, вынул рясу, надел, подпоясался потертым шнурком и ссыпал со стола остаток денег в кошелек, которая болталась у него на боку и при каждом шаге хлопала по старенькой рясе, похожей на те, какие носят нищенствующие монахи.

Затем брат Пробус разыскал брата Мансвета, носившего титул *cellarius*, сиречь келарь*.

Брат Мансвет сидел на низеньком табурете в монастырском погребе, барабаня пальцами по бочке. Время от времени он делал глоток из кружки, на которой пестрыми красками мастерски была изображена седьмая остановка Иисуса на крестном пути. Брат Мансвет постукивал оловянной крышечкой кружки, мурлыкая в такт богомольную песенку. Он встретил Пробуса словами:

— Доброе пиво, доброе весья.

— *In nomine domini*¹,— ответил Пробус, отхлебывая из поднесенной кружки.— Я к тебе с новостью, брат Мансвет.

¹ Во имя господа (лат.).

Пробус рассказал о покойном короле Фердинанде, о предстоящем прибытии двора и закончил такими словами:

— Бог не любит нас больше...

— Итак, все это будет отдано двору на поток и разграбление,— мрачно проговорил брат келарь, указывая на пивные бочки, освещенные чадающим пламенем восковой свечи.

Брат Пробус сделал еще несколько глотков из кружки и покинул монастырские пределы, отправившись покупать и заказывать все необходимое для угощения.

*

В Малом Месте пражском, под Карловым мостом, сидел у развалившейся лачуги Мартин Сквернавец и глядел на Влтаву; ее волны нагоняли одна другую и бились о три камня перед лачугой, служившие прачкам мостками.

Мартин Сквернавец был дурной человек, достойный своего имени. Рыбу он продавал дешево, так как добывал ее нечестным путем.

Безлунными ночами он обворовывал садки и верши честных рыбаков по обоим берегам реки. Брал он и мелкую рыбу и крупную — какая попадется, и по утрам честные рыбаки находили свои верши перевернутыми, садки пустыми, ограбленными.

К этому-то человеку, потерявшему правое ухо во время одной такой экспедиции, и направил свои стопы брат Пробус. Они хорошо знали друг друга, так как часто встречались по торговым делам.

Несколько оборванных ребятишек с улюлюканьем бежали за монахом, швыряя в него комьями земли, камнями и поленьями. (В те времена юношество было невоспитанное.)

Преподобный брат Пробус пошел рысью, чтоб оторваться от шалунов. Так он достиг берега, где и нашел Мартина Сквернавца в настроении не совсем розовом.

При виде монаха Мартин пробормотал что-то такое, что могло означать и приветствие и ругательство.

— Куплю двадцать пять фунтов рыбы,— без всякого предисловия объявил Пробус.

— Нету у меня столько,— сказал Мартин.— И дешево не продам,— добавил он.— Нынче рыбы мало ста-

ло. Которая сверху идет, ту у Збраслава ловят, а которая снизу — у Трои.

— Надо. У тебя нет — у честных куплю,— возразил брат Пробус.— Нам, монахам, всякий с радостью продаст.

Мартин Сквернавец пробурчал что-то непочтительное про монахов и красных чертей, затем сказал:

— Пошли!

Они вошли в развалившуюся лачугу. У каменной стены в двух чанах, покрытых зеленоватой слизью, плескались рыбы, большие и маленькие. На глаз и то тут было более трех сотен фунтов. Отсюда можно было заключить, что Мартин Сквернавец не прочь и прилгнуть.

— Каких тебе надо? Карпов или помельче? — спросил он.

— Мне смешанных,—ответил Пробус.— Взвесь и принеси вечером в монастырь.

Они пожали руки в знак состоявшейся сделки и скрепили ее чарочкой зеленого вина. Осушив чарку, брат Пробус стал выкладывать монеты, причем не преминул спросить:

— Мартин Сквернавец, а что, у хромого Шимона не будет для меня двух телячьих окороков да четырех гусей? Надобно мне их к вечеру.

— Спрошу,— ответил Мартин.

Они поднялись, вышли из ветхой лачуги и зашагали вдоль берега. Неподалеку, там, где во Влтаву впадал ручей, протекавший по замковому рву мимо Черной башни, в домике, слепленном из глины и досок, жил хромой Шимон, который крал все, что попадалось или что ему заказывали клиенты.

Теплая погода выманила Шимона из его берлоги, и он вышел посидеть на бревне у реки. Невеселы были его мысли: подручный, с которым Шимон обычно совершал свои деловые поездки, вчера был схвачен у Тейнки в тот самый момент, когда уводил подсвинка из крестьянского хлева, и тут же отправлен в пыточную.

Услыхав от монаха о цели посещения, хромой Шимон помрачнел еще более и начал плакаться, что-де не знает, как-то еще дело обернется, а вдруг подручный выдаст его, Шимона, заплечным мастерам.

— Да мне только всего и надо, что четыре гуся да два телячьих окорока,— наседали брат Пробус.— Тебе ведь ничего не стоит раздобыть все это к вечеру. Нынче в Прагу множество иногородних понаехало — в два счета затеряешься в толпе.

Шимон, сдаваясь, махнул рукой:

— Окорока — это что,— сказал он.— Гусей вот достать труднее.

И он, повесив голову, погрузился в раздумье.

— В монастырском саду у бенедиктинцев * ограда не так чтоб высока...— наемкнул брат Пробус.

— Был я там вчера,— грустно проговорил Шимон.— Схожу-ка я за Голодную стену, в деревню куда-нибудь,— решил он наконец.— Вечером постучусь. Голову проза-кладываю, что принесу все нужное.

Преподобный брат Пробус подал руку хрому Шимону и тотчас уплатил денежки.

Умел Пробус дешево покупать.

Вечером того же дня монастырская братия была занята приготовлением блюд из рыбы, гусятины и телятины. Настоятель Никазиус освободил монахов от вечерней службы.

*

Четвертого дня октября месяца в монастыре приятно пахло рыбой, жареным гусем и телячьим жарким; монахи без усталости пекли и жарили угощение для придворных.

Настоятель Никазиус пробовал и то и это, не переставая вздыхать, что вот, мол, какие расходы. При всем том он бдительно следил, чтобы кухонная братия не подьедала приготовленные яства. В тот день он на всех наложил пост, рассчитывая сэкономить хоть пару грошей.

Брат келарь Мансвет распевал псалмы в монастырском погребе, приготовляя по распоряжению настоятеля пиво; монахи под присмотром брата Пробуса носили готовые блюда в помещение, соседнее с комнатой для бедных.

В темной комнате для бедных, свет в которую проникал лишь из коридора через маленькое окошко, утром, когда в монастыре суета была в самом разгаре, сидели за длинным и не очень чистым столом три человека

не очень приятного вида. То были бродячие нищие. Они пришли утром в монастырь и ждали обеда.

Все монастыри были открыты для бродячих нищих, и нуждающийся путник имел право жить в каждом хоть три дня подряд; однако в монастырь святого Томаша нищие заглядывали редко. Они избегали этот монастырь, а в последние годы, когда настоятелем стал Никазиус, слух о его скряжничестве отпугивал даже самых отъявленных бродяг.

Но сегодня явились эти трое. Они пришли издалека. По остроносым башмакам можно было заключить, что они немцы.

Одежда на них была потрепанная — отороченные камзолы, узкие штаны, а на головах не то шляпы, не то береты, причем явно было, что головные уборы не по ним: видно, выпросили из милости или украли где-нибудь.

Дороги Королевства Чешского в ту пору кишели всяким сбродом.

Бродяги тихо разговаривали, бросая на стол кости. Они играли для препровождения времени уже добрых пять часов.

Порой они переставали играть, и старший из них что-то рассказывал, размахивая руками. Он говорил по-немецки, на гортанном баварском наречии.

— Совсем живот подвело, — проговорил один из бродяг. — Лучше бы мне на виселице болтаться, чем ждать в этой дыре.

— Ничего, — утешали его товарищи. — Чуешь, как вкусно пахнет? Видно, в этом монастыре славно едят, и монахи с радостью уделят бедным путникам от щедрот своих.

Запахи яств, проносимых в соседнее помещение, все сильнее дразнили их голод.

Вдруг в комнату для бедных упала полоса яркого света; вошел брат Пробус, неся обед: миску хлебной на воде похлебки.

Баварцы накинулись на еду.

— Да ведь это и свиньи жрать не станут! — воскликнул один, отбрасывая деревянную ложку.

— Подождем ужина, — посоветовал старший. — Наверное, ужин будет получше. Слышите запах?..

И вновь по столу застучали кости, мелькая гранями с шестью точечками.

— Не съели,— доложил настоятелю брат Пробус.— Дадим им это же и на ужин. Да просились переночевать: устали, мол, от дальней дороги и ноги им не служат.

— Пусть ночуют на полу в комнате для бедных,— решил настоятель.— А на ужин им отнеси то, что они на обед не съели. Подай-ка мне фаршированное мясо, отведаю... Ах, Пробус,— с укоризной сказал он, пожевав мяса,— много пряностей кладешь. Придворные пить захотят, и много пива вольется к ним в глотки. Ох, горе, горе...

*

В ту ночь монастырь сторожил брат Мансвет, келарь. В двадцать втором часу, по нынешнему счету в десятом, он задремал. И нечего удивляться, ведь он целый день приготавливал пиво для приема. В двадцать третьем часу келарь уже храпел, склонив колени на молитвенной скамеечке перед образом Иоанна Крестителя у входа в чулан, где в ожидании гостей стояли блюда, и в нескольких шагах от комнаты для бедных, где спали бродячие баварцы.

Спали?.. Нет, нищая троица не могла уснуть от голода. Баварцы лежали на соломе, которую принес им на ночь брат Пробус, и тихо совещались.

Старший, с прыщавым лицом, поднялся с соломы и бесшумно отворил дверь.

Месяц, ломая лучи о шпиль костела, отбрасывал черные тени на галерею. Брат келарь храпел, склонившись на молитвенной скамеечке. Баварец ухмыльнулся и щелкнул пальцами. Оба его товарища скользнули в дверь, и все трое прокрались мимо келаря в чулан, откуда исходил дух добрых, вкусных яств.

Брат келарь по-прежнему выводил носом рулады, к которым теперь примешивалось чавканье и довольное урчание трех бродяг, хозяйничавших среди блюд, предназначенных для королевских придворных.

В пять часов утра, выпустив странников из ворот и благословив их на дорогу, сонный брат келарь отправился убирать комнату для бедных. Он вынес солому и нашел нетронутую миску с хлебной похлебкой. Но, подме-

тая пол, он обнаружил много рыбьих костей и других, которые могли быть и гусиными.

— Как раз, станут они нашу похлебку хлебать,— усмехнулся келарь, сметая сор в совок.— Нахристарадничают по дороге мяса да и поедят на покое, нужна им наша похлебка!..

Солнечные часы у садовой ограды показывали восьмой час, когда монахи отслужили утреннюю мессу.

— Брат Пробус,— сказал, спустившись в кухню, настоятель Никазиус,— принеси-ка мне кусочек жареного мяса из чулана...

Пробус повиновался.

Настоятель предвкушал, как он сейчас поест гусятины, но кухарь не шел. Тогда он сам отправился за ним...

Немало воды из монастырского колодца пришлось натаскать монахам, прежде чем они привели в чувство настоятеля и кухаря, которых келарь Мансвет нашел распростертыми на полу в чулане перед опустошенными блюдами.

— Черти все съели,— были их первые слова, после того, как они очнулись.— Черти нас ограбили...

И оба заплакали.

— Может быть, случилось бы и еще кое-что похуже, если б я всю ночь напролет не стоял на коленях да не пел тихонько псалмов! — заметил брат Мансвет и пошел за кадилом — окуривать чулан; он усмехался: прекрасно он понял, какие тут побывали черти.

Настоятеля Никазиуса, правда, несколько утешило, что похороны Фердинанда I не будут совершены даже после заседания земского сейма, что они отложены на неопределенное время; но он долго еще плакался, что черти ограбили монастырь, пожрав яства, приготовленные для двора.

Тут и конец этой истории.

ПОМИНАЛЬНАЯ СВЕЧА

Похоронив старика старосту на деревенском кладбище под лиственницами, женщины и дети разошлись по своим хатам, а мужчины отправились в корчму дядюшки Шимона.

— Шимон!— крикнул один из них, когда они уселись за столами.— Шимон, налей чего-нибудь, чтобы на душе повеселей стало!

— Ох, вот и нет старосты, — вздыхая, обратился один крестьянин к остальным и вытер глаза рукавом кафтана.

— Перед смертью все равны, — заметил седой Станко, — что староста, что не староста.

— Да, смерти себе не выберешь, — откликнулся Зеб.— Напьется человек, вывалится из повозки, колеса переедут грудь и — конец.

— Правильно предсказал ему тогда цыган, — сказал Станко.— С тех пор уж сколько лет прошло. Пришел цыган в деревню, а покойный староста как раз идет от Шимона. «Ты чего смеешься? — спросил староста цыгана и велел посадить его в каталажку.— Всыпьте ему», — приказал он мне и покойному Хохличу. Мы всыпали, а цыган и говорит: «Ваш староста умрет с перепоею или убьется спьяну». И, гляди-ка, сколько лет прошло. Возвращался староста из города. Выпил как следует, вывалился из повозки, повозка переехала его, и не стало старосты.

— Выпей с нами, Шимон, — крикнул Зеб, — жаль такого старосту.

— Ох, жаль, — выпив, поддержал Шимон.— А помните, как он в прошлом году запер двух бродяг в пустой

хлев и три дня не давал им есть? «Теперь видите, ребята,— говорил он, когда они просили, чтобы он не уморил их голодной смертью,— что у нас в горах плохо нищенствовать». А на четвертый день отпустил их и дал каждому по ломтю хлеба, а сам спрашивает: «Видел, Шимон, как они бежали? Ну, да я им того.. Пусть работают».

— А нищих стариков кормил,— сказал Зеб.— Придет этакий старичок нищий. «Откуда ты, братец?» — «Оттуда-то». — «А твой отец?» — «Помер, господин». — «Тяжелая твоя доля»,— скажет староста и, почитай, целую неделю кормит старика.

— Это и я видел,— добавил Шимон.— Сидел как-то староста здесь и выпивал; тут зашел нищий старик, а он ему и говорит: «Выпей со мной, братец». Нищий выпил, а когда опьянел, староста велел мне поудобнее уложить его спать.

— Выпьем за упокой его души! — предложил крестьянин Михал.

Когда все выпили, седой Станко снова заговорил:

— Как раз вечером, накануне этой злосчастной поездки в город, староста сидел на лавочке перед домом. Подсел я к нему, а он и говорит: «Станко, дай мне руку». Подал я ему руку, а он дальше: «Человек, уезжая из деревни, никогда не знает, вернется ли, как говорит приходский священник из Стружи. Потому люди и боятся всегда. Каждый из нас грешен, это ты по себе знаешь, Станко. Вот я и думаю, что, если бы во искупление моих грехов в часовне святого Йозефа, что стоит на опушке, горела большая свеча, отец небесный сказал бы мне после смерти: «Пока эта свеча горит, побудешь в чистилище, а потом возьму тебя к себе, на небо». Думал я об этом последнее время, а вчера мне приснилось, что святой Йозеф сказал: «Толькс смотри, брат, чтобы свеча была большая». Я и решил, что поеду в город и куплю самую большую свечу. Да боюсь, что там много выпью и вернусь без свечи». Как сейчас, вижу покойного! «Братец Станко,— говорит он мне,— я дам тебе денег на свечу, а ты ее после моей смерти купи и поставь в часовне святого Йозефа, пусть там горит за упокой моей души. Ох, грешен я!»

Седой Станко снова выпил, вытер слезы, выступившие у него на глазах, и продолжал:

— Дал он мне деньги и говорит: «Вот, братец Станко, три рейнских; на эти деньги купи хорошую свечу, пусть она горит, пока я буду мучиться в чистилище. А когда догорит, можете сказать: «Теперь наш староста попал в царствие небесное». Но смотри, чтобы свеча была толстая, потому что грехов у меня много. Надо мне немножко помучиться. Бери эти три гульдена и после моей смерти купи на них свечу. Зажжешь ее в часовне, а когда пройдете лесом, перекреститесь и скажите: «Дай ему господь бог вечный покой. Он много грешил, но бог милослив». Так говорил за день до своей смерти покойный староста, но никак не думал, что сегодня мы его похороним под лиственницами. Бедняга.

Седой Станко снова отер слезу, вынул из пояса три гульдена, положил на стол и говорит:

— Вон как вы весело поблескиваете! Когда поеду в город, куплю на эти деньги свечу, да побольше. Ох, бедняга староста, не думал ты, когда копил эти три гульдена, что так скоро будет за упокой твоей души гореть свеча в часовне святого Йозефа.

— Ну, копить ему было нетрудно,— возразил Зеб,— это мы все хорошо знаем. Он, бедняга, собирал налоги. Мы-то их платили, а он их, бывало, пропьет и не отвезет в город. А если и отвезет, то не целиком.

— Он сам говорил,— сказал Михал.— «Я грешный человек, нет дня, чтобы я не согрешил». Пообещал мне помочь, чтобы сына в солдаты не забрали: «Это, конечно, обойдется в копейку, да я во время призыва поговорю с начальством». Дал я ему тогда несколько гульденов. А сын вот уже третий год служит уланом. Вот какой он был, покойный. Зажилил деньги. Конечно, ему легко давать по три гульдена на свечу.

— И займы брат любил,— вмешался молодой Хохлич.— Приходит как-то ко мне. Одолжи, мол, мне гульден. Дал я ему. А через некоторое время спрашиваю: «Что ж, староста, когда вернешь мне гульден?» А он: «Да что ты, братец, ты мне ничего не давал». — «Что вы, староста, вспомните!» — «Неужто я тебя обманывать буду? — говорит староста.— Ну, ладно, я еще с твоим отцом дружил, прощаю тебе твою шутку».

Зеб с вождением посмотрел на лежавшие на столе три гульдена и снова заговорил:

— Не нравилось мне в старости, что он, бедняга, занимал то тут, то там и словно забывал. Дал я ему как-то гульден, а когда напомнил, он отвечает: «Не знаю, братец, право, не знаю, по-моему, ты мне ничего не одалживал».

— Все мы не без греха,— сказал крестьянин в кафтане, — и староста был прав, когда говорил, что грешен. Я думаю, надо ему простить его прегрешения.

— А я говорю,— откликнулся молодой Хохлич,— что покойный староста на налогах нас обманывал, долгов не возвращал. Если в хозяйстве ему чего не хватало, опять-таки занимал, а попробуй напомни ему... А теперь, после смерти, ему еще свечу покупать. Да за что же?

Зеб, снова с вожделием поглядывая на лежавшие перед седым Станко деньги, сказал:

— За что, за что? Все знаем, за что. Правильно говорит Хохлич: на налогах нас обманывал, долгов не платил, занимал продукты и не возвращал. Так...— Зеб положил руку на деньги.— Так что, Станко, я думаю, что нечего покупать для покойного свечу за три гульдена.

Станко вздохнул:

— Покойный, дай ему бог вечный покой, и у меня как-то взял взаймы гульден, пропил его и не отдал. Бог милостив...— Станко снова вздохнул.— Он отпускает грехи по милосердию своему. Так зачем же тратить деньги на свечу? Покойный был, конечно, грешником, но...— седой Станко помолчал и закончил: — Но деньги, хоть и после смерти, честно вернул.

Старый Станко сунул одну из трех монет в свой пояс и сказал:

— Один гульден получишь по праву ты, Хохлич, а второй — ты, Зеб.

И по сей день в часовне святого Йозефа, патрона покойного старосты, темно. Не горит там большая свеча за упокой души грешного старосты. Темнота в часовне гармонирует с лесной тишиной, которая нарушается только, когда молодой Хохлич, Зеб или седой Станко, возвращаясь из корчмы дядюшки Шимона, останавливаются перед часовней и, перекрестившись, шепчут:

— Ох, староста! Бог милосерд, он и без свечи откроет тебе врата царствия небесного, тогда замолви словечко и за нас, грешных... За трех сукиных сынов...

РЕКЛАМНАЯ СЦЕНА

(Американская юмореска)

По одной из сживленнейших улиц американского города, название которого не имеет значения, шли вечером навстречу друг другу два человека приятной наружности, с чисто выбритыми лицами.

Когда они почти столкнулись, господин в сером цилиндре спросил господина в мягкой шляпе:

— Простите, сэръ, не имел ли я чести когда-нибудь встречаться с вами?

— Отнюдь нет, сэръ, я вас не знаю,— ответил господин в мягкой шляпе.

— Это поразительно! — громко, чтобы было слышно прохожим, воскликнул первый.— Итак, вы утверждаете, что никогда меня не видели?

— Никогда,— удивленно повторил второй.

— Тогда разрешите спросить,— продолжал господин в сером цилиндре,— почему вы так внимательно разглядывали меня издали?

Во время этого разговора вокруг них начали собираться зрители.

— Эти господа — свидетели, что я на вас не смотрел,— сказал второй.

— Нет, смотрели, сэръ! — весьма громогласно ответил первый.— Если вы джентльмен, извольте ответить, почему вы это делали!

— Я вас не знаю, считаю ваш вопрос совершенно неуместным и...

— Продолжайте, пожалуйста, что «и»...— сказал первый господин.— Что вы этим «и» хотели сказать?

— Я не собираюсь отвечать,— спокойно проговорил второй и, обращаясь к окружающим, которые с возрастающим интересом прислушивались к этому необычному спору, добавил:— Господа могут подтвердить, что я не сказал ничего дурного.

— Так, значит, думали нечто дурное, не так ли, господа?— спросил возбужденно первый.

— Я отказываюсь отвечать и на этот вопрос,— сказал второй господин,— так как...

— Что «так как»?— прервал его господин в сером цилиндре.— Вы хотели, по-видимому, сказать: «Так как не собираюсь больше пачкаться о вас»?

— Я этого не говорил,— возразил господин в мягкой шляпе,— потому что...

— Что вы разумеете под этим «потому что»?

— Абсолютно ничего, сэр!

— Но вы сделали на этом слове какое-то особое ударение, сэр!

— Не думаю.

— Ну, так не обременяйте меня своим присутствием,— раздраженно рявкнул первый.

— Я могу стоять, где мне угодно, хотя...

— Словом «хотя» вы хотели оскорбить меня, сэр!— прорычал господин в сером цилиндре.

Количество присутствующих между тем возросло.

— Вас? И оскорбить?!— спокойно ответил второй господин.— Едва ли это возможно!

— Что вы хотели сказать этой фразой?

— Ничего, кроме...

— Что вы разумеете под словом «кроме»?

— Под словом «кроме»,— ответил второй рассудительно,— я разумею, что вы, сэр, осел.

— Дайте ему!— посоветовал кто-то из зрителей.— Пристрелите его!

Господин в сером цилиндре поставил свой цилиндр на землю и начал засучивать рукава.

— За это вы ответите, сэр!— крикнул он.

— А ну, подойдите! — произнес второй. — Повторяю еще раз, что вы осел!

— О'кэй! — воскликнул первый. — За это я выбью вам зубы!..

— Попробуйте!

— Что ж, попробую! — угрожающе произнес первый и стукнул господина в мягкой шляпе по зубам с такой силой, что тот упал на землю.

Наступила сумятица. Все бросились на зачинщика... Но в это время потерпевший поднялся, встал против своего противника, которого присутствующие уже собирались линчевать, и совершенно спокойно сказал:

— Леди и джентльмены, посмотрите на мои зубы: не пострадал ни один из них. — И показал окружающим на свою челюсть, в которой сверкали прекрасные белые зубы.

— Джентльмены, смотрите и помните! Мои зубы искусственные. Фирма «Мартенс и К⁰» производит несокрушимые искусственные зубы — наилучшую замену настоящим!

После этого первый господин взял второго под руку, и оба они прокричали:

— Рекомендуем вам искусственные зубы фирмы «Мартенс и К⁰»!

Затем оба, закурив сигары, спокойно отошли.

*

До сего дня эти двое служащих фирмы «Мартенс и К⁰» были добрыми приятелями. Но после вышеописанной сцены между ними пробежала черная кошка.

— Вильям, — сказал второй, когда они после выступления пошли подкрепиться в ресторан, — вот твои три доллара.

— Мне полагается получить еще два, Джон, — возразил Вильям. — Ведь господа Мартенс и К⁰ платят нам по пять долларов в день.

— Правильно, — ответил Джон. — Но со вчерашнего дня ты должен мне два доллара.

— Ничего подобного!

— Вильям,— сказал Джон беспокойно,— разве ты не помнишь, что занял их у меня вчера до того, как упился?

— Я не упивался,— защищался Вильям.— Это ты был пьяный.

— Хорошо,— ответил Джон.— Ты был трезв и не занимал этих двух долларов, ты просто взял их у меня.

— Но я взял только свои, Джон, потому что позавчера ты вынул у меня из кармана мундштук для сигарет стоимостью в два доллара.

— Мистер Вильям, вы лжец!

— Мистер Джон, вы вор!

— Пьяница!

— Черномазый!

В зале ресторана раздался своеобразный звук, о происхождении которого можно было догадаться из слов мистера Вильяма:

— Мистер Джон, за эту пощечину мы еще рассчитаемся!

И служащие фирмы «Мартенс и К⁰» разошлись во гнев...

— Джентльмены! — сказал мистер Мартенс на другой день, когда бывшие друзья явились в канцелярию фирмы.— Наш компаньон мистер Уоттер был весьма доволен, можно даже сказать, восхищен тем, как великолепно вы сыграли вчера вечером на Четвертой улице рекламную сцену. Вы провели ее совершенно естественно, за что выражаю свою признательность как вам, мистер Джон, так и вам, мистер Вильям. Сегодня вы сыграете нашу рекламную сцену на Шестой улице в семь часов вечера. Проведите ее как можно естественнее. Я уже говорил с начальником полиции, и он мне обещал не чинить вам никаких препятствий, так как не видит в этом ничего противозаконного...

Мистер Вильям заверил:

— Будьте уверены, мистер Мартенс, что нашу рекламную сцену мы сыграем самым естественным образом...

Итак, в семь часов вечера по Шестой улице шли на встречу друг другу мистер Вильям в сером цилиндре и мистер Джон в мягкой шляпе.

Мистер Уоттер, компаньон мистера Мартенса, был восхищен сегодня еще более, чем вчера, так как в голосе мистера Вильяма звучал подлинный гнев.

Сцена протекала вполне естественно.

— Вы хотели, по-видимому, сказать: «Не собираюсь больше пачкаться о вас»? — говорил мистер Вильям мистеру Джону, подхватывая уже известную нам фразу: «Я отказываюсь отвечать на этот вопрос, так как...»

— Я этого не говорил, — произнес мистер Джон, — потому что...

— Что вы разумеете под этим «потому что»?

— Абсолютно ничего, сэр!

— Но вы сделали на этом слове какое-то особое ударение, сэр.

— Не думаю.

— Ну, так не обременяйте меня своим присутствием!

— Я могу стоять, где мне угодно, хотя...

— Словом «хотя» вы хотели оскорбить меня, сэр!

— Вас? И оскорбить?! Едва ли это возможно.

— Что вы хотели сказать этой фразой?

— Ничего, кроме...

— Что вы разумеете под словом «кроме»?

— Великолепно! — воскликнул мистер Уоттер, компаньон мистера Мартенса, находившийся в толпе.

— Под словом «кроме» я разумею, что вы, сэр, осел!

— Потрясающе! — восхищался мистер Уоттер, так как мистер Вильям с еще более угрожающим видом, чем вчера, начал засучивать рукава.

— За это вы ответите, сэр, — говорил мистер Вильям мистеру Джону.

— А ну, подойдите! — отвечал мистер Джон. — Повторяю еще раз, что вы осел!

— О'кэй! — воскликнул мистер Вильям, бросился на мистера Джона, повалил его на землю и начал молотить, приговаривая: — Это тебе за вчерашнюю пощечину, вор!

— На помощь! — закричал мистер Уоттер в ухо полицейскому, который спокойно наблюдал за этой сценой. — Вмешайтесь, пожалуйста...

— Это же разрешенная рекламная сцена,— возразил полицейский с улыбкой.— Господа играют необыкновенно естественно.

*

На следующий день в газетах появилось следующее сообщение:

«Нижеподписавшийся начальник полиции запрещает проведение рекламных сцен, поскольку на днях при подобной рекламной сцене мистер Джон, служащий фирмы «Мартенс и К^о», получил, согласно медицинскому заключению, серьезные увечья от мистера Вильяма, служащего той же фирмы, причем у мистера Джона была полностью разбита его искусственная челюсть».

ЦЫГАНСКАЯ ИСТОРИЯ

Нового владельца Фюзеш-Баноцского поместья воодушевляли гуманные принципы, что противоречило всем обычаям венгерского дворянства.

Это выглядело тем более странно, что человек этот был к тому же гусарским поручиком.

Иштван Капошфальви — так его звали — унаследовал доброе, благородное сердце своей матери, которая, приказав однажды выгнать обкрадывавшего ее старого управляющего, долго плакала по этому поводу.

У Капошфальви было мягкое сердце, такое же мягкое, как мякоть зрелых дынь, что дремали, положив на землю свои желтые головы, на полях за замком.

Такое доброе было у него сердце, что пештские шансонетки с напудренными щеками могли рассказывать целые истории о том, как он, увидев слезы на прекрасных глазах девушек, ни в чем не мог отказать им и даже плакал вместе с ними, если выпивал перед тем несколько бутылок эгерского; да, плакал, хотя и был гусарским поручиком!

Такое доброе было у него сердце, что ему пришлось продать родовой замок под Эгером, на дороге Хатван — Геделле — Дьендеш. Люди, которые умеют во всем находить плохое, говорили, что он промотал имение, и доказывали это тем, что Иштван Капошфальви в тридцать лет обладал уже солидной плешью. Сам он, однако, объяснял появление плешу чрезмерными тяготами военной службы и, кроме того, лихорадкой, полученной во время маневров в болотистой местности у Дярмата *.

Фюзеш-Баноцкое поместье он купил по дешевке. На это хватило денег, которые у него остались после продажи с аукциона старого дворянского гнезда и уплаты долгов.

И вот в одно прекрасное утро, когда на востоке взошло красное, как горящая степь, солнце, бывший гусарский поручик, украшение бульвара Андраши в Пеште, превратился в обыкновенного помещика, с заботами о том, поднимается цена на кукурузу на городском рынке или падает.

В то же утро он велел позвать приказчика и сказал ему:

— Я здесь уже неделю, но до сих пор не знаю, как выглядит мое поместье. Будьте любезны, покажите мне его. Я хочу осмотреть и амбары, и курятники, и конюшни— словом, все.

Приказчик был так поражен этой речью, что вначале не мог вымолвить ни слова.

— Ваша милость,— произнес он минуту спустя,— примите, пожалуйста, во внимание....

— Что я должен, черт возьми, принимать во внимание? — рассердился дворянин.

— Извольте принять во внимание,— спокойно ответил приказчик,— что до сих пор у нас не было заведено, чтобы господа осматривали амбары и хозяйство. И кроме того, как раз за нашими хозяйственными постройками в четырех шалашах живут цыгане. А они, как вам известно, не очень-то чистоплотный народ.

— Я прикажу прогнать их,— сказал высокородный помещик.

— Не извольте гневаться, ваша милость,— заметил приказчик,— чудное дело с этими цыганами. Покойный граф был обязан им. Видите ли, старый господин любил выпить и однажды, напившись, свалился в помойную яму. И случилось так, что цыган Фараш вытащил его сиятельство из ямы, привел в чувство и обсушил у огня в своем шалаше. Еще покойница графиня очень сердилась. С тех пор старый граф любил, очень любил цыган. Поговаривали даже...

Приказчик доверительно потянул его милость за сюртук.

— Поговаривали, что покойный граф хаживал потом

к цыганам не из-за старого Фараша, а из-за его дочери. Видите ли, дочь, родная дочь. Зовут ее Гужа, это цыганское имя, и означает оно: «вечерняя звезда».

— Красивое имя,— похвалил Капошфальви, которого эта цыганская история начинала интересовать.— А больше ничего не говорили?

— Я часто гулял с покойным графом, и он сам мне кое-что рассказывал. Эта Гужа — настоящий черт. Раз как-то он зашел в шалаш и ущипнул Гужу за щеку. Если бы мой господин ущипнул меня, я из почтения смолчал бы, но Гужа устроила скандал и доставила старенькому графу большое огорчение. Сначала обругала его, а потом вытолкала вон. Да, ваша милость, настоящая дикарка. И покойный господин не заслужил такого обращения. Бедный граф! Последнее время он начал терять память. «Приказчик, сколько мне лет?» — спрашивает, бывало. Это был добрый барин. А негодница Гужа кричала на него: «Старикашка из помойки!» — Приказчик глубоко вздохнул.— Трудно с этими цыганами,— продолжал он.— Вся банда ворует, где только может. А быть с ними построже — тоже не резон. Они способны на все. Целуют руку, а отвернешься — смеются над тобой.

— Дружище,— произнес его милость,— добротой добьешься большего, чем строгостью. Это всегда было моим девизом.— И он провел рукой по своей лысой голове.

— Доброта,— вздохнул приказчик,— от нее тоже мало толку. Вот взять хотя бы нашего покойного графа. Он всегда обращался с цыганами благородно. Однажды, помню, пришел к нему староста из деревни и пожаловался, что цыгане ночью увели у него из хлева свинью. Старый граф сам отправился к цыганам. Я пошел с ним. Приходим в первый шалаш. Его сиятельство начинает уговаривать их не красть, вести себя хорошо, говорит, что они тоже люди, что он велит их всех арестовать, если они не отдадут свинью, что он, впрочем, не станет этого делать, так как знает: в следующую ночь они вернут свинку в хлев. Он скажет старосте, чтобы тот оставил хлев открытым на всю ночь и не запирает его. Не говоря ни да, ни нет, цыгане молча поцеловали графу руку. Но что было утром, на другой день! Староста, чуть не плача, докладывал господину, что оставил хлев открытым, как и приказал его милость, но цыгане свинью

не вернули, а, напротив, увели другую и украли еще двенадцать кроликов. Его сиятельство хотел арестовать цыган, но как раз на следующий день свалился в помойную яму.

Приказчик собирался повторить рассказ о случае с помойкой, но Капошфальви прервал его:

— Доброта не должна уступать место глупости. Судя по всему, мой предшественник был немного глуповат и ни на грош не смыслил в хозяйстве. Я хочу взглянуть на цыган. Надо упорядочить их жизнь. Проводите меня!

Они пересекли сад и очутились на южной стороне его, где изгородь густо заросла виноградом. Кисти винограда свисали вниз, а между ними мелькали грязные и смуглые лица детей.

— Смотрите, ваша милость, это ребята цыгана Терека. Гужа любит виноград.

Бывший поручик остановился.

— Черт побери,— произнес он, похлопывая приказчика по плечу,— я никак не могу понять, чего вы так носитесь с этой Гужей? Гужа любит виноград! А если Гужа любит жареную свинину и цыгане украдут свинью — вы скажете: «Гужа любит свинину!»

Капошфальви рассмеялся. Ему казалось, что он очень удачно сострил.

— А что,— продолжал он.— Гужа действительно хороша?

— Очень хороша, ваша милость,— стал описывать Гужу приказчик.— Прежде всего у нее прекрасные глаза. Глянeshь в них — и кажется, весь мир вокруг вас кружится, будто вы залпом выпили бог весть сколько вина. Они черные, как черная трясина, если можно так выразиться,— знаете, ваша милость, если вы бывали за Хатваном, то могли видеть такую трясину часах в трех ходьбы от города,— вот какие у Гужи глаза. Лицо у нее смуглое, уши маленькие, а волосы...— Приказчик задумался и вздохнул.— Волосы, ваша милость, у нее мягкие и черные. Чернее сюртука вашей милости. Сама Гужа, однако, невероятно груба,— закончил приказчик свою поэтическую речь.

Они вышли из сада и зашагали вдоль речки. На берегу стирали женщины из деревни, стуча вальками по

белью, разложенному на камнях. Увидев помещика, они перестали стирать и зашептали друг другу:

— Наверно, их милость решили посмотреть на Гужу. А приказчик сам ведет его! Хоть бы постыдился.

За рекой, в четверти часа ходьбы, расположились шалаши баноцких цыган. Сколько этих шалашей — установить довольно трудно: если, допустим, цыгане сломают днем несколько из них, то за ночь настроят новых, так что число шалашей все время меняется. Перестраивая свои жилища, фюзеш-баноцкие цыгане преследуют определенную цель. Говорят, несколько лет назад их шалаши стояли на расстоянии часа ходьбы от деревни, а теперь приблизились к ней вплотную.

К этим-то слеженным из глины и соломы шалашам, что вечером, при лунном свете, напоминают укрепления, прикрывающие подступы к крепости, и вел приказчик своего господина.

Подойдя к шалашам, они услышали голос, напевавший цыганскую песню: «*Биш фунты заштера ра, ра*» — «Три фунта железа у меня на ногах». Это трогательная и жалобная песня, она воспевает разбой и кражи и скорбит о цыгане-грабителе, брошенном в темницу.

Первой, кого они увидели, была Гужа.

— Это Гужа, — заметил приказчик, следя взглядом за проворной фигуркой, мгновенно исчезнувшей в шалаше, из которого валил дым — от коротких цыганских трубок и отчасти от очага.

Капошфальви и приказчик пробрались в шалаш, в котором скрылась Гужа. Некоторое время Капошфальви ничего не видел из-за дыма; к тому же у него слегка кружилась голова от духоты и непривычного запаха, — ведь цыгане пахнут не так, как оседлые обитатели Европы.

Он ничего не видел, но чувствовал, что вокруг него копошатся большие и маленькие цыгане, которые наперебой тянутся к нему и целуют ему руки.

Привыкнув к полумраку, он заметил, что стены шалаша завешены пестрыми коврами, вернее, кусками материи, которые много лет тому назад были, вероятно, коврами, а вдоль стен сидят на земле несколько детей, старая цыганка, старый цыган и Гужа.

Он сразу узнал ее по описанию приказчика.

— Ты Гужа! — сказал он ей.

Она ничего не ответила, зато целым каскадом слов разразился старый цыган Фараш:

— Государь наш, всемилостивейший благородный господин, это Гужа, моя дочь, ваша честь, это она, негодница, сидит тут, вместо того чтобы подойти и поцеловать руку благородному господину, который соизволил прийти посмотреть на наш убогий шалаш.

Тут речь Фараша приобрела плаксивый оттенок.

— Да уж, убогий, совсем нищенский, никудышный, — продолжал он. — При старом графе, при покойном благородном господине — много времени тому назад, государь наш, — было лучше, много лучше. Мы сами были сыты да еще помогали своим в соседних шалашах. Его милость разрешили Гуже (Поцелуй, негодница, руку благородному господину!) ходить каждый день на господскую кухню за остатками, которые сиятельные господа не изволили скушать.

Старый цыган вытер глаза широким рукавом рубахи.

— Убогие мы, государь наш. После смерти покойного господина Гужа не ходит больше на господскую кухню — ее оттуда выгнали. Ах, боже мой! Цыган ведь тоже человек, а что ему приходится выносить от людей! С ним обращаются хуже, чем с собакой, ваша милость, *карша ваганджа*. Целуй, Гужа, в последний раз тебе говорю, целуй благородному господину ручки! Не хочешь? Ваша милость, благороднейший господин, Гужа — очень робкая девушка. Она не осмеливается (Погоди у меня, негодная!), не осмеливается поцеловать благороднейшему государю руку, я высеку ее, ваша честь, к вашим услугам, всемилостивейший господин!

Старый цыган всхлипывал и нанизывал плаксивым голосом одно слово за другим.

Гужины очи светились во мгле.

— Гужа может приходиться на кухню за остатками, — сказал благородный господин, — я постараюсь помочь вам, чем смогу, только не крадите. Воров в своем поместье я не потерплю.

И Капошфальви с достоинством вышел из шалаша, точнее сказать, вылез, преследуемый благодарностями всей семьи цыгана Фараша.

— На сегодня с меня хватит,— сказал он приказчику, вдыхая свежий воздух.

— Извольте приказать, чтобы осмотрели ваше платье,— лаконично заметил приказчик,— цыгане, знаете... Покойный граф всегда отдавал выпаривать платье, когда возвращался от них.

Уже более двух недель Гужа ходила на господскую кухню за остатками еды, и за все это время кухарка сообщила лишь о пропаже трех серебряных ложечек, которые, впрочем, могла сама случайно выплеснуть.

Высокородный господин время от времени вспоминал Гужу, но в течение этих недель особенно ею не занимался, ибо усердно изучал сочинение «О различиях и продуктивности пород рогатого скота», хотя, к его досаде, ему постоянно мешали спокойно исследовать столь важную для помещика книгу.

Он как раз сидел над нею, подчеркивая такие слова, как «пинцгавская» * и тому подобные, когда кто-то робко постучал в дверь. Вошла жена приказчика.

— Целую руку благородному господину,— начала она,— не откажите, ваша милость, хорошенько пробрать моего мужа. Эта Гужа совсем вскружила ему голову, и как только старику не стыдно. Стоит ей появиться на кухне, он только и делает, что вертится вокруг нее. И подумайте только, ваша милость: платье выпросил у меня, чтобы ей, дескать, приличнее одеться. Он даже упомянул еще ваше имя — мол, это он только для вас старается. Врет он, врет! При покойном господине тоже все за ней увивался. Совсем забывает, что у него есть ребенок и я. Боюсь, как бы он не сбежал с этой цыганкой. Он ведь из такой семьи. Его дед три месяца бродил с цыганами и бросил их только после того, как его под Дебреценом ножом порезали.

Слезы брызнули у приказчицы из глаз. Капошфальви улыбнулся.

— Не бойтесь,— сказал он,— приказчик в Гужу не влюбится, а если и влюбится, так не убежит с ней. Впрочем, скажите на кухне, что я велел прислать Гужу в полдень ко мне. Я с ней побеседую.

— Соизвольте быть осторожным, ваша милость,— посоветовала приказчица,— как бы она вас не сглазила.

С первым ударом деревенского колокола Гужа вошла в кабинет Капошфальви.

Платье, подаренное приказчицей, было ей очень к лицу. Она скромно остановилась у двери, только глаза ее блестели.

— Подойди поближе, — подозвал ее Капошфальви, — и скажи откровенно, что у тебя там с приказчиком?

— Ничего, совсем ничего, *девлегуретке*, клянусь богом, — отвечала Гужа, — просто госпоже приказчице везде чудится *бинг*, черт. Как увидит меня, начинает кричать — по-цыгански выучилась, — только знай кричит: «*Овай андра гау, мурдулеска барро, яв адай, кхай, нуке тукелесден морэ*».

И прекрасная Гужа дала волю слезам.

— Что это значит? — спросил Капошфальви.

— Это значит, — всхлипывая, объясняла Гужа, — «В той деревне закопали свинью, пойдй, цыганка, пусть се отдадут тебе».

Гужа перестала плакать, и ее черные глаза сверкнули. Она в упор смотрела на благородного господина.

У Капошфальви, как известно, было очень доброе сердце.

— Гужа, — промолвил он, — хочешь получить работу? Ты могла бы помогать при уборке комнат. Я прикажу тебя хорошо одеть. Приказчица объяснит тебе, что делать. Понемногу научишься. Твой отец, старый Фараши...

— Он не отец мне, — возразила Гужа, — он только с малых лет воспитывал меня, ваша милость. — Она приветливо улыбнулась бывшему гусарскому поручику.

— В шалаши тебе возвращаться, конечно, незачем, — сказал Капошфальви; чем дольше он смотрел на Гужу, тем ласковее становился. — Об остальном позабочусь я...

На другой день приказчица уже обучала Гужу всему, что полагается знать горничной.

*

Вокруг Фюзеш-Баночкого поместья расположено пять других поместий, земли которых непосредственно соприкасаются с Фюзеш-Баном. Владеют этими поместьями дворяне Золтанай, Виталиш Муртолаи, Эжо Берталани, Михал Комаи и Карол Серени. Всем им вместе триста двадцать пять лет.

Это потомки старинных дворянских родов. В день святого короля Иштвана * они еще надевают плащи, бешети, отороченные каракулем, и пристегивают к поясу кривые сабли, на клинках которых выгравирован год — 1520, 1632, 1606, 1580 или 1545, в зависимости от того, когда какой род вступил на доблестный путь древнего венгерского королевства.

Их замки похожи друг на друга, как их плащи, а их нравы схожи, как их замки. Эти-то дворяне и собрались у самого старшего, семидесятидвухлетнего Карола Серени ровно через три недели после того, как Гужа впервые стала выполнять обязанности горничной в доме Капошфальви.

Они сидели в столовой за круглым столом, перед каждым стояла оловянная чарка с вином. Все молча покуривали короткие трубки.

Только в три часа Серени сказал: «Неслыханно!» В половине четвертого Комаи уронил: «Невиданно!» В четыре часа Берталани заметил: «Ужасно!» В четверть пятого Муртолаи произнес: «Поразительно!» Еще через десять минут Пазар Золтанай промолвил: «Это совершенно небывалый случай!» И только в пять часов Серени, хозяин дома, снова открыл рот.

— Я полагаю, что мы все говорим о нашем соседе, господине Капошфальви,— сказал он.

Чувствовалось, что вино развязывает им языки.

— Я принадлежу к старинной секейской семье *,— заметил Берталани,— но никогда ничего подобного не слышал.

— При Яне Запольском *, сто лет назад, были очень вольные нравы, но такого не потерпели бы и тогда,— подхватил Комаи.

— Я сожалею, что Капошфальви — наш сосед, моя кукуруза граничит с его арбузами,— произнес Золтанай.

— Целая округа говорит о том, что у Капошфальви горничная — цыганка по имени Гужа,— вставил Комаи.

— Меня посетил преподобный патер из Фюзеш-Банока,— продолжал Золтанай,— я как сейчас вижу его. Он едва не плакал. Цыганка Гужа прислуживает гостям.

— Я слышал,— прибавил Серени,— что она сказала преподобному отцу: «Пейте, господин патер, пейте, не стесняйтесь».

— А Капошфальви, говорят,— заметил Комай,— рас- смеялся, похлопал цыганку по плечу и сказал ей: «Бес- стия».

— Ничего подобного,— возразил Серени,— он ска- зал: «Красивая бестия».

— И это в присутствии священника! — воскликнул Берталани.

— Невиданно!

— Неслыханно!

— Ужасно!

— Это небывалый случай!

— Мы достаточно натерпелись позора от покойного графа,— сказал Серени, когда общество немного успо- коилось,— а ведь он ничего дурного не делал, только лю- бил ходить к шалашам и смотреть на Гужу. Но подоб- ная выходка истощила наше терпение.

— Обсудим все обстоятельно,— предложил Мрто- лаи.— Мы стоим перед свершившимся фактом: в нашу среду проник человек по имени Капошфальви, который прокутил где-то в Пеште свое старое дворянское гнездо над Рабой * и все-таки сумел избежать разорения, купив Фюзеш-Баноцкое поместье,— говорят, все спустить он просто не успел.— Мртолаи отпил вина.— И едва при- гревшись здесь, этот человек — разве я не прав? — задумал подкопаться под наши добрые нравы, устроить, так сказать, подкоп,— не так ли? Цыганку Гужу он вдруг делает горничной. Цыганку, подумайте только!..

Тут Мртолаи, проявив все признаки возбуждения, взмахнул рукой и опрокинул чарку с вином. Когда чарку снова наполнили, он сделал порядочный глоток и среди наступившей тишины произнес:

— Вот что я хотел сказать. Полагаю, что мы понима- ем друг друга.

— Нам ничего не остается,— резюмировал Карол Серени,— как решиться на трудный шаг: в следующее воскресенье навестить Капошфальви и объяснить ему, что мы все одного мнения: он запачкал репутацию дворяни- на. Я думаю, что к нему нужно направить Виталиша Мрто- лаи.

— А мне кажется,— возразил Виталиш Мртолаи,— что мы все должны поехать к нему, он по крайней мере нас испугается.

— Я скажу ему, чтобы он убирался из нашей округи,— произнес Золтанаи, которому вино придало отваги.

— Он гусарский поручик,— заметил Серени.

— Я скажу ему,— продолжал Золтанаи,— чтобы он помнил о своих предках.

— Да будет милостив к нему господь,— торжественно провозгласил Серени, поднимая бокал.— В следующее воскресенье мы навестим его.

*

Из пяти бричек, остановившихся в следующее воскресенье перед домом Капошфальви, вышли пятеро дворян; с достоинством вступили они в дом, молча поднялись по лестнице, молча вручили слуге визитные карточки. И только когда хозяин вышел их приветствовать, они один за другим холодно произнесли: «Прошу прощения, ваш покорный слуга».

Молчание пятерых дворян продолжалось до тех пор, пока в дверях не появилась Гужа.

— Мы хотели сказать вам кое-что,— обратился Парзар Золтанаи к хозяину дома.

— Сначала мои соседи выпьют глоток вина,— ответил Капошфальви.— Гужа, принеси вина!

Гости подтолкнули друг друга локтями, а их лица приняли скорбное выражение.

— Красивая у меня горничная,— сказал Капошфальви, когда Гужа принесла вино,— не правда ли, красивая, господа?

— Мы хотели сказать вам кое-что,— произнес Серени, делая вид, что не расслышал.

— Нечто важное,— прибавил Михал Комаи.

Мортолаи, Берталани и Золтанаи только кивнули.

— О, торопиться некуда! — заметил Капошфальви.— Гужа, прислужи господам.

— Мы сами себе нальем,— возразил Золтанаи; но Гужа уже склонилась над ним и заглянула ему в глаза.

Золтанаи потупился.

— Прокля...— выругался он потихоньку.— Вот наказанье божье!

— Есть ли у кого-нибудь из вас, господа, такая красивая горничная? — спросил Капошфальви, когда Гужа

вышла за новой порцией вина.— Наверное, каждый не прочь со мной поменяться.

— Мы намерены говорить с вами по серьезному делу,— ответил Пазар Золтанаи.— Вот Комаи объяснит вам цель нашего визита.

— Морталаи старше меня,— выкрутился Комаи,— пусть он скажет, зачем мы приехали.

«Странная компания,— подумал Капошфальви.— Молчат, пьют и без конца твердят, что должны сказать мне нечто важное».

— Ваши бокалы пусты,— произнес он вслух.— Гужа, эй, Гужа!

Комаи толкнул коленом Берталани, Берталани двинул локтем Золтанаи, и этот последний выдал из себя, обращаясь к Капошфальви:

— Многоуважаемый сосед, я хочу передать...

— Эльес (превосходно),— сказал Морталаи на секейском наречии, на которое переходил всегда, когда волновался.

— Я хочу передать вам наше общее пожелание,— продолжал Золтанаи, делая ударение на каждом слове.— Я полагаю, что представители нашей округи собрались здесь в полном составе, то есть я, Берталани, Золтанаи... то есть я, Комаи и Морталаи.

Золтанаи вытер пот со лба и машинально протянул руку к пустому бокалу.

— Гужа,— позвал Капошфальви,— вина господам!

Появилась Гужа и стала разливать вино. В ее обращении с Золтанаи сквозила какая-то интимность; наливая вина Комаи, она коснулась его заросшего лица своими волосами, Берталани положила на плечо левую руку, а старому Морталаи взглянула в глаза так, что тот, растерявшись, залпом выпил полный бокал внушительных размеров.

— Благородному господину понравилось,— засмеялась Гужа, наливая снова.

— Цыганка,— произнес Золтанаи.

— Да, господин Капошфальви,— подхватил Берталани,— интересы сословия вынуждают нас...— не зная, что еще сказать, он выпил вина и закончил словами: — Бог свидетель.

А гибкая Гужа все вертелась вокруг гостей, наполняя бокалы. Час спустя Муртолаи взял Гужу за подбородок, а Берталани сказал:

— Кошечка!

— Бестия,— нежно проговорил через четверть часа Золтанан, в то время как Берталани шептал ей:

— *Дермекем* (дитя мое).

Гости беспрестанно обращались к Гуже, перебивая друг друга, а Капошфальви только головой качал от изумления.

Старые почтенные дворяне были уже пьяны, когда через полуоткрытое окно в комнату донеслись звуки скрипки. Жалобные звуки. Видимо, скрипач, расположившийся под окнами замка, находил особое удовольствие в высоких тонах, что свойственно всем цыганским музыкантам.

Тоскливые, протяжные звуки витали над собравшимися — звуки, напоминавшие шорохи камыша в ясные ночи на дярматских равнинах.

Заунывная мелодия сменилась быстрой, и вот понеслись звуки живые, стремительные, как топот жеребят, мчащихся по долине Тисы.

И так же внезапно она вновь зазвучала жалобно, и уже лилась под окном цыганская песня, оплакивая печальную бродячую жизнь цыган.

— Цыган играет,— сказал Капошфальви.— Не позвать ли его, чтобы он сыграл нам?

— Конечно,— заплетающимся языком ответил Берталани,— эгерскому вину под стать цыганская музыка.

— Гужа,— приказал Муртолаи,— позови этого цыгана.

Гужа убежала. Голос скрипки под окнами дома зазвучал громко, ликующе, потом протяжно зарыдал — и стал удаляться, напоминая в тишине наступающего вечера крики больших болотных птиц. Прошло четверть часа — Гужа не появлялась, хотя вся компания, не исключая и хозяина, который тоже был навеселе, кричала: «Эй, Гужа!»

Не дозвавшись ее и в следующие полчаса, господа начали волноваться. Их тревога возросла, когда в комнату без стука ворвался приказчик.

— Не извольте гневаться, вельможные господа,— задыхаясь, выпалил он.— Четверть часа назад, возвращаясь из Банока, я встретил у мостика Гужу с Мегешем.

— А кто такой Мегеш? — с трудом выговорил изумленный Капошфальви.

— Мегеш — это цыган и музыкант,— ответил приказчик.— Неделю назад он вернулся из армии, и говорят, что он Гужин милый. Иду это я из Банока — и за Баноком встречаю Гужу с Мегешем. Мегеш несет скрипку. «Куда, Гужа?» — спрашиваю. «Да вот,— отвечает,— хочу побродить по свету со своим женихом». Не извольте гневаться, высокородные господа,— закончил приказчик, вытирая со лба пот,— я еще весь дрожу, хотя, извините, от цыган всего можно ждать.

Так оно и было. Гужа больше не вернулась.

*

— Наше дело чести разрешила сама Гужа,— сказал через несколько дней старый Берталани своим соседям, когда они опять сошлись все вместе,— по крайней мере нам не пришлось ссориться с нашим соседом Капошфальви.

— Он очень хороший человек,— заметил Морталаи, вспомнив эгерское.— Но сдается мне, что об этой цыганской истории он сожалеет больше всех.

НАД ОЗЕРОМ БАЛАТОН

В тот полдень Болл Янош сидел перед своим домом на веранде, сооруженной, по местному обычаю, наподобие портика, который примыкает прямо к дому и предоставляет убежище от палящих лучей солнца.

Вид на окрестности был отсюда прекрасный. Зеленели и отливали голубизной пологие склоны, покрытые виноградниками. Среди густой, непроглядной зелени, сползавшей вниз, в долину, там и сям проступали синеватые пятна: в этих местах виноградники были обрызганы раствором, предохраняющим виноград от вредителей.

Отсюда все можно было обозреть: виноградники, сторожки, крытые соломой, полосы кукурузных полей и совсем далеко — луга, откуда доносился приглушенный звон колокольчиков и слышалось мычание коров.

А за лугами простиралась безбрежная гладь озера Балатон, или, как гордо его называют здесь, «*Magyar tenger*» — «Венгерского моря». У этого моря зеленые неспокойные воды, сливающиеся на горизонте с небом, в синеву которого поднимаются круги дыма всякий раз, когда где-то в отдалении пароход бороздит водную гладь, простирающуюся отсюда на сто двадцать километров до самого Веспрема. Да, это был край «*Magyar tenger*» — с его вином, бурями и легендами о русалках, что вечерами увлекают рыбаков в глубины озера, со старыми сказками о речных вилах, которые похищают мальчиков по ночам, убивают их и оставляют на пороге дома.

Это то самое озеро Балатон, откуда в тишине ночи слышатся таинственные звуки, крики и плач детей водяных, которые с незапамятных времен целыми семьями живут в водных пучинах. Им, должно быть, несть числа, потому что в Бодафале, Медесфале, Олвашфале, в Олме и во многих других деревнях, разбросанных по берегу озера, вдруг объявляются древние седые старики с длинными бородами. Им, наверное, сотни и сотни лет, потому что о них рассказывали уже деды дедов, прапрадеды теперешних обитателей этих краев.

Однако Болл Янош вовсе не любовался красотой пейзажа. Он сидел на стуле, завернувшись в полушубок, хотя день был необычайно жаркий. На столике перед ним лежали часы. Лицо его было хмурым.

— Что-то долго не трясет,— проворчал он, взглянув на часы,— обычно в пять меня уже бьет лихорадка, а сегодня, ишь, окаянная, опоздала. В шесть зайвится окружной судья, а меня еще не отпустит.— Озабоченный Болл угрюмо наблюдал за часовой стрелкой. «Ну, слава богу,— вздохнул он в четверть шестого,— забирает».

Болл Янош начал стучать зубами. Стук был такой громкий, что прибежал батрак спросить, не желает ли чего хозяин.

— *Te vagy szamárg,* — ты, осел,— выдавил из себя Болл,— принеси подушку и закутай мне ноги.

Когда ноги были закутаны, Болл, дрожа всем телом, принялся разглядывать окрестности.

В голове шумело, бил озноб, и все вокруг, как Боллу казалось, было окрашено в желтый цвет. Виноградники, кукуруза, сторожки, луга, озеро, горизонт... Это были самые страшные минуты приступа. Он хотел сказать батраку, что ему очень худо, и не смог вымолвить ни слова. Но вот желтая краска постепенно исчезла, и все сделалось фиолетовым.

Теперь Болл уже мог, стуча зубами, произнести: «О, страсти господни!»

А когда он объявил: «Ну, слава богу, кажется, скоро конец»,— все предстало перед ним в своем естественном свете. Голубой небосвод, зеленые и синеватые виноградники, желтеющие луга и изумрудное озеро.

Когда же он приказал батраку: «Забери подушку, сними полушубок и принеси трубку»,— то почувствовал, как греет солнце и как пот выступает у него на лбу. Приступ миновал.

— Теперь черед другой лихорадки,— проговорил он, разжигая черную трубку,— сейчас явится окружной судья.

Внизу, на дороге, которая вилась среди виноградников, затарахтел экипаж и послышался голос судьи:

— Я т-те покажу! Хорош кучер! Дай только остановиться, я всыплю тебе пяток горячих! Эх, как тебя развезло!

— Сердитый,— вздохнул Болл Янош,— строго будет допрашивать.

Экипаж остановился возле дома, и из него степенно, с достоинством вылез окружной судья, держа связку бумаг под мышкой. Он направился на веранду к Боллу, который уже шел ему навстречу, попыкая трубкой.

После обычных приветствий судья представился:

— Я Омаис Бела. Приступим к допросу.

Он положил бумаги на стол, сел, закинув ногу на ногу, постучал пальцем по столу и произнес:

— Да, плохи ваши дела, голубчик.

Болл Янош тоже присел и пожал плечами.

— Вот так, дорогой. Печально это,— продолжал судья.— Когда же вы, милейший, застрелили цыгана Бургу?

— Нынче как раз неделя,— отвечивал Болл.— Это случилось в пять часов. Не желаете ли сигару? — спросил он, вынимая из кармана портсигар.— Очень хорошие. Банатский табак.

Окружной судья взял сигару и, обмякая ее кончик, небрежно бросил:

— Так вы говорите, что это случилось в пять часов двадцать первого июня?

— Да,— ответил помещик,— точно в пять часов двадцать первого июня. Двадцать третьего его уже похоронили. Позвольте,— он протянул судье огонек.

— Покорно благодарю,— сказал Омаис Бела.— Итак, при вскрытии было обнаружено, что Бурга убит выстрелом в спину?

— Совершенно верно,— подтвердил Болл,— ланка-стерка, номер одиннадцать.

— Все это очень прискорбно. Откуда, вы говорите, этот табачок?

— Из Баната. С вашего позволения, я прикажу работнику принести немного вина?

— Оно бы недурно,— разрешил окружной судья.— Выпьем по чарочке и продолжим допрос.

Вино мгновенно появилось на столе. Помещик наполнил бокалы.

— Ваше здоровье!

— Благодарствую... Собачья должность!

Окружной судья приподнял бокал и с видом знатока принялся разглядывать вино на солнце.

Солнечные лучи играли в бокале, и лицо окружного судьи озарилось чистым красным светом. Он отхлебнул и выпил все разом, причмокнув от удовольствия.

— Прекрасное вино! — похвалил он, блаженно улыбаясь.— И что вам пришло в голову застрелить этого цыгана?

Болл Янош невозмутимо попыхивал трубкой.

— Это двухлетнее вино, с моих виноградников западного склона,— объяснил он.— Ваше здоровье!

Они еще раз подняли бокалы.

— У меня есть и получше, трехлетнее, с виноградников восточного склона,— заметил Болл.

Он взял другую бутылку, отбил горлышко и налил.

— Великолепно! — хвалил окружной судья.— Вы, вообще говоря, превосходный человек!

— Если бы не лихорадка,— пожаловался Болл,— вот уже четыре дня мучает, никак ее не уймешь. Вам нравится этот букет?

— Очень! Превосходный аромат! — восхищался судья.

— Ну, у нас найдется и еще кое-что! — отозвался хозяин, вынимая из корзинки большую длинную бутылку.— Это вино пятилетней выдержки.

— Вы образцовый гражданин! — объявил Омаис Бела после первого бокала пятилетнего вина.— Ничего подобного я до сих пор не встречал. Этот вкус, этот цвет — восхитительная гармония!

— А я припас и еще лучше! — сообщил Болл Янош, когда пятилетнее вино было выпито. — Такого вы, пожалуй, не пивали... Смотрите, — сказал он, наливая вино из узкой бутылки, — это вино двадцатилетней выдержки.

Окружной судья был в восторге.

— Это как токайское, лучше токайского! — шумно расхваливал он, осушая один бокал за другим. — Вы же чудесный человек, я глубоко уважаю вас, но ответьте мне: отчего вы застрелили этого цыгана?

— Оттого, — Болл Янош стал вдруг серьезным, — оттого, что этот негодяй украл из моего погреба двадцать бутылей такого вина.

— Будь и я на вашем месте, — причмокивая, произнес окружной судья, — будь я... я поступил бы так же... Потому что это вино... Вот и запишем: «Цыган Бурга убит в результате несчастного случая». Налейте-ка мне, дорогой...

Помещик и судья пили вино, рожденное на склонах Балатонских гор, красное вино, такое красное, как кровь цыгана Бурги, вора...

ХИЩЕНИЕ ЛЮДЕЙ

*(Из рассказа одного очень старого холостяка
накануне его свадьбы)*

Никто не может утверждать, что я действовал непорядочно или даже подло. Кто меня знает — а надеюсь, таких людей больше, чем я предполагаю, — тот безусловно скажет, что по натуре я чист, безупречен, прозрачен, как искусственный лед, и кристально добродетелен. Я уверен, что, живи я в средние века, во времена грубого насилия, суеверий и невежества, меня объявили бы святым, потому что уж если святым сделали Карла Великого, который топил саксов, как котят *, то почему не стать святым мне, человеку честному, который никому ничего не должен, ходит в латаном костюме и обуви, не пьет, в карты не играет, женщин не соблазняет, исправно платит дворнику за открывание дверей, никогда ни с кем не ссорится, не говоря уж о том, чтобы убить или оскорбить кого-нибудь, украсть, поджечь и ограбить...

Такая речь в свою защиту необходима, хоть в народе и гуляет некрасивая поговорка: «Собственная похвала дурно пахнет». А необходима она потому, что на нашей улице едва не разнесся слух, будто я похитил человека, причем лицо слабого пола, а именно Фанни Коштылкову, дочь моей домохозяйки, совершив преступление, которое в каком-нибудь скверном изложении параграфов уголовного кодекса могло бы называться «хищение людей».

Украсть человека! Скажи мне кто-нибудь, что я ук-

рал Фанни, я бы просто расхохотался, потому что Фанни весит 75 килограммов. Итак, я якобы унес эти 75 килограммов, носящие имя Фанни Коштыялковой; она блондинка по цвету лица, но рыжая по цвету волос, вернее, если выразиться красиво, златокудрая, а еще красивее — блондинка с волосами, как струи расплавленного золота, как лучи заходящего солнца, огненного и ослепительного.

Остряки с нашей улицы утверждали, что от ее волос можно прикурить сигару... Если б Фанни Коштыялкова жила в Турции, где любят корпулентных дам, она сделала бы блестящую партию, потому что ее фигура всем бросалась бы в глаза.

И вот эту красотку я якобы и украл. Если выразиться цинично, то я украл 75 рыжих тридцатилетних толстых килограммов.

Дело было так.

Когда я въехал в коштыялковский дом, то был очень доволен, потому что мамаша Коштыялкова по-матерински опекала меня. Пуговицы моего пиджака — а также и пуговицы брюк — всегда были пришиты в должном количестве; кальсоны, приходившие в упадок, она чинила и штопала, пришивала вешалку к пиджаку, воротнички так и сверкали, белье, окропленное нежной сиреневой эссенцией, всегда было белоснежным. Завтраки превосходные, обеды великолепные, ужины роскошные и полдни восхитительные. Развлечения непринужденные и интересные каждый день.

Пан Коштыялек, пенсионер, был очаровательный господин, общительный, Фанни всегда элегантна и грациозна, несмотря на дородность. Она никогда не играла на пианино слезливых мелодий, а выбирала веселые пьески, причем не более трех в вечер.

Прошу вас, представьте себе хорошенько эту упорядоченную мирную жизнь приличного семейства. Печь в углу приятно греет, горит всякая лампа, а фонарик в красном шарообразном бумажном абажуре (изделие пана Коштыялека) льет красноватый свет. Под лампой круглый стол, под столом большой ковер, на котором ткач изобразил тигра размером с кошку, терзающего бедуина, который по меньшей мере в два раза больше вытканного хищника. А вокруг стола сидим мы и игра-

ем в карты на арахисовые орешки и смеемся, когда кто-нибудь «остается в дураках». Играем мы в «цвик» и так заняты игрой, что не замечаем, как бьют глубоким тоном большие стенные часы.

Десять орешков за крейцер! Вы ведь знаете эту игру, «цвик»? Сдается по три карты, а четвертую сдающий открывает, и это козырь. Если я хочу вступить в игру, то должен брать взятки. Если у меня на руках туз, то я обязан взять две взятки. Туза можно и нужно покрыть козырем. Ну, кто ходит? Кто «стучит»? Ходит пан Коштялек, пани Коштялкова «стучит», Фанни тоже «стучит». Кто останется в дураках? Смеемся от всего сердца. «А мы вашего тузика козырем!» — восклицает пан Коштялек, козыряя. Он выходит с козырной восьмерки — козырная масть у нас «желуди», — пани Коштялкова перебивает десяткой, Фанни валетом, я бью козырным тузом. Есть одна взятка! Хожу красным тузом, пан Коштялек бьет козырной дамой, пани Коштялкова ходит в масть, Фанни сбрасывает последний свой козырь, девятку «желудей».

Пан Коштялек ходит с козырного короля. «Проиграли! — кричит он мне. — Где у вас вторая взятка?» — «Не проиграл!» — «Не может быть!» — «Спорим!»

И тут я кладу на козырного короля шарового туза и кричу: «У меня была фигура тузов, три туза! Я не проиграл!» Значит, в дураках остались обе дамы... Веселый хохот! Ну разве забудешь когда-нибудь такие развлечения?

А весной мы проводим досуг в садике при доме. Сидим там вечерами, и я с ними, самый счастливый человек, счастливейший из всех, кто когда-либо снимал тут квартиру.

Мне и в голову не приходит таскаться в трактир, как бывало. Жил я в свое удовольствие и почитал всех, кто окружил меня отеческой, материнской и сестринской любовью за тридцать гульденов в месяц.

К барышне Фанни я относился как старший брат к младшей сестре.

Возвращаясь домой и находя все в порядке, а Фанни ласковой, я всегда по-братски пожимал ей руки.

А когда я отправлялся спать, пани Коштялкова обязательно заходила проверить, приготовлена ли моя

постель и стоит ли на ночном столике питьевая вода. «Спокойной ночи, пани Коштылкова!» «Дай вам бог доброй ночи!»

И эти-то добрые души заподозрили меня в том, что я украл их Фанни...

Было начало лета, когда столько людей устремляется за город, когда пражане толпами отправляются на полдня, на день на прогулки, а возвращаясь в несказанном блаженстве, тащат с собой флору лесов, лугов и полей, даже ветки деревьев.

В эту пору молодые люди чаще удаляются на лоно природы; он выпивает три кружки, она — одну, или четыре кружки вместе — где-нибудь в деревенской глуши, около жалкого, ободранного леска, где и одуванчик-то редко увидишь в траве.

В таких местах больше всего любят бродить молодые парочки; он говорит, она смеется, потом она говорит, а он смеется, потом оба говорят и оба смеются. Под конец объятия, поцелуи, признания в любви — и домой.

Наслаждаться природой! Невозможно, милые мои. В окрестностях Праги вы всюду натываетесь на эти создания, которые не видят ничего вокруг и оскорбляют ваше чувство приличия.

Такое мнение, высказанное мной в присутствии почтенного семейства Коштылеков, возбудило удивление.

— В наше время,— продолжал я,— если хочешь без помех насладиться природой, этим прекраснейшим творением поэзии, не тратя при этом много времени, поезжай на Сазаву. Долина Сазавы, не оскверненная будничностью, смолистые благоухающие леса, где не чувствуешь запаха мускуса и дамских духов, где восхищаешься видом скал над рекой и роскошными девственными долинами... Прелестные деревеньки, разбросанные в тени лесов, свежих, чистых и великолепных... Вот письмена, слагающиеся в прекраснейшее поэтическое творение, вот природа, ничем не нарушенная, не испорченная, настоящая, прекрасная и нетронутая, как песнь, когда птицы поют в тех лесах, шумят деревья, журчат ручьи и бурно течет Сазавы, и пенится, и высоко вздымает брызги своих голубых вод над прибрежными валунами...

Такая речь растрогала бы кого угодно, а тем более семейство пана Коштылека, который, с довольным видом попыхивая трубкой, вздыхал:

— Увы, ноги отказываются мне служить... Хотел бы я заглянуть в те края, да что поделаешь...

— Я хотела бы умереть там,— вздохнула Фанни.

— Умирать вам там незачем, а вот съездить туда как-нибудь мы могли бы,— охотно предложил я.

Предложение мое было встречено с некоторым недоумением. Мне возразили, что раз не могут поехать все, то нельзя же ехать одной Фанни со мной на весь день, не то, чтобы они опасались доверить ее мне, сохрани бог, нет, они ведь знают меня как человека порядочного, но что подумают люди, мало ли, встретишь случайно кого-нибудь, какую-нибудь торговку-сплетницу. Короче говоря, нельзя.

А потом наступил тот злосчастный день. Пан Коштылек с пани Коштылкой отбыли на целый день, поездом, конечно, в Саталице — поехали с обязательным визитом к старому другу пана Коштылека, к пану Моудрому, у которого тоже была дочь, но на пять лет моложе Фанни и уже замужем, отчего Фанни никогда к ним не ездила, чтоб не огорчаться.

— Мы вернемся в одиннадцать вечера,— объявил пан Коштылек.

Когда мы уверились, что родители уже на вокзале, мы быстро составили план:

— Поехали на Сазаву!

Мне не пришлось даже уговаривать Фанни. Вечером вернемся, облагороженные красотами природы и чистым счастьем, которое охватывает сердце всякого, кто видит настоящие леса, ручьи и деревеньки. Мы поехали.

Станция Сазавы! Обитель славянских монахов, руины, а дальше — в гору, в лес, на поиски деревеньки, знаете, такой, где ничего не приготовлено для туристов, деревеньки с неизменной лужей посередине, а у лужи ссорятся гуси, с колокольней, с пастухами, с загорелыми и очаровательно грубыми крестьянами, деревеньки, где в пяти минутах от последней очаровательно развалившейся хижины темнеет лес, а в лесу том встречаются картофельные полоски, лужайки и поля, и все это в очаровательном беспорядке.

Все это я обещал барышне Фанни, и обо всем этом говорил с восторженностью человека, пишущего плохонькие стишки. Я обещал ей корчму, где не приготовлено никакой еды, где при нас изловят курицу, бегущую на дворе, и подадут жареную курятину и грибной суп с картошкой... Я обещал ей, что она увидит здоровую деревенскую жизнь, и что деревенские мальчишки будут глазеть на нас с удивлением и восторгом, и что малыши с пухлыми грязными щечками заревут, когда мы дадим им крейцер, и я говорил о соломенных крышах, об окнах, заклеенных бумагой, в общем, обо всем, что может привести в восхищение человека, чья жизнь проходит в пятиэтажных домах, который попирает ногами камни мостовой, выскакивает из-под носа трамвая, а вечером, в сиянии электрических огней, разглядывает витрины.

Я наговорил ей с три короба, и поэтому мы заблудились. Это было ужасно.

Мы шли с горки на горку, кругом ни души, не слышно стада, не встретится лесник... Ничего! И снова лес, а мы все время то в гору, то снова под гору... Страшное дело!

Фанни уже не могла плакать и лихорадочно дрожала. Я утешал ее, твердя, что уж к вечеру-то обязательно наткнемся на какую-нибудь деревушку, где не ждут туристов, и где все будет так, как я рассказывал.

*

Вечернее солнце застало нас в Напшах, очень убогой деревне — но все же деревне, с очень убогой корчмой — но все же корчмой. Вместо кур там были только сырки, и мы ели их, плача от страха, что же будет с нами дальше, потому что один бог знает, как все это случилось и куда нас занесло. Нам сказали, что до ближайшей станции пять часов ходьбы, а кто не знает дорогу, тот обязательно собьется, да и если б мы даже добрались до станции, то все равно никакого поезда не будет до утра.

— О ночлеге не беспокойтесь, — сказала хозяйка, — у нас в горнице есть хорошая чистая кровать.

Подумайте: кровать!

И я поступил, как порядочный человек! Как самый порядочный человек под солнцем.

Кровать одна. Значит, кровать для Фанни. Фанни ляжет спать, а я пойду в Прагу пешком, буду идти всю ночь, чтоб утром явиться к Коштялекам и объяснить им все случившееся и одновременно доказать свое алиби. Вы меня понимаете...

— Меня здесь убьют! — рыдала Фанни, когда я сообщил ей о своем бесповоротном намерении.

Я до того был сбит этим с толку, что просил хозяйку не причинять вреда Фанни. Фанни не желала отпустить меня. Я буквально вырвался. Так должен поступать порядочный человек! Провести ночь под одной крышей, в незнакомом доме? Никогда!

Расспросив о дороге, пошел я в Прагу, руководясь инстинктом путников, которые даже в темноте находят нужное направление. Впрочем, у животных это тоже встречается...

Дорога была ужасна, я то и дело натыкался, спотыкался, потерял часы, но наконец, проделав кошмарный путь, с глазами, вылезшими из орбит, с пеной на губах, добрался я до Ржичан и блаженно вздохнул. Отсюда я уже знал дорогу.

Проходя через Вршовице, я затрепетал, представив себе, что будет, когда я такой, весь в грязи, дикий и странный, предстану перед Коштялеками без их Фанни...

С бьющимся сердцем ступил я в квартиру Коштялеков, и зубы у меня застучали. Вокруг стола сидела вся родня, встревоженная, заплаканная; вид моих вытаращенных глаз на миг ошеломил их, но тут ко мне подскочил посиневший пан Коштялек с криком:

— Вы украли нашу Фанни!

Я онемел от испуга. Со всех сторон на меня кричали. Кричали тетки, мать, дядья и отец:

— Вы украли Фанни!

— Фанни в Напшах, — пролепетал я.

— Вы ее украли! — продолжались крики.

Явился полицейский, потом еще один, повели меня в участок, и всю дорогу пан Коштялек орал мне в уши:

— Вы ее украли, мерзавец!



«Наш дом»



«Рассказ о доблестном шведском солдате»

В участке полицейский комиссар мне говорит:

— Известно ли вам, чего требует от вас этот господин?

— Нет.

— Поскольку вы похитили его Фанни, то чтоб теперь вы на ней женились, потому что, согласитесь, ночью, под одной крышей, двое молодых людей, понимаете...

Страшная опасность вернула мне дар речи.

— Господин комиссар,— сказал я,— господин комиссар, дайте мне карту окрестностей Праги. Вот тут Напши, а вот Прага. Теперь я докажу свое алиби. Из Напшей я вышел в девять вечера, утром в восемь был в Праге... Остальное я уже рассказывал...

*

Не так-то просто поймать меня! Сколько раз мне грозила опасность, что меня женят или что я сам женюсь. С врагами я успешно справлялся, и с самим собой умел справиться, стоило только обдумать последствия такого шага. И вот опять!

Один из дядьев Коштялековской семьи стоял во время допроса позади меня и все кручинился:

— Бедная Фанни, заташил бог весть куда, что он с ней сделал!

— Хорошо, пусть она в Напшах! — кричал ее отец, не считаясь со священностью места.— Но все это еще надо доказать, прошу вас, арестуйте его пока, пан комиссар!

Вообще-то, конечно, выглядело все это довольно загадочно: я явился утром, перемазанный в грязи, в диком виде, без Фанни, которая никогда не выходила из дому без разрешения родителей.

— Вы ее сманили! — наседали на меня родственники, а пан Коштялек монотонно повторял, одержимый одной мыслью:

— Он украл Фанни, он украл Фанни!

— Ладно, господа,— сказал я,— подчиняюсь неизбежности; ни один волос не упал с головы Фанни, какой вы, почтенные родители, ее оставили, такой и найдете в Напшах, правда, заплаканной, но прежней.

Потом я воскликнул, как мученик:

— Берите меня, и если есть правда на свете, пусть Фанни, эта добрая душа, сама скажет, похищал ли я ее, как вы утверждаете. Скажет, что похитил,— даю честное слово, женюсь на ней!

*

В тот же день к вечеру за мной пришел старший полицейский и отвел меня к комиссару, где я, к своему удивлению, увидел все семейство Коштыялеков, не исключая самой Фанни.

— Дело выяснено,— произнес комиссар.— Все произошло по вине этого господина. Можете быть свободны.

Мы вышли на улицу, и там я воскликнул, сжав кулаки:

— Никогда я не прошу вам того позора, который претерпел по вашей милости,— я подам на вас в суд, пан Коштыялек!

Пан Коштыялек добродушно усмехнулся и молвил:

— Ну, не потащите же вы в суд своего тестя, вы ведь слово дали...

— Ка-ак?

Тут Фанни поскорей взяла меня под руку и торжествующе проговорила:

— Вы меня украли, противный! После свадьбы я вас вознагражу.

— Итак, друзья, сегодня последний день моей золотой свободы, завтра ваш очень старый холостяк покидает вас, завтра я женюсь на Фанни, и когда вы соберетесь снова в этом трактире и не увидите больше моей лысины — тогда, друзья, вспомните, что преступное хищение людей действительно существует: только не я украл Фанни, а они украли меня... Прямо хоть плачь!

Ну же, споем: «Никогда уж не будет так, коль мы женимся»... Ура! Последний nonешний денечек...

ФАСОЛЬ

I

Семилетний Войтех лишь дважды видел своего отца плачущим. В прошлом году, когда его мать сбежала с каким-то маляром, и сегодня, когда он после двухмесячного пребывания в больнице — с одним выжженным глазом и лицом, покрытым шрамами от ожогов расплавленным железом, — вернулся в эту дыру, которую называют квартирой в подвале. Из единственного глаза отца, смутно различавшего Войтеха и тещу Павлитову, ручьем текли слезы, а из его уст с хрипом вырывались слова: «Итак, я калека...»

Вечером литейщики, друзья Костки, пришли навещать своего товарища по работе и, рассевшись на трех стульях и убогой кушетке, из которой вылезало мочало, снова и снова обсуждали несчастный случай, происшедший два месяца назад. Вспоминали, как на литейщика Костку брызнуло расплавленное железо, обожгло ему лицо и выжгло левый глаз, как приехала скорая помощь и отвезла его в больницу. Их рассказ время от времени хрипло перебивал Костка: «Итак, я калека...» Чтобы не сидеть за пустым столом, один из товарищей послал за пивом, и Войтех, съездившись в уголке, где на стене выступала плесень, слушал, как говорили: «Директору легко приказывать! Вот пусть он теперь содержит тебя!» Вспоминали они и жену Костки: «Не везет тебе, приятель: в прошлом году от тебя сбежала Маржка, а сейчас такое несчастье».

Мать Маржки, старуха Павлитова, вмешалась в разговор:

— Надо было мне Маржку при рождении собственными руками задушить!

Костка презрительно плюнул — понимал, что Павлитова говорит от страха, как бы он ее не выгнал.

— Послушайте,— сказал он ей.— Я не знаю, что с нами теперь будет. Шли бы вы лучше к дочери! Работать я не могу, а кто знает, сколько даст мне страховая касса.

Павлитова поплелась к печке и там вздыхала, чтобы все слышали:

— Взять бы топор и покончить свою жизнь!

Когда Войтех принес второй кувшин пива, товарищи пришли в раж, размахивали руками, топали и громко говорили:

— Не бойся! Организация позаботится о тебе! Хорошенькое было бы дело — не позаботиться о товарище! Это что ж, искалечить человека и бросить его? Ого! Не для того у нас организация!

Слово «организация» завораживало Костку. Он почти поверил, что дело не так уж плохо. Его единственный глаз весело засверкал, Костка стучал кружкой по столу и кричал:

— Увидим, посмеют ли меня бросить! Ведь у нас есть организация!

II

Войтеху чертовски везло. В то время как отец проигрывал во всех инстанциях процесс, который вел против страховой кассы, Войтех выигрывал на улице столько фасоли, что из отдаленных улиц приходили ребята посмотреть на замечательного игрока и попытать счастья в игре с ним. Отца все покинули, а вокруг Войтеха собирались толпы ребят, которых он приводил в восторг каждым движением руки, попадавшей бобом в любую ямку и с любого расстояния. Каждый день набивал он карманы белой и пестрой фасолью и каждый день от ямки отходили мальчишки без единого боба, и с такими же печальными лицами, как у отца Войтеха после каждого проигранного в суде дела. А сын

лавочницы Тоник как-то стянул дома добрых полкилограмма крупной белой фасоли, и бобы один за другим перекачали в карманы Войтеха вместе с голубоватыми, коричневыми, пестрыми бобами тех ребят, которые входили в долю или сами играли. Тоник в день, когда он так страшно проигрался, уходил домой такой же потрясенный, как отец Войтеха после вынесения окончательного решения, что страховая касса будет выплачивать ему две кроны семьдесят два геллера в неделю. А Войтех высыпал фасоль из карманов в мешочек, который прятал за печкой, наполнив его таким образом до краев.

III

— Две кроны семьдесят два геллера в неделю, — без конца повторял Костка, перечитывая приговор.

Старуха Павлитова, сидя на своем обычном месте у печки, причитала:

— И зачем я до этого дожила! Взять бы топор и покончить свою жизнь!

— Что же нам теперь делать? — скорее себя, чем Павлитову, спросил Костка. — Я и вторым-то глазом едва вижу. На огонь не могу посмотреть, сразу колики в глазу начинаются.

— А что если работать помощником каменщика? — предложила Павлитова. — Покойный отец прилично зарабатывал.

— Превратиться из литейщика в подсобника! — вспыхнул Костка. — Помалкивайте!

Павлитова замолчала, а через минуту снова начала твердить свое:

— Взять бы топор и покончить свою жизнь!

— Остается только повеситься! — бесновался Костка. — Сначала искалечат человека, а потом выплачивают ему две кроны семьдесят два геллера в неделю.

Он принялся пересчитывать деньги, полученные в страховой кассе за три месяца со дня несчастья.

— Тридцать две кроны шестьдесят четыре геллера. Павлитова, сколько мы должны?

— Около четырнадцати гульденов лавочнице, — ответила старуха. — А все ваши сбережения кончились уже две недели назад.

— Водку вы, поди, покупали! Пойду расплачиваться.

— У меня опять в голове шумело, так я хлебнула чуток тминной водки,— оправдывалась Павлитова.

IV

Расплата с лавочницей затянулась до утра. Уплатив долг, Костка встретил старого товарища, ставшего безработным. Они зашли выпить пива. А ночью пошли в маленькое кафе, где поджидали, пока откроют продажу спиртных напитков, угостили друг друга ромом и после этого разошлись по домам. Костка не лег спать. Он пришел в отличное настроение и вдруг загорелся желанием найти работу. Ладно, будет подавать кирпичи, лишь бы работа. После долгих хождений он вернулся грустный и подавленный — нигде не нужен человек, плохо видящий одним глазом.

С этого дня начались те ужасные поиски работы, те бессонные ночи, во время которых Костке, стоило ему сомкнуть свой единственный глаз, мерещилась фигура, в точности напоминавшая его самого,— тощая и печальная, и что-то нашептывало ему, что это голод.

Голод наступил. Лавочница больше не давала в долг, а где взять еще? Было только две кроны семьдесят два геллера, на которые покупали хлеб и картофель. Их хватало до четверга, а как быть с четверга до субботы?

V

— Папенька, — сказал в пятницу утром Войтех. — У меня есть мешок фасоли. Давайте сварим ее!

И он самоотверженно отдал свои запасы — тот большой мешочек из-под муки, где хранилось около сотни бобов, на которые так любят играть ребятишки в пору беззаботного детства.

Но, набивая рот вареной фасолью — своей фасолью, — Войтех слезами посолил еду. Я убежден, что в это время семилетний Войтех, как взрослый мужчина, размышлял о нужде.

ВШИВАЯ ИСТОРИЯ

На заседании магистрата городской голова подвергся грубому оскорблению. Один представитель оппозиции встал, сплюнул, зевнул, вытер нос и промолвил во всеуслышание:

— Господа, я констатирую, что наш голова вшивец!

На галерее раздались аплодисменты.

Голова подождал, пока там успокоятся, а потом быстро отпарировал удар остроумным замечанием — в том духе, что к вшивцу пристают не львы, а вши. Этим он задел своих сторонников, и те подняли страшный гвалт. У столика, за которым сидел голова, собралась целая толпа, в воздухе замелькали кулаки, но вдруг все стихло, и голова, бледный, дрожащий, произнес незабываемую фразу:

— Какой вшивец дал мне эту пощечину?

Он снял с шеи золотую цепь, кинул ее в сторону оппозиции и крикнул:

— Я отказываюсь, я отрекаюсь, я схожу с ума, я буду жаловаться!

— Отказывайся, вшивец! — тотчас загремело в ответ. — Отрекайся, вшивец! Сходи с ума, вшивец! Жалуйся, вшивец!

С этих пор слово «вшивец» приобрело в городе популярность, совсем оттеснив на задний план все другие ругательства.

Хозяин стал ругать так служащих, начальник — подчиненных, а те — его, пономари — сторожей, офицеры — унтеров, унтеры — капралов, капралы — еф-

рейторов, а офицеры, унтеры, капралы и ефрейторы — не имеющих звездочек рядовых.

Кончилось тем, что один талантливый писатель сочинил пьесу «Вшивцы», в которой вывел всех видных горожан. Пьеса не была поставлена. Цензура не пропустила.

Цензор сказал писателю:

— Переработайте первое действие, переработайте второе и третье, а также четвертое. Короче говоря, напишите что-нибудь другое.

В шантанах пели куплеты:

Все мы вшивцы, и вы тоже —
Ха-ха-ха, ха-ха-ха...
Раз в трактире голова наш
Взял разделся донага.

Преподобный пан викарий сказал:

— Господь бог не будет больше этого терпеть. Спорю на двадцать бутылок вина: кончится тем, что в городе появятся вши.

Это предположение оправдалось. Господь разгневался на такую распушенность, наслал на город *pediculum capitis* и *pediculum vestimenti* — вошь головную, вошь платяную...

*

Директор приюта пан Будегард беседовал с приютским законоучителем отцом Вольфгангом о телесных наказаниях:

— Телесное наказание благодаря своему могучему воздействию вызывает в мыслях сироток мгновенное торможение и пробуждает в сиротках решимость воздерживаться в дальнейшем от дурных поступков. Так что, ваше преподобие, не придавайте значения тому, что мальчик до сих пор не пришел в себя. Телесное наказание должно причинять некоторую боль. Ну, выпороли парня немножко сильнее, так по крайней мере помнить будет. А что этот мерзавец сделал?

— Я объяснял этим безбожникам, пан директор, как надо вести себя в костеле, а главное, что там нельзя грызть ногти. Говорил от всего сердца. А в это время негодяй творил возмутительное безобразие. Можете себе представить, пан директор? Все время, пока я читал им наставление, он кидал на своих товарищей вшей...

— Вшей? — воскликнул пан Будегард.

— Да, пан директор, живых светло-серых вшей... Я его наказал и велел отнести его в комнату. А остальных сироток подверг осмотру. И установил: у сироток нашего заведения полны головы вшей... Простите, по вас что-то ползет.

Патер Вольфганг почтительно снял это «что-то» с пиджака директора и прибавил:

— Это ужасно. На вас тоже попала одна.

Так появился в приюте этот бич.

Положение оказалось хуже, чем могло представиться на первый взгляд. Тут уж не до сироток: в пору самим себя спасать.

Вошь — страшно демократическое создание. Она добралась и до законоучителя. Одолела всех приютских служащих. Кухарок. Слуг. Директор просто голову потерял. Бродил как помешанный. Совсем спятил от отчаяния. Переходил из одного публичного дома в другой и после пяти посещений стал повторять вслух:

— Зверье! Зверье!

Говорил непристойности, хвастал, что воспитал для себя двух хорошеньких сироток, таких толстеньких пареньков... Дошел до того, что сопровождал эти речи гурманским причмокиванием...

Патер Вольфганг с горя запил, оправдывая это словами Фомы Кемпийского *, что человек должен переносить любые тяготы ради жизни вечной.

В конце концов все население приюта, кроме сироток, стало каждый день мыться и менять белье.

Сиротки не могли каждый день мыться и менять белье, так как это обошлось бы слишком дорого. Дело было перед рождеством, и воду требовалось хоть немножко подогревать. Но греть воду стоит недешево. А сорить деньгами ради болванов-сироток негоже.

Так что сиротки продолжали чесаться и обирать на себе вшей. По вечерам в спальнях слышалось подозрительное похрустывание и раздавались детские голоса:

— Получай, гадина! Здоровая какая! К ногтю!

Во время богослужения — то же самое. В костеле один воспитанник искал у другого. Как обезьяны ищут друг у дружки блох.

А между тем близилось рождество. Обычно сиротки получали яблоки и сласти. Но до того ли им теперь, покрытым вшами?

*

— Я вычеркиваю яблоки,— сказал пан Будегард, обсуждая с патером Вольфгангом порядок празднования рождества Христова в приюте.

— А я вычеркиваю сласти,— объявил законоучитель.

— Все-таки мы должны сироткам что-то дать,— заметил пан директор.— Для формы надо что-то сделать.

— Что ж,— промолвил гениальный последователь Фомы Кемпийского,— купим каждому в виде рождественского подарка баночку черной ртутной мази против вшей. Пускай мажут себе голову. Подарок будет полезный, и я произнесу приличную случаю речь. Надо сироток воспитывать. Это для меня удовольствие.

*

Наступило рождество.

«Хорошо же начинается праздник»,— подумал директор, видя, что уже в пять часов все служащие перепились и без всякого зазрения тискают сироток.

— Зажгите елку! — рявкнул пан Будегард в шесть часов.

Зажгли. Впустили в зал дожевывающих ужин сироток.

Пан директор приказал, чтобы запели «Рождество твое, Христе боже наш», и велел веселиться. Сиротки стали веселиться. Пели песни и пихали друг друга. Было очень славно. Во время пения в зал вошел патер Вольфганг, кое-как еще держась на ногах.

— Сиротки! — грянул он мощным голосом.— Неизреченна милость божия. Возблагодарите господу, что он послал на землю сына своего. Без этого вы были бы язычниками...

— Язычниками...— повторил он с энтузиазмом.— Но благодаря небу вы христиане, честь честью, как полагается. Христос родился около ослика, он был бедней вас, когда родился, был голый совсем, да к тому же еще и в хлеве. Но тут вошли три святых царя.

В задних рядах какой-то сиротка начал сморкаться.

— Какая это скстина не могла себе нос утереть, прежде чем сюда войти? — крикнул патер Вольфганг, но тотчас опять сложил набожно руки и продолжал:

— О, вы видите, как много может чистая любовь к Иисусу! Из дальних краев пришли святые цари, приведенные звездой. И дали божьему дитяти то, что имели. Один дал денег, другой — благодатную мирру, третий дал святому младенцу сосуд с благовонной мазью. Эту благовонную мазь Иисус посылает вам, сиротки. Мажьте ею голову, и вы увидите, что вас никто не будет больше кусать. Подходите по очереди к елке, берите каждый по баночке этой черной мази, и пусть каждый идет в спальню, и да сольются души ваши безраздельно с богом. О дети, велика доброта божья, которую изливает господь на боящихся его!.. А теперь ступайте и ведите себя как следует, а то сами увеличите последствия безобразий своих. А тому, кто с таким бесстыдством громко сморкался, объявляю, что утром он не получит завтрака... Бродяга!

*

Пан директор Будегард и патер Вольфганг попиwali до полуночи доброе винцо, когда из спальни сироток донесся страшный рев.

Они послали сторожа узнать, в чем дело.

— Осмелюсь доложить, — вернувшись, сказал сторож, — эти маленькие бездельники совсем взбесились. Намазали себе лица полученной в подарок черной мазью и теперь не могут узнать друг друга.

— Пойдите скажите им, что завтра всех перепорю, — прогремел директор и, обращаясь к патеру, прибавил: — Да, ваше преподобие, в тех случаях, когда нужно, чтоб наказание произвело особенно глубокое влияние на волю наказуемого, рекомендуется отсрочить его исполнение, отодвинуть его, так как продолжительный страх заставляет ребенка обдумать свой поступок... А теперь давайте веселиться, так как родился наш спаситель.

— Экий вы вшивец! — улыбнулся патер Вольфганг, чокаясь с паном директором.

ГОСПОДИН ГЛОАЦ — БОРЕЦ ЗА ПРАВА НАРОДА

В этой тирольской деревне было добрых 60 процентов идиотов, в другой — 35, в третьей — 40, в четвертой — 50, в пятой — 45 процентов. Дальше — еще ряд деревень и городишек, где кретины составляли большинство. И все эти деревни и городишки, со всеми этими идиотами, представляли собой избирательный округ, избравший своим депутатом в Имперский сейм приходского священника из Соленицка господина Глоаца.

Само собой, в связи с этим избранием на плечи его преподобия легло тяжелое бремя. Легко сказать — двадцать крон вознаграждения за каждое заседание, а попробуйте разумно, продуманно истратить эти двадцать крон в Вене!

В этом отношении приходский священник и депутат преподобный тиролоец господин Глоац был вне конкуренции.

Номер в гостинице стоил четыре кроны. Оставалось еще шестнадцать крон на день.

Утром он шел на Люксембургский проспект отвешивать фаршированного перца. Посещением тамошнего ресторана и первым куском фаршированного перца он начал свою депутатскую деятельность...

Он внимательно и заботливо следил за тем, чтоб и в Вене живот его не терял сходства с земным шаром, а броская полоса, откуда начинались брюки, — с экватором.

В области еды Вена представляет большие возможности для наслаждения. За фаршированным перцем следовали венский шницель, несколько кружек пива и так далее...

Можно разнообразить. В другом ресторане сперва потребовать шницель, а потом фаршированный перец и вместо пива — вина...

«Какой славный народ — мои избиратели! — подумал г-н депутат, выходя из второго ресторана. — Я должен оправдать их доверие. Сегодня важное заседание!»

И господин Глоац отправился выпасться в парламент. Там как раз шла хорошая потасовка. Под этим неприятным впечатлением он удалился в буфет, поел там ветчины и выпил литр баварского пива.

— Простите, коллега, — спросил он затем одного депутата, только что вошедшего в буфет. — Там еще дерутся?

— Когда я уходил, дело шло к концу. По морде друг друга больше не били, а только плевали на председательский столик. Советую вам спросить еще пол-литра Пшоррова пива. Пока будете пить, все успокоится — какое-нибудь там крепкое выражение не в счет.

— Последую вашему совету, коллега!

Когда человек немножко взволнован, лишний бутерброд, конечно, не повредит. Почему бы господину Глоацу не заказать парочку? Располагая доверием избирателей, имея чистую совесть. У бога состоя на хорошем счету. Пользуясь несокрушимым здоровьем, что твой вол. И ко всему являясь депутатом. Вознагради их, господи, за двадцать крон! За каким же дьяволом (отпусти ему, боже, прегрешение!) не потребовать бутербродов? Святая депутатская обязанность!

Бутерброды были с лососиной. Он решил спросить еще отдельно на золотой лососины. Не беда, если придется, истратив двадцать крон суточных, тронуть свои. Так или иначе, субсидия духовенству будет повышена.

— Лососины на золотой!

Съевши лососину, он почувствовал, что ее нужно запить, да не пивом, а вином.

«Не обману доверия избирателей! — подумал он, заказывая бутылку Клостернейбургского. — Как выпью, сейчас же вернусь в зал заседаний и попрошу слова».

По телу стало разливаться приятное тепло. Он пошел искать уборную.

«Ни за что не обману доверия своих избирателей!» — повторил он и в уборной.

Подивился, что и в парламентском писсуаре тоже пишут всякую всячину. С изумлением прочел: «Граф Штернберг — осел», и ниже: «Кто это написал, тот скотина».

Спокойно улыбнулся, заметив надпись: «Чешские собаки!» — и нахмурился, увидев: «Немецкие разбойники!»

Махнул рукой и стал искать карандаш. Найдя, призадумался, что бы такое написать на мозаичных изразцах. Хотел уж спрятать карандаш обратно, как вдруг пришла славная мысль. Он написал: *Du schönes Land Tirol!*¹ Полюбовавшись на свою надпись, спокойно вернулся в буфет — допивать бутылку.

Перед ним остановился кельнер. Депутат посмотрел ему на ноги и увидел вместо черных брюк юбку. Такие же толстые ноги он уже видел у одной женщины там, дома, в горах.

«Если б только эти женщины так не потели», — вздохнул он, помаленьку попивая вино.

Заметил, что многие на него оборачиваются, смотрят. Хотел ослабиться, да поперхнулся и облил себе сутану. Понял, чем вызвано это внимание: он пил не из бокала, а прямо из горлышка.

Налил себе в бокал, исправив ошибку. Тут произошло небольшое несчастье: он слишком сильно сжал в руке тонкое стекло, и бокал треснул.

Потекла кровь. Пошел вымыть порезанную руку. Парламентский врач наложил повязку.

«Если б избиратели мои только знали, как я пострадал», — вздохнул он, снова принимаясь за бутылку.

«Ничего не поделаешь. Обязанность есть обязанность. У нас много обязанностей. К себе... К народу. К государству, а главное, к богу».

Ему показалось, что где-то заиграл орган. У него за сверкали глаза, и было такое впечатление, что у каждого кельнера три головы.

¹ О прекрасная страна Тироль! (нем.)

Гневно сжав кулак, он сказал себе: «Избиратели почтили меня своим доверием. Довольно. Увидим, кто мог бы лучше защищать их интересы».

Он встал. Кельнер помог ему надеть плащ и спросил, не угодно ли ему рассчитаться. Случается, дескать, некоторые господа депутаты и забудут, и им делает великую честь, если они потом заплатят. Господин Глоац посмотрел с презрением на человека во фраке и заплатил.

Двадцати крон как не бывало, но я вам говорю: пособие духовенству урегулируют.

Он гордо вошел в зал заседаний. Стал искать свой стол.

Какой-то депутат подставил ему ногу. Он упал. Поднялся с помощью парламентских служителей — не сразу. Страшно захотелось вернуться в буфет, но вовремя вспомнил о том, что избиратели и т. д.

Полчаса блуждал между столиками, прося извинения, когда там-сям сбрасывал на пол какие-то бумаги.

Наконец ему объяснили, что он сидит во втором ряду, восьмой столик с края. Он уселся в кресло, перевел дух. Кругом ругались.

Глаза у него стали такие маленькие, что он еле различал председателя. Ему было теплей, чем в буфете.

С одной стороны неслись крики:

— Свињи! Босяки! Мерзавцы!

С другой:

— Вор! Скотина! Подлые грабители! — и т. п.

Он уже не различал отдельных ругательств. Ему казалось, что вокруг звучит какая-то приятная музыка. Он стал засыпать. Очнулся еще раз. Рядом кто-то ломал кресло, чтобы кинуть ножку в противника.

Он вынул платок, большой такой, красный, и принялся важно утирать нос. В конце концов платок выпал из руки...

Господин священнослужитель окончательно уснул. Он так сильно храпел, что порой заглушал голос оратора.

*

Через час от господина Глоаца стал распространяться сильный запах. Между партиями установилось отрад-

ное согласие: все сидящие вокруг этого депутата зажали носы платками.

Вдруг все увидели, что господин Глоац встал с закрытыми глазами, поднял правую руку кверху и сделал такое движение, будто потянул что-то вниз.

— Что вы делаете, коллега? — разбудил его один депутат, у которого был насморк.

Выпучив на него глаза, пан Глоац проворчал:

— Хочу воду в клозете спустить, да никак ручку не найду...

Так господин Глоац впервые выступил в парламенте в качестве непоколебимого борца за права народа.

ХАЛУТЕ

В доме Гаммеля уже погасили семисвечник, стоявший на столе, и день покоя саббат, день субботний, склонился к концу. И все евреи, живущие в местечке Запустня, погасили свои семисвечники, ибо взошла и засияла вечерняя звезда.

Глава семьи, старый Ламех Гаммель, снял ритуальные одежды, овчинную шубу, снял с головы фамильную реликвию — ритуальную шапку, которая на жаргоне польских евреев называется коул, приказал своей черноокой дочери Саре принести ему маленькую круглую черную шапочку, трижды воскликнул «Эли!» — Боже! — в знак прощания с днем саббат и затем с необыкновенно серьезным видом велел своей наголо обриту жене принести из их лавки лучшую панскую, тминную, подлить керосину в лампу с цилиндрической горелкой — лампа всегда стояла на шкафу только как украшение — и, невзирая на удивление жены и дочери, сам зажег парадную лампу и высоко вытянул фитиль, нарушив все принципы экономии; но удивление женщин возросло, когда отец приказал Саре быстро порубить кошерное мясо и приготовить из него блюдо нитар.

Отдав все эти распоряжения, Ламех Гаммель намазал маслом поседевшие пейсы и сказал дочери, чтобы она надела корсаж, подарок дяди Тонды, который она носит только по большим праздникам, и шелковую юбку.

А жена пусть повяжет голову платком и нацепит к вороту брошь, которую заложил у них один крестьянин.

— Я жду гостей.

— Кого ты ждешь?

— Придут старый Рамот с сыном Соломоном и с ними Бесем, дядя Рамота.

— Зачем они придут, Ламех?

— Не спрашивай, старуха, увидишь. Не зря мы жжем керосин, жарим нитар, и не зря принесла ты из лавки панскую тминную. Лепешки к жаркому у тебя есть?

— Есть.

— Еще бы надо поджарить немного ячменя, его любят пожевать и Бесем, и старый Рамот. И луковицу принеси, ту, маленькую, с просинью.... Придут с минуты на минуту.

Нитар, жаркое с чесноком, жарилось и шипело на плите, распространяя приятный аромат, Сара в шелковой юбке и красивом корсаже была очень мила, но пани Гаммель с возрастающим беспокойством взирала на мужа: не свихнулся ли.

Наконец пришли гости: старый Рамот, Соломон и дядя Бесем; они находились в приподнятом настроении, что было заметно по их лицам и по запаху водки, распространившемуся по комнате, едва гости произнесли приветствие и по обычаю осведомились о здоровье главы семьи.

— Еле-еле уговорил,— шепнул Рамот на ухо Гаммелю.— Мы-таки поработали, пока заташили сюда Соломона, красу мою. Пришлось его подпоить.

Соломон был заметно навеселе. Он заглянул в сковороду и принялся рассказывать, как у раввина разболелись зубы и староста Ясь, пан Ясь Швяцкый из их местечка, из Запустни, посоветовал раввину перекреститься, тогда, мол, зубы перестанут болеть, так раввин до того разозлился на безбожную речь, что зубная боль у него мигом прошла, но он поклялся просить всех единоверцев ничего не давать в долг пану Швяцкому, так что пускай это знает и она, Сара Гаммель, если пан староста придет к ним в лавку за чем-нибудь в кредит.

Все сели за стол. Ламех налил в чарки лучшую свою тминную водку, и завязалась беседа, очень принужденная со стороны стариков, зато весьма развязная со стороны молодого Солсмона Рамота.

— Никогда я не женюсь! — весело кричал он. — На что мне жена? Одно несчастье...

Старики грустно переглянулись.

Тем временем внесли нитар, луковицу, лепешки и жареный ячмень, Сара с матерью подсели к столу, и разговор прервался — все усердно жевали.

Соломон же продолжал развлекаться, бросая жареный ячмень своему дяде в подливку, а тот спокойно грыз ячменные зерна, не показывая ни малейшего раздражения.

Пани Гаммель с удивлением наблюдала за странными взглядами, которыми обменивались Ламех, старый Бесем и Рамот всякий раз, как Соломон залпом осушал чарку; с неменьшим удивлением уловила она негромкое замечание Бесема:

— Он еще не в том настроении, надо ему подлить.

Когда остатки еды убрали со стола, оставив только чарки перед каждым, в том числе и перед женщинами, амот, Бесем и Ламех опять многозначительно переглянулись, после чего Ламех приступил к делу:

— А скажи-ка, друг Рамот, уважаемый мною, и ты, друг Бесем, мною чтимый: какова причина вашего посещения, назначенного сегодня в синагоге на день саббат, счастливый день?

Старый Рамот с важностью потянул себя за длинную черную бороду и проговорил, указывая на Соломона:

— Вот Соломон, краса моя, хочет просить руки твоей прекрасной дочери Сары.

— Это я-то? — заплетающимся языком промямлил Соломон. — Это я-то хочу? Нет, я не хочу жениться!..

— Он смущен, — перебил его Бесем. — Молод еще, неискушен, страшно ему. Он нам говорил...

— Ничего я не говорил! — возразил перепуганный Соломон. — Мне жениться?! Никогда, довольно у нас примеров, я и дома вижу...

— Робеет, — подхватил старый Рамот. — А дочь твою милую он любит...

— Когда христианский пророк Иисус висел на кресте, — пролепетал Соломон, — он вздохнул: «Эли, лама забахтани», что значит: «Боже, зачем ты оставил меня».

Соломон порывисто осушил чарку и выкрикнул:

— Эли, лама забахтани!

Тут что-то зашипело, стекло на лампе лопнуло и разлетелось, свет погас...

— Халуте! — вскричал Соломон, выговорив слово, означающее страх, дурное предзнаменование, несчастье.

— Зловещий знак! — повторил за ним Бесем, и все подхватили:

— Халуте! Халуте!..

— Сам Иегова не желает этого брака, — благоговейно произнес в темноте Ламех.

Когда зажгли маленькую керосиновую лампочку, все со смущенной душой допили тминную и разошлись в мистической задумчивости.

*

Вскоре после этого Сара Гаммель взяла в мужья молодого сапожника Иосию Барема и, как известно было всей еврейской общине в Запустне, обращалась с ним очень скверно. До женитьбы были у Иосии Барема красивые густые пейсы, но после свадьбы они начали редеть и укорачиваться по мере того, как Сара их выдирала.

Раз как-то, когда об этом зашла речь у входа в синагогу, Соломон Рамот обратился к раввину:

— Раби, — таинственно сказал он, — теперь я был бы уже мужем Сары, если б не то халуте. Раби, христиане смеются над нами за то, что мы плюемся от страха, но если б я тогда не плюнул на ламповое стекло, где были бы мои пейсы? Халуте, раби, счастливое халуте!

И Соломон улыбнулся с довольным видом.

РАССКАЗ О ДОБЛЕСТНОМ ШВЕДСКОМ СОЛДАТЕ

Было двадцать пять градусов мороза. Солдат стоял на посту и замерзал, но он не сетовал, потому что был доблестным солдатом, который знает, что величайшее блаженство для солдата — умереть за своего государя, а он чувствовал, что до этого блаженства уже не так далеко. Одно его тревожило — так, самая малость, — что солдату не положено рисковать здоровьем, а он понимал, что если не замерзнет окончательно, то останется калекой. И задумался он, что же теперь делать: ждать ли того блаженнейшего и прекраснейшего, что может с солдатом случиться, или попробовать чуть разогреться, чтобы хоть жизнь спасти — нос и уши он уже спасти не мог.

Наш солдат был доблестным солдатом, поэтому раздумывал недолго. Он знал, что калеки государству ни к чему, знал также, что старый забор, у которого он стоит, не может обойтись без его почетной охраны, поэтому решил погреться, но лишь настолько, чтобы дожить до смены караула, а там он замерзнет с блаженным сознанием, что выполнил свой долг, а именно: 1) укараулил старый забор, 2) положил свою жизнь за короля Оскара, 3) избавил государство от излишней заботы о своем изувеченном теле.

Когда солдат принял это решение, ноги у него были будто свинцовые, но он все же, правда, с трудом, начал ими притопывать, чтобы протянуть еще немного.

Хотя вскоре и должно было наступить прекраснейшее в его жизни мгновение, на солдата вдруг напала невыразимая тоска. Вспомнил он о своем офицере, и нежные чувства пробудились в его мужественной груди. Никогда больше не увидит он это вдохновенное лицо, этот кроткий взгляд, этот ротик, который умел так ласково произносить: «Дорогуша, сладушечка, золотце, ты немного выдвинулся из строя, подравняйся чуточку, только смотри не переутомись, душенька!»

Ах, добрый, золотой, милый господин офицер! Как печально сидит он сейчас где-нибудь за стаканом вина, глаза опущены, а целомудренные уста сомкнуты!.. И добрый солдат загрустил, он понял, что не достоин вкусить радости смерти, когда в королевских полках столько заслуженных, добродетельных офицеров, которые уже долгие годы жаждут этого почетного блаженства.

Доблестный солдат любил начальство, он отдал бы за него свою жизнь и счастье, имущество отца, здоровье матери, честь сестры и крепкие руки и ноги брата. Он был человеком добрым и с радостью отказался бы от смерти в пользу своего офицера (если бы тот пожелал этого), но господина офицера тут не было, поэтому волей-неволей пришлось солдату испытать из чаши блаженства, которую поднесла ему шведская королевская армия.

Солдат уже не топал ногами. Теперь он стоял, привалившись к забору, и только старался прогнать дремоту, которая вдруг на него напала. Его обуял страх, что он может уснуть. Он, любивший начальство и свои обязанности, знал, как стыдно солдату храпеть на посту. И опять он подумал о своем офицере, о том, как будет тот опечален, когда узнает завтра, что часовой, найденный накануне замерзшим у старого забора, который он охранял, перед смертью, несомненно, уснул, то есть нарушил свой воинский долг.

А сон одолевал все сильнее, и всякое сопротивление было напрасным. Солдат пришел в отчаяние. Он, доблестный солдат, и вдруг не выполнит своей задачи, к тому же последней — единственной службы, которую он мог еще сослужить Швеции, да еще как раз накануне ве-

ликого мгновения, когда он в ледяных объятиях смерти должен был получить высшую награду, о какой только может мечтать верноподданный.

Веки у него смыкались, члены одеревенели, и он совсем уже отчаялся, как вдруг у него мелькнула спасительная мысль: надо причинить себе страшную боль, такую, чтоб не дала заснуть. Солдат был человеком энергичным. С трудом поднял он руку и дотронулся до уха. Ухо отвалилось. Солдат тихонько вскрикнул, но обрадовался — думал, что теперь-то уж не заснет. Взглянув случайно на руку, он увидел, что, кроме уха, потерял еще три пальца. Но это не имело никакого значения. Что такое какие-то три пальца, когда служишь королю Оскару!

Однако радость доблестного шведского подданного была недолгой. Веки его снова начали смыкаться. К счастью, в свое время у него было два уха. Он оторвал второе — могла ли повредить ему сейчас такая пустяковая операция!

Впрочем, ему казалось, что ожидание тянется уже достаточно долго и вот-вот его должны сменить. Что ж, эти несколько минут он как-нибудь продержится, а там... при мысли о том, что его ждет, он вздумал подпрыгнуть от радости, но ничего не получилось, он только как-то странно качнулся, а рука, на которой не хватало трех пальцев, стукнулась о забор — счастье, что забор при этом не пострадал, а то, что у солдата отвалилась рука, было еще не так страшно.

Солдат все стоял у забора. И казалось ему, что все не так уж холодно. У его ног валялись уши, нос, рука — добрый человек смотрел на них с презрением. Отдать за короля руки-ноги тоже, правда, приятно, но что это в сравнении с сознанием того, что за него можно замерзнуть! По сравнению с такой радостью та, первая, ничего не стоит; он это хорошо понимал, более того, ему даже думалось теперь, что погибнуть в снегу, может быть, лучше, чем погибнуть в бою, потому что это сильнее чувствуешь.

Он начал засыпать, но еще раз взбодрился, сообразив, что когда он упадет, то может, чего доброго, повредить винтовку. Не дай бог, чтобы он, честный человек, причинил Швеции какой-нибудь ущерб, ввел в новые

расходы, как будто мало денег потратила на него казна за те несколько месяцев, что он в армии... И солдат ссторожно, с огромным трудом, напрягая все силы, оставил винтовку. Он понимал, что тем самым наносит урон своей воинской чести, потому что отставить винтовку на посту — это проступок и свинство. Но ввести в расход государство еще хуже.

Конец приближался, близились уже и шаги смены, только солдат ничего больше не видел. Он как раз вкушал высшую радость, которую омрачала только одна мысль — что он должен был, пока еще мог двигаться, написать на снегу: «За бога, отечество и короля!».

УБИЙЦА ПЕРЕД СУДОМ

Все газеты единодушно твердили, что преступник, представший перед судом присяжных,— тип, которого каждый порядочный человек должен сторониться. Этот изверг совершил ограбление и убийство. Теперь он примирился со своей участью, сам говорил, что его повесят, и на суде изощрялся в остротах,— настоящий юмор вильгельма. Например, он предсказал прокурору, что его тоже когда-нибудь ездernут. И, между прочим, сказал, что веревку, на которой его повесят, завещает председателю суда: пусть, мол, подвязывает ею брюки. Естественно, что все эти замечания возмутили судей, и из-за них прокурор поспорил с защитником, утверждавшим, что закон даровал обвиняемому право выразаться на суде, как он умеет. Если обвиняемый говорит о брюках председателя суда, то он просто пытается снискать расположение присяжных, хватаясь за свои остроты, как утопающий за соломинку, а брюки... Тут прокурор прервал защитника, утверждая, что впутывать в дебаты брюки председателя суда безнравственно. Защитник остроумно ответил, что безнравственны не брюки председателя, а тот, кто их носит, что все служители правосудия безнравственны, начиная от тюремщика и кончая палачом. За это защитника лишили слова, а председателю суда принесли плевательницу, чтобы он мог сплюнуть. После плевка председателя суда в зале началось сильное волнение, несколько дам упало в обморок, а один из присутствовавших по ошибке влез в чужой карман, вынул студа кусок шоколаду и стал нервно есть его на глазах обокраденного. Объявили перерыв, ко-

торый обвиняемый использовал для бесстыдных жестов в сторону прокурора.

После перерыва судебное разбирательство продолжалось. Было установлено, что убийца совершил преступление с необычайной жестокостью. До того он три дня не ел, чтобы иметь основание утверждать, будто буханку хлеба, о которой шла речь, украл с голоду. То, что он совершил, выходило за пределы мерзости. После кражи буханки лавочник выстрелил в него из револьвера, и вслед за этим они схватились врукопашную. Во время драки убийца задушил лавочника и бросился бежать, но из-за большой потери крови вскоре упал. Полицейские немедленно связали его. Отговорка, что он действовал в порядке самообороны, абсолютно нелепа. Черт возьми, почему он не позволил подстрелить, даже застрелить себя, если при допросе сам заявил, что еще задолго до этого преступления подумывал о самоубийстве? Трогательна была сцена его очной ставки с женой убитого лавочника, которая со слезами говорила о жестокости преступника:

— Он душил его так, что у бедняги глаза вылезли из орбит.

Эти слова простой женщины глубоко взволновали всех, а один репортер даже записал: «Глаза вылезли из орбит», — решив так озаглавить отчет о судебном разбирательстве.

Обвиняемый производил впечатление настоящего преступника. Говорил, что не верит в бога, что наплевать ему на бога, что он, мол, никогда ничего для него не сделал, кроме того, он заявил, что его дедушка умер с голоду, а его бабушку изнасиловал начальник полиции. Словом, впечатление от каждой его фразы было отвратительное. Прокурор просил разрешения дополнительно возбудить дело о богохульстве и оскорблении армии, так как начальника полиции можно считать состоящим на военной службе.

— Впрочем, — сказал прокурор, — я полагаю, что начальник полиции ни в коем случае не стал бы насиловать бабушку обвиняемого, если бы знал, какой у нее будет внук.

Эти слова чрезвычайно растрогали публику, несколько дам прослезилось, словно начальник полиции изна-

силовал их самих. Преступник при этом «самодовольно» улыбался, как буквально сказано в одном из протоколов заседания суда, и видно было, что он насмехается над публикой и почтенным судом. Во время допроса он грибегал к отвратительным выражениям, вроде: «Что ж, я должен был позволить убить себя?» или «Я его, мерзавца, чуточку прижал. Не виноват же я, что он сразу окачурился у меня в руках!» И тому подобные.

Защитник пытался разжалобить присяжных, давая краткие пояснения и взывая к их сочувствию. Но его призывы отскакивали от них, как горох от стенки, — все присяжные кровожадно смотрели на убийцу. Особенно кровожадным выглядел один из них. Он не пропускал ни одного слова изверга, отпускавшего шуточки одна грубее другой. Этот присяжный так и пожирал глазами убийцу и, наконец, не выдержав, воскликнул:

— Вы что, радуетесь тому, что вас повесят?

На этот коварный вопрос преступник спокойно ответил:

— Вы этому радуетесь еще больше, чем я.

После этого заявления прокурор встал и при гробовом молчании заявил, что уходит мыть руки. Он, видите ли, во время перерыва ел селедку. Но для сего современного Пилата* это было лишь предлогом, чтобы сходить в уборную. Вернулся он оттуда с сияющей физиономией, как каждый облегчившийся человек, казалось даже, что он стал снисходительнее к обвиняемому, во всяком случае перестал плевать в носовой платок, как раньше, стоило ему только посмотреть на убийцу.

Допрос свидетелей полностью подтвердил обвинение. Выяснилось, что обвиняемый давно производил на всех дурное впечатление. В качестве отягчающего вину обстоятельства констатировали, что он незаконнорожденный и к тому же пьет водку.

— Коньяк я пить не могу,— заметил обвиняемый.

Услышав такое заявление, председатель суда распорядился, чтобы обвиняемого вывели, но по просьбе защитника его снова привели. Во время этого эпизода также разыгралась трогательная сцена. Когда обвиняемого выводили, этот изверг еще раз настойчиво повторил:

— Коньяк я пить не могу, он мне не по карману.

Сильное волнение среди присяжных.

— А будь он ему по карману, небось, пил бы,— заметил один из присяжных.

Буря одобрения среди публики и возгласы:

— Этаким пьянчуга!

— Но позвольте! — восклицает присяжный.

Общее возмущение. Тюремные надзиратели выводят скандалиста.

— Вы что, в театре? — восклицает председатель суда.

После возвращения обвиняемого ему предъявили украденную буханку хлеба и фотографию убитого.

— Это тот самый хлеб? — спросил председатель суда.

— Да, — без колебаний подтвердил закоренелый преступник.

— Узнаете свою жертву?

— Когда я задушил его во время драки, он был старше.

Этот циничный ответ глубоко потряс слушателей, даже самые закаленные судебные чиновники содрогнулись в своих мантиях. Остальные показания свидетелей усугубляли вину обвиняемого. Защитника, заявившего протест, председатель суда оборвал, сказав, что свидетели здесь не просто для виду¹. Из показаний свидетелей выяснилось, что обвиняемому негде было жить. Причин этого явления подробно не выясняли, но констатировали, что если ему негде было жить, он мог укладываться спать где-нибудь в другом месте, но не в саду около церкви. Один свидетель сказал, что убийца не носил воротничка, другой добавил, что у него не было рубашки, а еще один под присягой заявил, что убийца понятия не имел, что такое мыло. Особенно ухудшили положение обвиняемого показания старосты его родной деревни, сообщившего следующее:

— Негодяй не носил носков, с детства утирал нос рукавом, на плакате, извещавшем о крестном ходе, нарисовал что-то безнравственное, двадцать лет назад обозвал старосту свиньей, а ему, свидетелю, до сих пор должен двадцать крейцеров.

¹ В действительности установлено, что свидетели существуют именно для виду. (Прим. автора.)

— Господа,— сказал один из присяжных, когда они приступили к совещанию. —Мы собрались здесь, чтобы решить судьбу обвиняемого. Во всем городе невозможно найти хороший гуляш. Обвиняемый мерзавец. Я заказал у Дворжака гуляш, но его невозможно было есть. С юности обвиняемый проявлял большую склонность ко лжи и под конец дошел до убийства. Кроме того, я обнаружил в соусе муху. Да и телятина никуда не годилась. Этот негодяй убил порядочного, трудолюбивого человека, всю свою жизнь работавшего на благо сограждан, уважаемого лавочника, который никогда не продавал такого перцу, каким был приправлен соус у Дворжака. Будь этот лавочник мясником, совесть не позволила бы ему продавать такое тухлое мясо для гуляша, какое мне утром подали у Дворжака. На виселицу этого негодяя, пусть там качается, пусть его сведет там последняя судорога. Просто подлость брать за такую порцию тридцать пять крейцеров. Человек, которого вы сейчас видите, поступок которого обсуждаете,— величайший преступник! Остерегайтесь трактира Дворжака, господа! Итак, я ставлю на голосование: Виновен? Да! А как вы, господа?

Да!.. Да!.. Да!.. Да!.. Да!.. Да!.. Да!.. Да!.. Да!..

— К смертной казни через повешение! — прочел приговор председатель суда.— Именем его величества к смертной казни через повешение,— повторил он еще раз. И между тем как дамы посылали господам присяжным воздушные поцелуи, обвиняемый издал звук, который в приличном обществе, как говорится, не принят.

Надсмотрщик, увидивший после этого обвиняемого, сделал кислую физиономию. Flatulence, то есть дуновение.

ЛЕЧЕНИЕ РЕВМАТИЗМА УКУСАМИ ПЧЕЛ

Коренастый старый господин, сидящий за письменным столом, зевнул и положил перо. Это был пан Кржемек, княжеский лейб-медик в отставке, посвятивший себя теперь исключительно лечению суставного ревматизма и написанию своих исследований в этой области.

Он немного отдохнул, потом подравнял стопку бумаги и снова взялся за работу. Он написал:

«По моему мнению, каждый человек предрасположен к ревматизму, и потому важно в самом зародыше подавить его...»

— Ну, скажем, «его проявление»,— пробормотал он и написал:

«...его проявление».

Стенные часы пробили десять.

— Хватит на сегодня,— сказал пан Кржемек.— Писать по два часа в день — вполне достаточно. Пожалуй, за пять лет закончу свой научный труд.

Он встал из-за стола и заходил по комнате, разговаривая сам с собой:

— Новые исследования... чепуха! — Старые истины в новых одеждах... Да, да, у доктора Кржемека есть еще кое-что в голове... Решительно есть. Муравьиная кислота — пчелиный яд... Что у них общего? Мир бродит впотьмах, если говорить о химическом анализе пчелиного яда. Мир будет потрясен, когда доктор Кржемек выступит со своим новым методом. А глупые люди...

Тут пан Кржемек разволновался, гневно взмахнул рукой:

— Глупцы будут рады изничтожить меня, стереть в порошок! Утопить в ложке воды...

Пан Кржедек сбросил вазу, и она с треском разлетелась на куски.

Пан доктор замер, потому что дверь отворилась, и на пороге встала очень миленькая барышня в вечернем negligé.

— Папочка,— укоризненно сказала она,— на этой неделе ты бьешь пятую вазу.

— Ах, Эмми,— ответил пан Кржедек,— я просто задел локтем, и зачем вы ставите сюда такие хрупкие вещи! Эмми, вечерняя почта приготовлена на моем ночном столике?

— Да, папочка, иди ляг, а то разобьешь все вазы...

Пан Кржедек ушел в спальню и, улегшись в кровать, стал вскрывать и прочитывать письма.

Частные письма он откладывал, проспекты бросал в корзину, но одно письмо привлекло его внимание.

Он пробежал его глазами раз, другой, а в третий раз прочитал все письмо вслух. Оно гласило:

«Глубокоуважаемый пан доктор! Простите, что я осмелился обратиться к Вашей милости за советом. Имя Ваше, как специалиста в лечении ревматизма, было уже и раньше очень хорошо мне знакомо...»

— Хороший слог,— буркнул доктор и продолжал: «Посему прошу у Вашей милости медицинского совета. Я страдаю суставным ревматизмом, правда, не сильным, ибо полагаю, что это начальная его стадия. Позвольте ли Вы мне приехать и быть на излечении у Вашей милости? Покорно прошу ответить мне по адресу: Карел Глуза, частновладелец, Рожков».

— Я отвечу ему немедленно,— сказал пан Кржедек,— даже сегодня же. Почему бы мне не испробовать на этом человеке мой новый метод?

Он встал, надел халат и пошел в кабинет.

— Решительно я поставлю опыт на этом больном,— бормотал он, приготавливая бумагу и перо. Затем, подумав немного, он написал:

«Глубокоуважаемый пан Глуза!

Меня чрезвычайно обрадовало доверие, какое Вы вложили в Ваше ув. письмо. Соизвольте приехать как

можно скорее, ибо суставной ревматизм — недуг весьма серьезный. Нередко самое незначительное опоздание с лечением играет решающую роль. Заверяю Вас, глубокоуважаемый пан Глаза, что я буду иметь честь лечить Вас первого по моему совершенно новому методу; успех гарантирую.

С глубоким уважением
доктор медицины *И. Кржемек*».

— Да, — воскликнул доктор, закончив письмо. — Мой новый метод!

Тут он стукнул кулаком по столу так, что чернильница подскочила.

Барышня опять появилась в дверях.

— Ах, папочка, ты ужасно шумишь, неужели нельзя обойтись без этого?

— Милое дитя, — ласково сказал доктор. — Я пишу письмо пану Глазе, частновладельцу из Рожкова, который приедет ко мне лечиться...

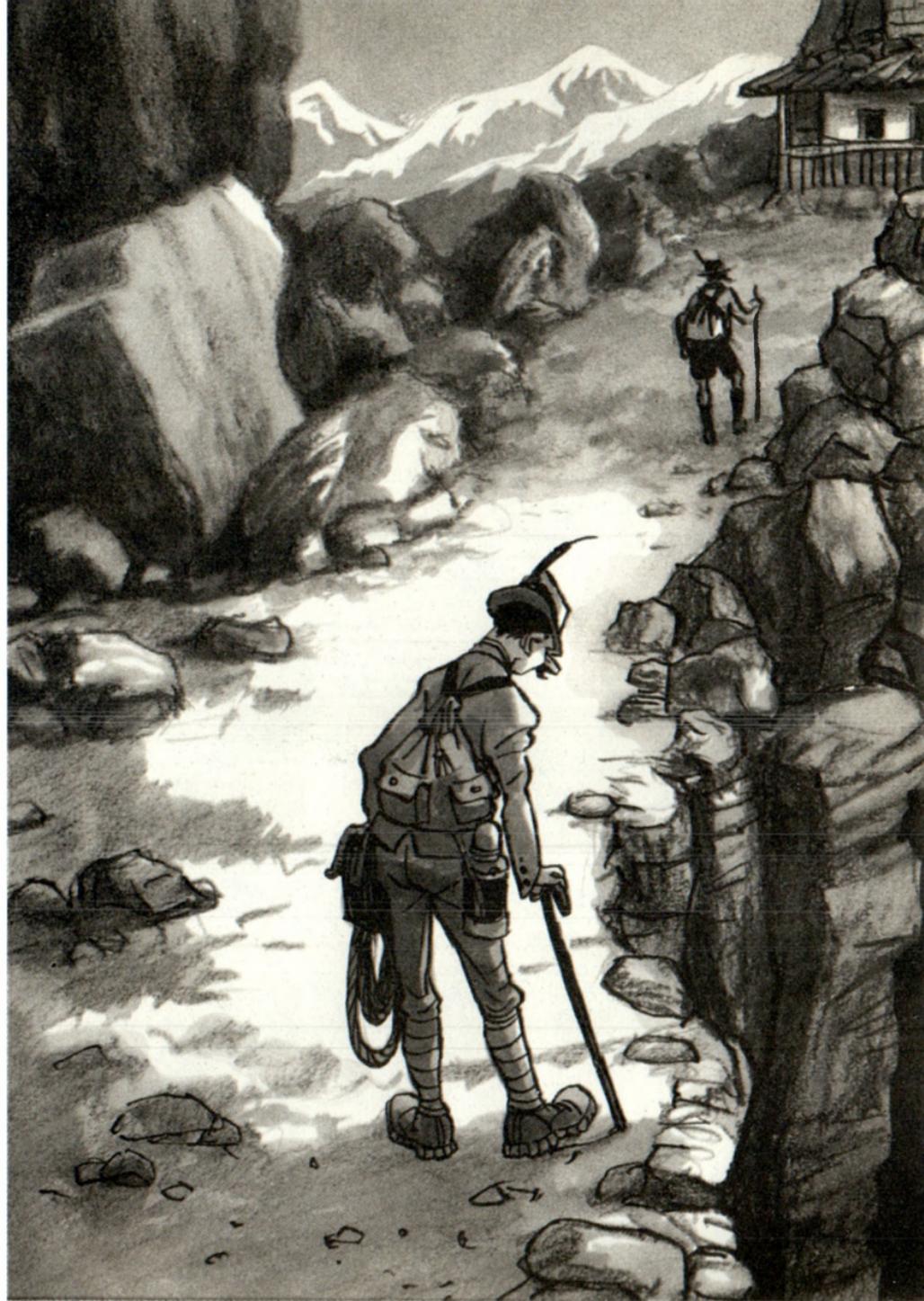
Барышня покраснела.

— Это имя мне ничего не говорит, — пролепетала она и покраснела еще раз. — Спокойной ночи, папа. Спокойной ночи.

*

Почему покраснела барышня Эмми? История восходит к последней масленице, когда она гостила у тети в Праге. И лучшее объяснение этой истории мы найдем в записях пана Глазы, частновладельца из Рожкова, озаглавленных: «Самые прекрасные воспоминания о масленицах остались у меня от нынешней».

«Когда тебе тридцать лет, хочется повеселиться. В нашей глуши масленица проходит слишком однообразно. Я поехал в Прагу. По обыкновению своему, я стараюсь занимать место в купе для некурящих, потому что там ездят дамы. Я сел в поезд и, признаться, удачно выбрал купе: напротив меня сидела красивая барышня. «Красивая» — даже слишком слабое выражение. Блондинка, прекраснее всех блондинок мира, сидела напротив меня. Глаза голубые, прекраснее всех голубых глаз в мире. Волосы белесые, как золото, самого прекрас-



«Восхождение на Мозернипице»



«Хищение людей»

ного цвета в мире, и с этой красавицей я вступил в разговор. Она дочь доктора медицины И. Кржемека; как хорошая дочь, она безмерно хвалила таланты своего отца, специалиста в лечении суставного ревматизма. Едет в Прагу на масленицу. Остановится у своей тети. Танцы — ее идеал. Я сказал, что тоже очень люблю танцевать. Музыка обожает страстно. Я сказал, что живу для музыки. Любит пение. Я подчеркнул, что охотно пою. Умирает по театру. Я заметил, что сам играю в любительских спектаклях.

За разговором время бежало незаметно. Ее движения, ее фигурка, все такое соблазнительное... Судя по всему, я влюблен. «Увидимся на балу!» — многозначительно сказал я. Она возразила: «Позвольте, сударь!..» — «Ах, простите,— проговорил я.— Буду ли я иметь счастье увидеть вас?» — «Возможно», — ответила она, кокетливо улыбнувшись. Мне кажется, что я влюблен, потому что, выйдя из поезда, все время видел внутренним взором ее гибкую фигурку. Впрочем, посмотрим.

Продолжаю записи...

Она сказала, что будет жить на Виноградах, улица Коменского. Две ночи я дурно спал, все думал о ней. На третий день отправился искать ее дом. Она сказала — он выкрашен в желтую краску. Такой дом я в самом деле нашел. У меня идея. Сниму поблизости комнату и целый день буду стоять у окна, а как увижу, что она вышла, последую за ней...

Судьба мне благосприятствовала. Моя новая комната, правда, не совсем напротив ее дома, а одним домом дальше в сторону, тем не менее мне отлично все видно. Уже полдня простоял я у окна. Если б не стеснялся, то и обедал бы на подоконнике, чтобы не пропустить ее.

Наконец, уже под вечер, она вышла с теткой, что весьма неприятно, как я сперва подумал, но потом успокоился, увидев, что они направились в театр. Билет — и за ними! Мое кресло было на шесть мест левее их. Она меня заметила. Я низко поклонился и улыбнулся. Она ответила небрежно, а тетка, видимо, спросила, кто это с ней поздоровался. Барышня прошептала ей что-то, тетя кивнула. Давали «Далибора», но я не слушал и все смотрел на свой идеал. Я влюблен не на шутку. Уверен в этом...

Она не может выйти на улицу, чтобы я тотчас не пошел следом. И удивительное дело — у меня не хватает смелости заговорить с ней, даже когда она одна. Я решил, однако, заговорить с ней как можно скорее...

Вчера решился. Подкараулил, когда она пошла на каток, и присоединился к ней у виноградского костела. Кажется, начал я хорошо. Встретившись с ней будто случайно у Народного дома, я сказал: «Ах, какой сюрприз, уважаемая барышня!» Но тут отвага покинула меня, и я понес нечто странное: «Прошу прощения, милостивая барышня, вы изволили упомянуть при нашем первом разговоре, что ваш пан отец занимается исследованиями в области суставного ревматизма...»

Но, оказывается, я затронул нужную струну. «О, конечно,— отвечала сна.— Он с большим усердием и упорством посвящает свое время этому предмету». Начало разговору было положено. Всю дорогу мы говорили о ревматизме. С того дня болезнь эта кажется мне приятной...

Первый вальс! Вальс, который я танцевал с моим идеалом, с барышней Эмилией. В Жофинском зале сотни огней, но со мною звезда. Я высказывал ей свои суждения о ревматизме. Как жаль, что я не изучал медицины!

Костюмированный бал! Она тоже придет. У меня оригинальная идея. Я наряжусь подагриком, слуга будет возить меня в креслах, а в руке я буду держать костыль. А она? Она намекнула мне, что будет в костюме богини музыки. О Эмилия! Эмми!

Мы узнали друг друга среди сотен масок. Я сказал, что желал бы, чтобы отец ее лечил меня в ее присутствии. Она легонько стукнула меня лирой и возразила: «Мой отец не психиатр». Остроумная, обаятельная! К сожалению, как «подагрик», я не мог танцевать.

Меня постиг страшный удар. Наутро после маскарада я проспал, а в это время моя дорогая Эмми — как интимно это звучит! — уехала домой. Я узнал об этом лишь сегодня, после того как три дня почти не отходил от окна. Она все не появлялась, тогда я зашел в ее дом и спросил у дворничихи. «Три дня как уехали!» Не сплю, все вижу ее перед собой. Сердце мое стучит, а когда удается уснуть, вижу сны о ревматизме...»

Остальные записи полны вздохами тридцатилетнего юноши, описаниями душевных волнений, отъезда в родной Рожков и словами: «Эмилия, Эмми, Эмми!»

Последняя запись гласит:

«Я должен ее увидеть! Решился на самое страшное. Буду симулировать суставной ревматизм и поеду лечиться к ее отцу. На войне и в любви не останавливаются перед ложью. Может быть, увижу тебя скоро, прекрасная Эмми!..»

Следовательно, нечего удивляться, что в тот вечер барышня Эмми покраснела, а очутившись в своей комнате, вздохнула со словами: «И здесь нет покоя от этого противного человека!»

*

Через два дня пан Глуза предстал перед доктором, который весьма сердечно приветствовал подопытного пациента.

— Добро пожаловать,— сказал он, встряхивая руку своей жертвы.— Вы показывались ранее врачам?

— Да,— солгал пан Глуза.— Врачи находят суставной ревматизм в начальной стадии.

— Серьезная вещь,— бросил доктор,— очень серьезная. Вы, я вижу, прихрамываете на правую ногу?

— Да, колено, правое колено зудит,— сказал Глуза,— как будто муравьи ползают.

— Это только начало, пан Глуза,— назидательно изрек доктор.— Но смею уверить, мой новый метод излечит вас совершенно. Главное — не упустить время. Я уже все приготовил. Проходите...

Доктор открыл дверь, и пан Глуза увидел пустую комнату, посреди которой стоял только длинный ящик, а на стене висело какое-то одеяние, похожее на костюм водолаза. Все в этом одеянии было такое же, даже колпак с застекленными отверстиями для глаз, недоставало только дыхательной трубки. И еще стоял тут один стул.

Доктор позвонил.

— Сейчас придут служители,— сказал он,— и помогут вам раздеться. Мы должны немедленно приступить к лечению.

Появились два здоровенных молодца.

— Разденьте пана донага,— приказал доктор.

— Позвольте! — воскликнул пан Глуза.— Я не предполагал...

— Ничем не могу помочь,— улыбнулся доктор,— цель оправдывает средства.

В две минуты пан Глуза был освобожден от одежды и сидел, подавленный, на кучке сложенных вещей, ожидая, что будет дальше.

— Сейчас мы оденем на вас вот это,— объяснил доктор.

Двух минут не прошло, как пан Глуза преобразился в водолаза.

— А теперь,— распорядился доктор,— положите пана сюда.

И он показал на длинный ящик.

Служители ввергли пана Глузу в ящик, и пан Глуза оторопело слушал повеление доктора:

— Принесите патентованный улей... Дорогой друг,— обратился он к пациенту,— мой метод весьма прост: я лечу укусами пчел. Вы слышите меня, или надо кричать громче?

— Слышу,— простонал из ящика пациент.

— Вижу, вы человек сильного сложения,— продолжал доктор, с удовольствием созерцая пана Глузу.— Вы можете перенести пятнадцать жал в колено. Вы ведь сказали, правое?..

— Правое,— уныло подтвердил пан Глуза,— только оно почти не болит, может, массажик...

— Нет, нет,— перебил его доктор.— Болезнь надо задушить в зародыше. Прежде лечили муравьиной кислотой — пчелиный яд сильнее. Мы приложим к вашему колену секцию улья, раздразим пчел, они бросятся на вас и ужалят. Впрочем, служители будут вас держать...

— Выньте ту секцию, где пятнадцать пчел,— приказал доктор, когда улей принесли.— Так, теперь хорошенько держите пана за руки и за ноги...

Доктор нагнулся к жертве. Расстегнул патентованный костюм на правом его колене и, плотно прижав секцию с пчелами к самому колену, выдвинул заслонку.

Из ящика понеслись приглушенные вопли:

— Ой, Иисусе Христе, ой, господи на небеси!..

Служители крепко держали голову, руки и ноги...

— Можно отпустить пана? — спросил один из них спустя некоторое время. Доктор заглянул в стеклянное окошечко секции.

— Две еще не ужалили, — сказал он. — Подержите еще немного!

Потом еще дважды раздалось: «Ой, Иисусе Христе!», и доктор сказал:

— Готово, отнесите пана, заверните его в простыню и уложите в постель...

*

Через три дня, когда распухшее колено приняло нормальный вид, пан Глуза объявил, что совершенно здоров и в дальнейшем лечении не нуждается. И он уехал домой, где сделал следующую запись:

«Жаль, что барышня Эмми — дочь доктора Кржемека, который лечит ревматизм укусами пчел... Но как же мне быть с сердцем?..»

ПЕРВОМАЙСКИЙ ПРАЗДНИК МАЛЕНЬКОГО ФРАНТИШКА

Маленький Франтишек с отцом живут в поселке «Новый свет», в одном из тамошних приземистых домиков. Иногда у отца бывает случайный заработок от продажи бумажных гвоздик, которые он делает вместе с сыном. В остальное время оба нищенствуют, и, когда Франтишек приносит мало крейцеров, отец нещадно расправляется с ним — бьет кулаком по лицу, приговаривая: «Эх, сын, сын!»

Слова «малыш» восьмилетний Франтик от него никогда не слыживал, отец обычно называет его пащенком...

Франтик уже умеет пить водку, впервые он напился два года назад, когда ему было шесть лет, пропив два крейцера, которые нашел на улице.

Матери он не знал. Люди говаривали, что отец забил ее до смерти, но этого никто не мог доказать. Как-то Франтик по наивности спросил об этом отца. Тот избил его так, что мальчик неделю пролежал на кирпичном полу, под стареньким, пропахшим грязью плащом. В комнате у них всегда грязно, и если и бывает приятный запах, то только от водки, без которой отец не может обойтись.

Мальчик пьет тоже. «Выпей, сын,— не раз говаривал отец.— У нас демократия, слышишь, щенок? Ну, не реви!.. Капитал нас угнетает. Вот как дам тебе!.. Придуть надо было тебя еще маленьким... У одних деньжищ тьма, а у нас ни копыя. А ну, перестань реветь, пащенок чертов!»

Когда отец заводит речь о политике, Франта сразу начинает плакать, он знает, что отец так распалится, рассуждая о капитализме и демократии, что обязательно будет угощать его оплеухами, приговаривая: «Эх, сын, сын!»

Иной раз Франтику хочется, чтобы отца забрал полицейский, как забрали в свое время дедушку, который и сейчас сидит на Панкраце * за то, что в престольный праздник украл в деревенской церкви чашу.

Дед был добрый человек, Франту он никогда не бил, только гладил по голове, а однажды даже вымыл внуку голову. И вот, извольте, отец выдал деда за литр водки. Ко всему оказалось, что чаша была медная.

Иногда к ним приходит дядюшка Калоубик. Отец вечно препирается с ним о трех пятаках, которые дядя несколько лет назад дал в долг покойной матери Франтика. Потом они мирятся и пьют водку прямо из бутылки, распевая песню «Кладбище, кладбище, садик наш зеленый...».

Бывают и другие гости — несколько профессиональных нищих, готовых обокрасть самого бедного бедняка. Гости приходят после того, как Франтик и отец возвращаются из своего похода за подаванием. Это занятие совсем не претит Франтику. Он уже знает своих постоянных благодетелей, которые обычно подают ему милостыню, когда он детским голоском певуче жалуется, что семья у них восемь душ, отец слег, потому что на стройке упал с лесов, а мать увезли в больницу.

Глаза у мальчика такие искренние, добрые, голубые...

Франтику нравится звонить или стучать у дверей. Не нравится ему, когда подают не деньги, а хлеб — ломоть, который ему не съесть. Попробуй-ка принести отцу кусок хлеба, получишь такую оплеуху, что не поздоровится. И Франтик, поплевав на полученный хлеб, бросает его наземь и весело идет дальше.

В общем, нищенство — дело неплохое. Хуже бывает с бумажными гвоздиками, продавать которые иногда посылает его отец. Во-первых, их надо делать очень старательно, иначе товар не сбудешь. Из красной папиросной бумаги вырезаются кружки, по шесть на каждую гвоздику, и Франта завивает их в форме лепестков. «Сегодня, к примеру, мы делаем гвоздики для со-

циал-демократов,— разглагольствует отец.— Каждый порядочный социал-демократ носит гвоздику в петлице, но плохонький товар у тебя никто не возьмет, ша-лишь! Понял, пащенок? Вот как дам тебе по рылу!.. Разве это гвоздика? Не гвоздика, а веник! И зачем только я не утопил тебя еще маленьким, не злил бы ты меня теперь!»

Ловкие пальчики Франтика работают усердно, складывая алые бумажные кружки, которые вырезает отец. Цена бумажной гвоздике — три крейцера. Приятно под хмельком возвращаться домой в старой солдатской фуражке и с гвоздикой в петлице!

Отец сидит за столом, коптилка воняет, потому что в ней уже кончается керосин, а Франтик все еще усердно режет проволоку для «стебельков» гвоздики. Надо заготовить побольше гвоздик, завтра Первое мая, отец пошлет Франтишка продавать их на социал-демократическом митинге, где собираются сознательные, просвещенные товарищи.

У социал-демократов будут гвоздики в петлице, а у Франтишкова отца — похмелье. А у самого Франтика? Как обычно, опухшее от побоев лицо.

Коптилка погасла. Отец, работодатель сына, захрапел на полу. Ему снятся красные гвоздики, Франта и водка.

Завтра Первое мая! Франтик заснул над грудой красных гвоздик. Покойной ночи, Франтик, завтра Первое мая!

Утром отец повязал Франтику красный галстук и сказал, что раскровянит ему харю, если Франта зажилит из выручки хоть один крейцер. Тщательно сосчитав гвоздики, папаша дал Франте пинок в спину, и мальчик пошел продавать свой товар близ Стршелецкого острова*.

Когда он вырастет, то научится насвистывать «Красное знамя», а пока, чтобы произвести на митинге хорошее впечатление, хватит и красного галстука. Вот, мол, какой юный борец за дело пролетариата! И до чего худенький, бедняжка! А как ему, будущему пролетарию, идет красный галстук!

— Купите красную гвоздику! — восклицает Франта.

— Дай сюда!

— И мне тоже!

— И мне! И мне!

Торговля идет бойко, коробка с товаром пустеет. Социал-демократы с гвоздиками в петлицах гордо отходят от Франтика... Сегодня торжественный день: Первое мая проходит под знаком всеобщего избирательного права в Австро-Венгрии.

— Эй, мальчик, тебе очень идет красный галстук. Дай-ка сюда гвоздику...

Франта распродал все гвоздики и зашагал домой. Отец наверняка уже ждет его и, коротая время, прикладывается к водочке.

Деньги позвякивают в кармане Франтишка, на душе у него весело, люди ему улыбаются, небосвод ясен. Около какого-то дома полицейский записывает фамилии жильцов, которые выложили на окна перины — вздумали их сегодня проветривагь!

Неподалеку от своего дома Франта останавливается. Компания мальчишек играет в шарики, да не простые глиняные, а стеклянные, расцвеченные внутри, красные, желтые, синие, зеленые, фиолетовые. Шарики катятся и переливаются всеми красками. Загляденье!

Франта не устоял, вынул крейцер. Один из мальчишек презрительно сплюнул. Подумаешь, крейцер! Один шарик стоит два крейцера.

— Чего глаза вылупил, дурак?

— Хочу тоже поиграть.

— А деньги у тебя есть, зануда?

Ах, как хочется Франте сыграть в такие шарики! А в кармане у него много денег. Может быть, отец и не считал гвоздики...

— У меня есть деньги, ребята.

Франтика повели в лавку, где продаются шарики. Это был счастливейший день в его жизни. Он купил двадцать шариков, потом еще двадцать. Проигрывая, он любовался, как красиво они катятся и играют всеми цветами радуги.

Так Франта постепенно выменивал выручку за красные гвоздики на цветные стеклянные шарики. Какое удо-

вольствие глядеть, как они катятся, сверкая на солнце! Сколько радости!

Мимо проходили участники митинга с красными гвоздиками в петлицах, наверное, купленными у Франты. А он все играл и проигрывал...

Потом мальчик пошел, купил еще шариков и снова играл, беззаботно тратя выручку...

К вечеру смертельно-бледный Франтик вернулся домой и отдал отцу скудный остаток денег. Отец избил его так, что мальчик не мог двигаться.

Потом отец снял с него галстук, нацепил его сам и, с гвоздикой в петлице, ушел в трактир, потому что было Первое мая, и он, как пролетарий... и т. д.

Франтик плакал и перекладывал из руки в руку два красивых стеклянных шарика, оставшихся у него после недолгого счастья игры.

Так прошел для него этот первомайский праздник.

ТРУБКА ПАТЕРА ИОРДАНА

Такой во всем монастыре ни у кого не было. До того необыкновенная, что даже старый настоятель, имевший коллекцию трубок, не мог на нее надивиться. А в коллекции у него были трубки разной формы и разных народов: маленькие, большие; трубки из дерева, из глины, из фарфора, из металла, из морской пенки, из разных материалов; трубки с украшениями резными, литыми и чеканными; трубки с красивой блестящей металлической оковкой; трубки эмалированные; были здесь трубки исторические—например, трубка шведского офицера, участника Тридцатилетней войны, который был отнесен, раненный, в монастырь, где и умер; трубки французских солдат, трубки матросские, короткие, с гнутой куркой; персидские, турецкие и индийские чубуки, придававшие всей коллекции формой своей и пестрыми золочеными украшениями из красной кирпичной глины восточный колорит; два кальяна с змеевидным мундштуком из сверкающих металлических чешуй, заставлявшие настоятелева прислужника Анатолиуса при взгляде на них всякий раз креститься, в глубине души называя их грешными, так как, может быть, из них курил, взяв в рот вот этот змеевидный мундштук, какой-нибудь нехристь-турок, окруженный полунагими гурийками своего гарема. Прислужник всегда старался эти две трубки окружить благочестивым соседством. Это благочестивое соседство составляли обычно памятные фарфоровые трубки из разных мест: «На память о Святой горе», «На память о Вамбержцах», «На память о Голгофе» и т. п.

Но все эти трубки, с сосудом для воды или без него, с длинными, короткими, вырезанными чубуками, с гладкими и точеными мундштуками из разного материала, решительно все — а их была пропасть! — имели с трубкой патера Иордана одно общее — назначение: чтоб из них курить и курить.

Трубка патера Иордана была не длинная и не короткая и походила на замковую башню, круглую, с зарешеченной галереей. Но что особенно оригинально, удивительная трубка эта имела три отверстия — да, три отверстия, закрывающихся сильной пружиной, которая щелкала так, словно спустили курок ружья. И три отверстия эти были разбросаны по ее цилиндрическому телу, одно — внизу, второе — посередине, будто окно замковой башни, а третье — наверху.

Никто во всем монастыре не знал, зачем, собственно, нужны эти три отверстия.

Великая тайна окружала трубку патера Иордана, тайна, непрестанно, но безрезультатно обсуждаемая братией во время бесед в монастырском саду.

Другая тайна заключалась в том, как же эта трубка зажигается?

Патер Иордан никого в эту тайну не посвящал, даже от настоятеля отделялся, когда тот пытался разведать, к какому отверстию нужно подносить спичку — к первому, второму или третьему, — зажигая трубку. В тихой обители воцарилась необычная тревога. Паны патеры, умеющие распутать любую, самую трудную и сложную религиозную проблему, знающие и ведающие, что означает любой крючок, любая черточка над письменами старых еврейских и сирийских рукописей, с недоумением качали головой, не зная, не умея проникнуть в эту тайну.

Все произошло как-то неожиданно. Патер Иордан, до тех пор преспокойно куривший гипсовую трубку, зажигая ее каждый раз на монастырской кухне от огромной печи, которая приготавлила патерам столько хорошего, уехал хоронить дядю. И вернулся с этой вот удивительной трубкой. Удивительной и окаянной! А патер Флавиан, так тот в конце концов назвал ее другим словом — похуже, чем «окаянная»... Первый раз в жизни выругался, и на него было наложено строгое покаяние.

Мир покинул тихую обитель. Новая трубка отняла у всех душевный покой; только патер Иордан, появляясь с нею в саду, как ни в чем не бывало улыбался, разгуливая по дорожкам, где скрипел под ногами желтый песок, и на все вопросы насчет трубки отвечал:

— Подумайте, amici!¹

Ему легко было говорить «подумайте», ему, досконально знавшему ее устройство, а каково им?!

— Как эта трубка зажигается? — спрашивал его настоятель уже в третий раз.

Но патер Иордан, улыбаясь, вежливо отвечал:

— Извольте подумать, reverendissime².

И продолжал свою прогулку по саду, улыбаясь и курия загадочную трубку, останавливаемый патерами, которым ласково отвечал:

— Подумайте, amici!

Когда он зажигал ее и где?.. «Когда?» Она была такая вместительная, что он делал это только два раза в день: утром и вечером. «Где?» В своем монастырском покое, который нельзя было назвать кельей. Этот орден никогда не предъявлял к своим членам строгих требований.

«Когда?» С этим было связано новое беспокойство. Видя, что патер Иордан ушел зажигать свою трубку, братия принималась безрезультатно стучаться в дверь его комнаты.

Он запирался. И было слышно только чирканье спичек. Следили, не погаснет ли у него трубка во время прогулки и не постарается ли он зажечь ее где-нибудь в саду, в укрытии; выпускает ли он изо рта сильные или слабые облака голубого дыма; окружали беседку и все кусты в надежде, что трубка начнет гаснуть, вот-вот погаснет совсем и патер Иордан не захочет возвращаться к себе в комнату, а зажжет ее где-нибудь здесь!

Но нет. Он только дразнил их любопытство. Вдруг раздует трубку и, расхаживая по саду, говорит каждому:

— Замечательная трубка.

Но что им было до ее замечательности, когда они не проникли в ее тайну.

¹ Друзья (лат.).

² Ваше преподобие (лат.).

Куда девались мирные послеобеденные прогулки в монастырском саду, с разговорами обо всем на свете, такими тихими, как шум старых деревьев над головой? Беседы о священных предметах, о новых церковных службах, обсуждения проповеди, произнесенной тем или другим из них в воскресенье?

Все уплыло, отошло в прошлое.

Вместо тихих слов: «Какого вы мнения о пастырском послании?», непривычно громыхало: «По-моему, она зажигается снизу», «Нет, нет! По-моему, сверху!», «Где? Посредине!»

В конце концов достойные патеры стали относиться с небреженьем к повседневной службе. Утренние молитвы читались наскоро. Раньше при чтении молитвенника все мирно дремали, а теперь спать не спали и молиться не молились.

А проповедь! Если прежде молящиеся, посещавшие монастырский костел, не понимали иных произносимых патерами проповедей, то теперь не понимали ни одной.

Отрывочные фразы (я не говорю уж об отсутствии логики, ее обычно в проповедях не бывает), перескакивающие безо всякой связи с одного предмета на другой, звучали совершенно невразумительно для душ верующих, не давая им опомниться от изумления.

И не только патеры лишились покоя. Тревожное состояние передалось мирянам и простым монахам,хватило брата-кухаря, который стал задумываться и портить пищу. Неслыханное дело! Во время богослужения монашеский хор не пел уже с прежним усердием. Голоса то и дело звучали вразнобой.

Новый слух прошел по галерее: настоятель хочет обладать этой трубкой!

Он в самом деле хотел этого и давал за нее Иордану драгоценный чубук с золотыми украшениями.

Снова галерею облетело известие — о том, что возразил патер Иордан на это предложение.

— Reverendissime, — сказал он, — это единственный предмет, отказанный мне покойным дядюшкой, единственная память о брате моего покойного отца. Я не могу отдать эту трубку, reverendissime!

Известен и ответ настоятеля.

— Милый Иордан, придется вам все-таки отдать ее мне. Неужели эта трубка заставит вас пренебречь своими обязанностями?

Патер Иордан улыбнулся. До сих пор он ни разу не пренебрег ни одной своей обязанностью.

Но вот однажды он пошел в садовую беседку и закурил там трубку; думая, что никто его не видит, вынул из кармана молитвенник с красным обрезом и стал молиться, покуривая и прочитывая страницу за страницей.

Но о молитве не думал. Он так привык к своей удивительной трубке, что не мог ни на минуту с ней расстаться.

Она помогала ему разгонять скуку, навеваемую нудным содержанием молитвенника. Остальная братия разбрелась по саду, а патер Иордан громко молился, выпуская изо рта облака дыма:

— Пошли мне, господи, мир душевный, ибо что ты делаешь, то добро. Не успокоить духа суете мирской. Повседневный опыт учит нас, что, кто много имеет, тот стремится к большему. Отсюда вывод: нельзя ли мне честным путем улучшить положение свое на земле?

Выпустив еще один мощный клуб дыма изо рта, он громко продолжал:

— Сделаю так, ибо не возбраняет мне этого никакой закон. А впрочем, да будет воля господня...

— Да будет воля господня...— повторил чей-то голос, и перед изумленным патером Иорданом предстал настоятель.

Он уже полчаса следил за ним из-за куста.

— Милый Иордан,— важно промолвил он,— молитва и курение плохо вяжутся друг с другом. Как может душа вознестись к богу, если человек следит за табачным дымом? Как он может усердно молиться, куря? А кто не молится усердно, милый Иордан, сами понимаете, чем это кончается, *amice!*..— Сделав паузу, он потребовал: — Подайте сюда трубку, которая мешает вашему благочестию...

Патер Иордан был похож в эту минуту на побежденного полководца, вручающего победителю свой меч.

— Вот она, *reverendissime*,— печально промолвил он, отдавая трубку настоятелю.

— Так,— сказал настоятель.— И покайтесь, *amice*.

Он ушел, скрывая торжествующую улыбку, а вслед

ему доносился голос покинутого Иордана, который громко молился:

— Пошли мне, господи, мир душевный, ибо что ты делаешь, то добро. Не успокоить духа суете мирской...

*

Скоро стало известно, что настоятель конфисковал удивительную трубку.

До самой вечерни только и было разговоров, что об этом.

В этот день для братии одна неожиданность следовала за другой.

Все сошлись в монастырском костеле. В вечерней тишине уже трижды прозвучал голос, сзывающий на молитву. Кто же не явился? Настоятель.

Пошли искать. Комната его была заперта. Ни в саду, ни в погребе, ни в коридорах — нигде нету. Как в воду канул.

Нарушили обычай — ударили в колокол в четвертый раз.

И тут не пришел. Сиденье его у алтаря стояло пустое. Этого никогда не бывало. Пришлось служить вечерню в его отсутствие. И что это была за служба! Все руками разводили, гадали: что случилось с настоятелем, где он, что делает?

Богослужение без настоятеля! Где это слыхано, где это видано, чтобы строгий и набожный настоятель не пришел в храм?

Поскорей бы конец. Что такое случилось? Отслужили быстро. Глотали целые фразы. Во время литании вместо «Помилуй, господи!» кричали «Помлсди!». Строчку за строчкой, скорей, скорей. Конец. Амен! ¹

Все устремились на монастырскую галерею — снова искать настоятеля. Поднялись на второй этаж, к его двери, постучали; за дверью послышался шорох, и она открылась.

Перед ними стоял настоятель с трубкой, из которой не выходило ни облачка дыма. Кинув взгляд вокруг, они увидели, что по всему полу раскиданы горелые спички.

¹ Аминь (лат.).

— Она не зажигается,— сказал настоятель.— Пойдемте к вечерне.

Им стало страшно, но патер Иордан ехидно пророчил:

— Мы, *reverendissime*, только из костела...

До поздней ночи слышалась в комнате настоятеля горячая молитва:

— Я — только человек, господи! Слабое и хрупкое создание, которому не прожить без поддержки десницы твоей. Опутали меня сети греха и грозят гибелью душе моей. К тебе взываю, отче и боже мой! Сохрани душу мою, отпусти мне тяжкие мои прегрешения, боже, отче мой!..

На другой день трубка патера Иордана оказалась в коллекции настоятеля, причем прислужник его Анатолиус поставил ее в ряд «грешных» — между кальянами и наргиле турецких пашей.

*

Прошло несколько лет. Патер Иордан умирал у себя в келье.

Он лежал в постели, на столике горели свечи, на скамеечке для коленопреклонения молились два патера.

Настоятель сидел у постели умирающего и печально смотрел на его лицо — осунувшееся, пожелтевшее, с заостренными чертами.

Патер Иордан спал. Вдруг он вздрогнул и начал перебирать пальцами по перине.

Проснулся. Устремил мутный взгляд на настоятеля и прошептал:

— *Reverendissime!*

Худой рукой притянул к себе настоятеля и с усилием промолвил:

— Эта... трубка... *reverendissime*... зажигается... со всех трех отверстий... Открыть... одно...

Он откинулся навзничь. Потом, собравшись с силами, тяжело дыша, продолжал:

— Одно... за другим... и зажечь сразу в трех местах...

Патер Иордан захрипел, упал на подушку и навеки покинул монастырь. Умер!

Так была раскрыта тайна трубки патера Иордана.

ВОСХОЖДЕНИЕ НА МОЗЕРНШПИЦЕ

Прежде всего должен предупредить, что я не имел решительно никакого желания, бродя по Швейцарии, разбить себе голову, и если отважился выступить в поход на Мозерншпице, то это объясняется очень сильными побудительными причинами: меня заставили это сделать три бутылки вина и дочь бернского трактирщика, у которого я их выпил.

Но к делу. Что представляет собой Мозерншпице? Поскольку я на нее лазил, нетрудно догадаться, что это — горная вершина, и притом островерхая, о чем говорит самое название¹. Что она принадлежит к Альпам, объяснять нет надобности, так как трудно допустить, чтобы кому-нибудь пришло в голову, будто в Швейцарии находятся Гималаи.

Мозерншпице гордо возвышается в Бернском кантоне, часах в шести езды от Берна, и примечательна тем, что до моего появления никто на ней ни разу не разбился насмерть — по той простой причине, что никто на нее не взбирался.

Вокруг Берна столько гор, что эта опасная гора теряется в их толпе, и не будь на свете предприимчивого бернского трактирщика Графергерена, никто до сих пор не имел бы понятия о том, что эта гора предоставляет массу возможностей для наслаждений, неразрывно связанных с альпинизмом, как-то: разбивание голов, перелом ног, рук и позвоночника.

¹ От Spitze — острие, пик (нем.).

Предприимчивый г-н Графергерен изерна хорошо понимал, какими эта гора отличается преимуществами: мрачные ущелья, стремительные кручи, осыпающиеся каменья и т. п.,— и решил поставить у ее подножия хижину для привлечения англичан и вообще людей, которым безразлично, откуда падать — с Монблана или с Мозерншпице.

Он построил хижину под горой и еще одну повыше, в четырех часах ходьбы, или, вернее, ползанья на карачках. С помощью ослов снабдил обе хижины запасами напитков, вина, ликеров, продовольствия и стал ждать первую жертву, которая сделает ему рекламу.

Волею судеб первым попался ему в руки я. В конце июня я приехал в Берн и остановился в его гостинице, где и клюнул, выражаясь вульгарно, отчасти на его вино, отчасти на дочку Маргарету.

И вино и Маргарета подстрекнули меня совершить восхождение на Мозерншпице. Вину удивляться не приходится, но удивительно, до чего бессовестны женщины.

Теперь-то я думаю: ну ее ко всем чертям, эту самую Маргарету изерна; но тогда, разгоряченный вином, я готов был полезть на Эверест в Индии, а не то что на Мозерншпице, в которой всего три с половиной тысячи метров высоты.

Дело было так. Вечером, в самый день моего приезда в гостиницу Графергерена, я, попивая вино, вступил в разговор с Маргаретой.

Что говорил — сам не знаю. Хвастался ей своими альпинистскими подвигами.

— Восхождение на Монблан — детская игра, пустяк, мадемуазель, — болтал я. — И знаменитый Глокнер * — чепуха. В чем тут трудность? Даже голова не кружится.

Тут подошел г-н Графергерен.

— Милорд, — обратился он ко мне, решив по моим смелым речам, что я англичанин, — милорд, я могу вам предложить кое-что подходящее. Рискованный маршрут.

— Я предпринимаю только такие, которые грозят в семидесяти случаях из ста неминуемой гибелью, — врал я Маргарете. — Вы не знаете, сударь, где находится гора Небозизек? *

— Не знаю, милорд. Она опасная?..

— С Небозизека из ста человек невредимыми возвращаются разве пятеро,— спокойно ответил я.

Это и на равнодушного Графергерена произвело должное впечатление.

— Милорд,— сказал он,— ручаюсь вам, что смертельный исход вполне возможен и на Мозерншпице. Там есть обрывы и пропасти в две тысячи метров глубины.

— Это пустяк, господин Графергерен. Принесите еще бутылку и дорóгой обдумайте мой вопрос: можете ли вы мне поручиться, что в случае несчастья я разобьюсь вдребезги?

Вернувшись с вином, хозяин ответил:

— Могу дать вам честное слово, что вы превратитесь в котлету. Падая, вы раз двести ударитесь об острые выступы скал,— стал он завлекать меня.— И, кроме того, учтите хорошенько то благоприятное обстоятельство, что на Мозерншпице свирепствуют страшные бури и ливни, так что могу поручиться: вас смоеет водой и сорвет ветром в пропасть.

— Ну, это хорошо для новичков, господин Графергерен, а для таких альпинистов, как я, не имеет никакого значения.

— Понимаю, милорд, но не забудьте, что вам придется подниматься по ледяным полям, а на Мозерншпице ледяные поля — дело нешуточное. Насколько я знаю, из ста случаев по меньшей мере восемьдесят кончаются тем, что человек проваливается. Одним словом, милорд, восхождение на Мозерншпице — прямо для вас. Не упускайте также из виду, что это единственная гора во всей округе, на которой вас может неожиданно окутать туман; очень велика вероятность сорваться в пропасть. Дальше, камни там осыпаются как раз в тех местах, где тропка вьется над пропастью. Все как будто для вас устроено.

— Экспедиция в вашем вкусе,— поддержала Маргарета.

— Мадемуазель, вам будет приятно, если я взберусь на Мозерншпице? — спросил я.

— Да, милорд,— ответила она.

«Чтоб тебя черт побрал, швейцарская красotka!» — подумал я. А вслух произнес:

— Мадемуазель Маргарета, я полезу на Мозерншпице.

И полез...

Проводника моего звали Георг. Он оказался католиком и многозначительно напомнил мне, что на дорогу можно исповедаться. Я отказался. Тогда он попросил, чтобы я дал ему на водку, пока мы еще в Берне. Эту просьбу я удовлетворил.

Георг основательно хлебнул водчонки, так что еще в Берне хотел привязать меня к себе предохранительным канатом. Я отклонил и это, и мы отправились, друг с другом не связанные, к хижине г-на Графергерена, куда хозяин еще прежде выехал на осле.

— Если я вас больше не увижу,— сказала мне Маргарета на прощание,— то буду ходить молиться на вашу могилу.

Эти швейцарские девушки такие добрые!

После шестичасового спокойного перехода мы подошли к первой хижине г-на Графергерена, где переночевали, пользуясь всеми удобствами, предоставленными нам гостеприимным хозяином.

А утром снова пустились в путь. Г-н Графергерен потирал руки. Прощаясь, он промолвил:

— Что передать вашей семье в случае возможного несчастья, милорд?

— Передайте только, что я рекомендую вас и Мозерншпице всем своим знакомым.

— Слушаю,— ответил он предупредительно и затянул тирольскую песенку с переливами.

Подъем становился все круче. Георг привязал меня к себе; и могу сказать, что это был добрый католик, так как он все время молился.

— Как бы вы поступили,— спросил я,— если б я поскользнулся и повис над пропастью, а вам одному трудно было бы удерживать меня? Стали бы вы ждать, когда придет помощь?

— Я перерезал бы канат,— спокойно ответил Георг,— и пошел бы в Берн сообщить о несчастье. Заметка попала бы уже в дневной выпуск наших газет, и посмотрели бы вы, какой получился бы эффект. И как это было бы выгодно Графергерену. Все англичане полезли бы

сюда: ведь они так любят опасность! Голова этот Графергерен, а?..

— Да.

Искренность Георга понравилась мне. Приятно беседуя о разбившихся альпинистах, мы карабкались все выше и выше, пока не добрались до второй хижины, перед которой зияла порядочная пропасть.

Мы вошли в хижину, и пока Георг приготавливал гуляш из консервов да откупоривал вино, я стал размышлять.

Позади домика вздымалась тысячеметровая стена Мозерншпице с торчащими выступами, похожая на гигантский жилой дом с балконами. Кое-где блестел снег, лед. Всюду чудовищные расщелины.

Черт возьми! Залезть наверх и где-то там размокнуть себе голову?

Мне стало ясно: любезный г-н Графергерен желает устроить из моей гибели рекламу для своих альпинистских хижин и возвышающейся над ними Мозерншпице.

— Я не полезу, Георг,— объявил я.

Георг всполошился.

— Как же, милорд? — испугался он.— Тогда я не получу платы.

— Я же вам заплатил.

— Да, конечно, милорд. Но господин Графергерен мне не заплатит.

— А за что он вам должен платить?

— За то, что я затащу вас на Мозерншпице.

— А если я во время подъема разобьюсь, Георг?

— Я все равно получу свои деньги. Кроме того, это привлечет туристов-англичан, и я еще на них заработаю. И от Графергерена еще кое-что перепадет.

— А если и англичане разобьются? Что тогда, Георг?

— Тогда уж на Мозерншпице полезут все кому не лень, и я накоплю денег. Так что бодро вперед, милорд! Коли сорветесь, может, еще повиснете на скале; чего бояться?

— Знаете что, Георг? Поживем здесь дня два; питаться будем из наших запасов; я дам вам двадцать

Франков — и вернемся, будто на самом деле побывали на Мозерншпице.

«Жаль будет, если старого Графергерена не хватит удар, когда он увидит, что я вернулся невредимым!» — подумал я, предвкушая наслаждение мести.

Мы провели в хижине два дня, ели и пили там, а на третий день спустились обратно.

У первой хижины Графергерена нас ждал большой сюрприз: человек шестьдесят англичан стояло у входа, с удивлением наблюдая наш спуск. Во главе их, вытаращив на нас глаза, стоял сам Графергерен.

— Вы не погибли? — испуганно крикнул он мне.

— Нет, как видите, — небрежно ответил я.

— Сэр! — закричал мне в самое ухо один англичанин, махая перед моим носом номером «Бернской газеты». — Сэр, если вы джентльмен, прошу вас, объясните вот это...

И он вручил мне вчерашнюю газету, где синим карандашом было обведено следующее сообщение:

НОВЫЙ АЛЬПИНИСТСКИЙ МАРШРУТ

Нашему неутомимому Графергерену удалось найти новый интересный маршрут для любителей альпинизма. Это находящаяся в нашем округе труднодоступная гора Мозерншпице, на которой он с чисто швейцарской заботливостью построит две хижины. К сожалению, приходится констатировать, что первая экспедиция на эту девственную вершину окончилась несчастливо: альпинист, первым отважившийся туда подняться, вчера сорвался в пропасть; видимо, он был недостаточно внимателен к советам проводника, о судьбе которого тоже до сих пор ничего не известно.

Это очень интересный, опасный горный маршрут, который благодаря этим своим особенностям привлечет множество альпинистов. Ведутся усиленные поиски двух трупов. Более подробные сведения можно получить в хижине г-на Графергерена у подножия Мозерншпице.

— Господа, — обратился я к англичанам, — все это выдумка господина Графергерена. Восхождение на эту гору не представляет никакой опасности. Дорога, право, вполне удобная. Это просто послеобеденная прогулка.

— Мы возвращаемся в Берн, господин Графергерен, — объявил один из англичан. — Этот господин, ока-

зывается, жив, маршрут безопасный,— ничего интересного нет. Вы нас обманули. Идемте, господа! Мое почтение!

— Господа! Вы только подумайте: вас там может завалить лавиной...— жалостным голосом, чуть не рыдая, крикнул им вдогонку г-н Графергерен.

Больше мы ничего не слышали, так как удалились от его гостеприимной хижины.

Мимо нас пролетел сверху камень, и я до сих пор не знаю, сорвался ли он со скалы или его пустил нам вслед г-н Графергерен.

Мадемуазель Маргарету от необходимости посещать кладбище и молиться на моей могиле я освободил.

По натуре я — добрый.

МОЙ ДОМОХОЗЯИН ПЕТРАНЕК

(Из воспоминаний неудачливого литератора)

С домовладельцем Петранеком мы расстались очень просто: он пришел ко мне в комнату, разговаривал довольно нервно и наконец сказал:

— Я с вами разделяюсь, хам вы этакий!

На мое «Позвольте, позвольте» он ответил грубо и нелогично:

— Если хотите высказаться, лучше заткнитесь!

Потом распахнул дверь и позвал какого-то детину с засученными рукавами, который стоял в коридоре.

— Помоги мне выставить этого типа!

Детина нахлобучил мне шляпу на лоб, и через секунду я летел вниз по лестнице, крича: «Где же ваши гуманные принципы, господин Петранек?»

Так я расстался с Петранекком после трехмесячной дружбы и через два месяца после того, как я переехал к нему. И хотя, как видите, наше расставание было не слишком дружеским, я не могу удержаться от слез, вспоминая этого милого человека.

*

С Петранекком я познакомился, как и с остальными завсегдатаями ресторана «Черный вол», благодаря своему красноречию. Оно действовало даже на ресторатора

Рамбу, который повидал белый свет, служил даже в драгунах, где, как он говаривал, его гнули в бараний рог.

Сначала я сижбал в уголке, прислушиваясь к за-тасканным анекдотам и глупейшим шуточным загадкам, которые рассказывали за соседним столиком; вся компания ржала от души. Мне запомнилась одна загадка: «Как лучше всего поймать двух львов? Поймайте трех и одного выпустите!»

Наконец однажды я вступил в разговор. Тут уж ничего не скажешь, все пришли в восторг. В первый раз это было, помнится, когда говорили о политике и ресторатор Рамба назвал ее «чистым жульничеством».

Кратко, но содержательно я объяснил им, что Фома Кемпийский был ограниченный человек, потому что написал, что крепостное право полезно крестьянам. Дальше я сообщил, что сочинения Фомы Кемпийского перевел на чешский язык Доуха *. Возчик Пейзар объявил, что знал одного Доуху: перевозил его с квартиры на квартиру. После этого вся компания прониклась ко мне искренним уважением и симпатией, а больше всех Петранек, который сказал, что никогда еще не слышал таких умных разговоров. Он был в восторге и с тех пор сосредоточенно слушал мои рассуждения, не отвлекаясь даже для того, чтобы похлопать по спине толстую жену ресторатора.

Короче говоря, Петранек испытывал ко мне такое благоговение, что недели через две даже осмелился дать мне прикурить, а когда еще через недельку я отплатил ему такой же услугой, он совсем смутился и забормотал что-то невнятное.

Дня через три после этого, когда я распространялся о том, что египетский король велел замуровать в пирамиде нескольких студентов, Петранек попросил у меня разрешения приписать выпитое мною пиво к его счету.

После довольно долгого размышления, которое произвело должный эффект, я сказал:

— У жителей окрестностей Неаполя есть поговорка: «*Chi riceve in beneficio perde la libertá*», что означает: «Принимая благоденствие, теряешь свободу».

Затем ясно и доступно я объяснил, что такое благоден-

яние: «Добрый поступок без расчета на вознаграждение».

— Надеюсь, однако,— продолжал я,— что ваше предложение вызвано лишь дружеским расположением и вежливостью, и потому даю согласие на то, чтобы мое пиво было записано на ваш счет, милостивый государь.

Ресторатор Рамба при всеобщем ликовании приписал мое пиво к счету Петранека, а я сказал:

— В этой связи мне вспомнилось одно мое стихотворение:

Доиграно, затихли струны,
И тайные судьба уж чертит руны,
Молчит рояль, мечтаю я о том,
Кого еще не знаю в этом мире...

Я подумал, что тут, собственно, нет никакой связи, однако стишок подействовал ошеломительно: возчик Пейзар заплакал, у мальчишки-кельнера волосы встали дыбом, а ресторатор, чтобы скрыть волнение, схватил его за ухо и закричал: «Как у тебя газ горит, остолоп!» Печник Калишек сунул сигару горящим концом в рот, а Петранек сказал, заикаясь:

— Превосходно, отлично, неподражаемо, господин поэт и писатель!

С того дня этот добрый человек буквально боготворил меня, а я преисполнился радужных надежд на будущее, поскольку у Петранека был четырехэтажный дом, два вклада в сберегательных кассах и дочь по имени Эденка, премилая красотка, на приятном личике которой никак не отражалось то, что ее отец прежде был торговцем свиньями и не без гордости называл себя «поросятником».

Я был вполне счастлив, хотя, скажу откровенно, со Эденкой даже ни разу не разговаривал. Подчеркиваю это только потому, что есть читатели, которые говорят: «Без любви ни один рассказ не обойдется, это уж факт!»

Итак, это была моя единственная слабая надежда на будущее, но ведь разве это не крупная моральная победа, когда молодой, начинающий писатель, единственно благодаря своему обаянию и благоразумию имеет шансы стать зятем владельца четырехэтажного дома и двух вкладов? «Вот тогда я сам издам все свои

стихи», — думал я, и это придавало мне сил в борьбе с капиталом.

Петранека я совершенно покорил. Что бы я ни сказал, все было для него святой истиной. Он, никогда ничего не читавший, стал без разбору покупать всяческие книги. Мои мнения стали его мнениями, он шлифовал себя постоянным общением со мной, изо дня в день платил за меня в ресторане и даже стал употреблять в разговоре ипостранные слова: кумир, идиосинкразия, анахорет и прочее.

Какую только чушь я ему не городил! Я уверял его, что здание Рудольфинума вытесано из одного камня, что китайцы знали латинский алфавит раньше, чем мы, и что земной шар — это пузырь, на котором тонким слоем расположены моря, горы и реки. Петранек верил всему.

Что еще я мог желать?

Наконец я стал внушать ему, что надо любить искусство и покупать картины, растолковал основные понятия живописи: перспективу, пропорции, стиль.

Он так вошел во вкус этих разговоров, что в один прекрасный день начал объяснять возчику Пейзару, что Алеш рисует в манере, близкой к японской. Один художественный критик, хаживавший в ресторан «Черный вол», с тех пор не появлялся там; говорили, что он наложил на себя руки, оставив записку, где говорилось, что, если нынче всякий осел рассуждает об искусстве, ему, критику, нечего делать на этом свете...

Петранек стал настоящим меценатом, покупал картины молодых художников, разыскивал в небольших лавчонках какие-то пейзажи и обнаженные натуры. Наконец, он предложил мне поселиться у него. Это было как раз, когда я начал писать свое крупнейшее произведение — драму в девяти действиях, на три полных спектакля с продолжениями, под названием «Я убийца!». Она начиналась монологом «Убийца я! Я изучал законы, я, жалкого трактирщика сынок...»

*

И вот я переехал к великодушному Петранеку и устроился в предоставленной мне комнате. Наши отношения стали еще теснее. Целыми днями Петранек сидел у

меня в комнате, с интересом рассматривая ненапечатанные рукописи или беседуя со мной обо всем, что взбредет ему в голову.

С его дочерью я так и не обменялся ни словом, никак мне не удавалось добиться того, чтобы мое общество было ей так же приятно, как ее папаше.

— Вчера она сказала,— признался однажды мне Петранек,— что люди вашего типа вечно должны в ресторанах и всегда норовят ущипнуть кельнершу. Выглядят они препротивно, потому что носят длинные патлы...

Такого мнения была обо мне Зденка!

«Ничего, она еще изменится»,— сказал я Петранеку, и мы продолжали разговор об искусстве.

Однажды Петранек принес мне фотопортрет своей дочери и поставил его на письменный стол.

— Пусть ее очи улыбаются вам,— возвышенно сказал он, потому что в последнее время стал выражаться поэтически.

Зденка, в самом деле, очень мило глядела на меня с портрета, а я все так же ел, пил и курил за счет ее папаша, которого теперь начал просвещать в области метрики и стихосложения, что оказалось нелегкой задачей, так как он пытался рифмовать «кувшин» и «угасание».

А я принимал визиты исполненных зависти приятелей, которые говорили, что никак не могут понять, почему этот меценат выбрал такого осла, как я...

Но настал день, когда мой приятель, художник Кубин*, погубил меня. Он зашел ко мне в гости, с милым вниманием осмотрел мою комнату, а когда удалился, я заметил, что портрета Зденки нет на столе.

— Я ношу ее на груди, как делали средневековые рыцари,— объяснил я папаше Петранеку, когда он поинтересовался, куда делась фотография.

А Кубин тем временем писал в своем ателье большое полотно «Русалка и леший»...

Новая картина Кубина имела крупный успех: русалка, обнаженная натура, была прелестно написана и красовалась на картине, в чем мать родила. Картина попала на выставку, и я посоветовал своему домохозяину побывать там.

А теперь прошу читателей не обижаться, если я повторю:

С домовладельцем Петранekom мы расстались очень просто: он пришел ко мне в комнату, разговаривал довольно нервно и наконец сказал: «Я с вами разделаюсь, хам вы этакий!..» Потом мне нахлобучили шляпу, и я покатился по лестнице, крича: «Где же ваши гуманные принципы, господин Петранек?»

Почему это произошло? Очень просто: в русалке мой почтенный домохозяин узнал свою дочь, это была вылитая Эденка. Дружок Кубин для этого и стащил у меня ее фотографию; теперь вам, надеюсь, все ясно?

Потому-то я и летел с лестницы. На этом кончаются мои воспоминания.

БУНТ АРЕСТАНТА ШЕЙБЫ

Администрация тюрьмы отказала заключенному Шейбе в добавочном кнедлике, который он получал как особое вознаграждение за то, что выполнял обязанности министра.

Необходимо было соблюдать экономию, а каждый кнедлик стоил четыре геллера. Шейба сто раз в год прислуживал во время мессы, значит получал сто кнедликов, то есть четыре кроны. Начальник тюрьмы потирал руки, представляя себе, как арестант Шейба выпучит глаза после богослужения, когда узнает, что служил господу богу даром.

Начальник надел мундир и направился в часовню, где уже собрались арестанты. Некоторым посчастливилось подобрать в коридоре окурки, и теперь они сосали их с блаженным видом, радуясь тому, что не зря ходили в часовню. Один арестант, приговоренный к пожизненному заключению, любовался солнцем, лучи которого проникали через окна тюремной часовни.

Вот уж пятнадцать лет он ходит сюда и, когда солнца нет, дремлет стоя. Лучи солнца обладают для него какой-то притягательной силой. Он смотрит на них не отрываясь, все время, пока идет проповедь и месса, не слышит, что делается вокруг, машинально опускается на колени, крестится — и не отрывает взгляда от солнца. Лучи приходят с воли — вот в чем их притягательная сила...

Другие арестанты смотрели в потолок, где был нарисован ангел-хранитель. Ангел от времени выцвел, места-

ми закоптился и поэтому напоминал усатого старшего надзирателя из столярной мастерской. Одну руку, толстую, как нога, этот неудачливый ангел простирал по направлению к первым рядам, где стояли малолетние преступники.

А те лукаво поглядывали на своего надзирателя, у которого из кармана торчала бутылка рома. После ночного дежурства он пребывал в приподнятом настроении. Все знали, что сейчас он фальшиво затынет: «Боже, пред величием твоим...»

Недалеко от них стоял повар, седой арестант. Он здесь уже шестой год и растолстел самым приятным образом. Надзиратель, который несет службу на кухне, тоже толст, но думается, что повар к концу своего десятилетнего срока превзойдет его. Надзиратель из кухни и арестант-повар стоят рядом и зевают. Скорей бы уж началась проповедь да закончилась месса!

Пребывание в часовне для них самое мучительное испытание за всю недлю. То и дело становись на колени, а как трудно потом поднимать этакое брюхо!

В толпе пожилых арестантов раздалось рыдание. Все обернулись. Опять этот старый Крутина притворяется плачущим! Обокрал почту на двадцать тысяч, а теперь жалуется, что его мучат угрызения совести и что ему жалко министра торговли.

Арестантов это забавляет, но они строят серьезные мины, стараясь не выдать, что Крутина ломает комедию.

Почему бы в самом деле и не развлечься во время проповеди, как в прошлый раз, когда тюремный капеллан, простирая руку к Крутине, гремел: «С него берите пример. Он раскаивается в своих прегрешениях. Он знает, что бог готовит кару и сурово накажет человека, не кающегося в грехах. И он плачет, ибо знает, что только искреннее сожаление отворяет врата небесные. А бог милостив!»

По просьбе капеллана Крутина с тех пор стал получать больничный паек. И теперь он благодарно отрабатывает эту милость новым приступом рыданий, рассчитав, что сейчас начнется проповедь.

Начальник тюрьмы смотрит на часы. Капеллан сегодня опоздал на десять минут, а ведь вчера за картами начальник просил его: «Смотрите не опоздайте с пропо-

ведью, вы же знаете, что ровно в десять я должен быть в пивной». Ну ничего, он напомнит капеллану, как надо держать слово. В тюрьме все должно идти точно по часам, даже служба господу богу.

Наконец капеллан поднялся на кафедру; в запасе у него была короткая, но внушительная проповедь. Он был не в духе: подобные проповеди все на один лад, и жена начальника тюрьмы может подумать, что он ничего не понимает, а это ему было бы очень неприятно. Да тут еще с него не сводит глаз множество выбритых рож и стриженных голов арестантов, выстроенных рядами, каковое зрелище казалось ему отвратительным.

И вообще пора повысить ему жалованье. Он получает три гульдена за проповедь и десять крон за мессу. Ах, его проповеди не оказывают большого влияния на моральное исправление арестантов? Многого захотели за три-то гульдена! Арестантов, скажем, три сотни,—значит, ему платят всего по крейцеру с души за наставление на путь истинный. Маловато, верно? Так что, во имя отца, и сына, и святого духа... Он говорил о разбойниках, распятых одесную и ошуюю Христа. О Демьяне и Косме. Вдруг сбился и начал снова:

— Так вот, Косма и Демьян... «Ныне же будешь со мною в раю».

А начальник вытаскивает часы. Ах да, ему сегодня надо к десяти в пивную. Ничего! Вчера выиграл у него гульден, так пусть теперь подождет. И капеллан все говорил и говорил о разбойниках, наблюдая, как нервно ерзает на своем месте начальник:

— Знайте, о грешники, что врата в царствие небесное не откроются без искреннего раскаяния!..

Какой вид у начальника тюрьмы! Ничего, подождешь и до половины одиннадцатого, не уйдут ни твоя четвертинка, ни твои итальянцы... А, черт, верно: сегодня ведь придут итальянцы! Нужно быстрее кончать.

— Если грешный человек покается, как тот разбойник, то ему все простится. «Ныне же будешь со мною в раю»,— эти слова относятся и к вам. Думайте о них, и да помолимся за добрые намерения. Во имя отца, и сына, и святого духа. Отче наш!..

Начальник радостно улыбается. Он все-таки успеет попасть в пивную до того, как итальянцы разопьют пос-

леднюю бутылку. Только бы и мессу отслужили побыстрее. Есть же у капеллана совесть!

В ризнице раздался звонок. Начальник бросает радостный взгляд на Шейбу, который в сопровождении капеллана шествует к алтарю, держа в руках служебник*.

Эх, двигался бы этот Шейба попроворнее! Но Шейба исполняет обязанности министранта очень истово, чтобы заслужить свой кнедлик. Все мысли его о том, что сегодня у него будет целых два кнедлика.

Он благоговейно произносит:

— Confiteor!¹

Целых два кнедлика! А какой аромат, когда разре-
заешь кнедлик пополам! А лук, поджаренный на сале!

Шейба — большой обжора и добросовестный министрант. Теперь он произносит: «Kyrie eleison» и «Christe eleison»². Трижды «Kyrie», и трижды «Christe» и снова трижды «Kyrie». Он взывает к милости господней неторопливо, от всей души. Чем дольше протянуть службу, тем меньше останется ждать до обеда. Здесь, в часовне, он важная персона, а там — арестант. Поэтому говорит он не спеша, чтобы продлить мессу и сократить время до обеда, ведь он так мечтает о сегодняшней добавке.

— Et...cum... spiritu... tuo³.— Он произносит это медленно и с вдохновением. Наверно, повар опять выберет для него самый большой кнедлик.

Начальник яростно вращает глазами. Бывало, к этому времени служба уже продвигалась гораздо дальше, а сегодня добрались только до Послания апостолов.

— Deo gratias!⁴ — торжественно возглашает Шейба, когда капеллан кончил читать послание. Видит бог, он с таким нетерпением ждет сегодня жирного лукового соуса, в котором плавает кнедлик!

Начальник зевнул. Ну погоди, прохвост Шейба, больше тебе не захочется так мямлить на молебне, когда узнаешь, что не получишь второго кнедлика! Как будто ему трудно произнести «Deo gratias» одним духом, вроде

¹ Каюсь! (лат.)

² «Господи, помилуй» и «Христос, помилуй» (древнегреч.).

³ И со духом твоим (лат.).

⁴ Благодарение господу! (лат.)

«dgras»,— нет, он тянет на целые мили: «Deo-o-ogratias...». А капеллан, пока Шейба выжимает это из себя, должен стоять, как истукан, набожно сложив руки. Шейба бьет себя в грудь так медленно, что от нетерпения можно с ума сойти. Наконец-то запели «Agnus dei»¹ и зазвонили... Так недолго и помереть со страха, что итальянцы уйдут. Ну, Шейба, упеку же я тебя в карцер за то, что тянешь свой «аминь» так медленно. Эх ты, мямля несчастная! Уж давно бы мог добраться до «Ite missa est»². Как медленно он льет воду для омовения! Из-за одного этого все задержалось по крайней мере на три минуты, уж не говоря о других процедурах... Начальник тюрьмы был крайне раздражен и тихонько выругался. Во время причастия он с такой силой стукнул себя в грудь, что раздался звук как из бочки. Как Шейба копается!

Между тем глаза Шейбы сияли восторгом, и он переносил служебник на левую сторону алтаря так медленно, что начальник потерял всякую надежду увидеться с итальянцами. Зато Шейба, чем дальше, тем больше радовался предстоящему обеду. Эх, сала-то сколько будет! И в нем лук — поджаренный, ароматный... Если кнедлик был для него небом, то жареный лук — звездами на небе.

— Iiiiite miiiiissa est,— еще протяжнее возгласил Шейба.— Deoooo graaatiaaaaasss! — Он разрежет ложкой кнедлик, посолит и размешает в соусе.

Затем арестанты получили благословение, и началось чтение «последнего евангелия»: «В начале было слово, и слово было у бога, и слово было бог». Начальник тюрьмы впал в отчаяние от того, что святой Иоанн предположил своему евангелию такое длинное вступление.

«Вот пропоют «Отче наш», затем еще «Богородице, дево, радуйся»,— подумал начальник,— и я прикажу позвать к себе Шейбу».

Наконец он дождался последнего «аминь» и вышел в коридор, чтобы подождать Шейбу, когда тот пойдет из ризницы к себе в камеру.

— Шейба,— сказал он,— администрация тюрьмы вынесла решение не давать добавочного кнедлика за

¹ Агнец божий (лат.).

² Идите, месса окончена (лат.).

прислуживание во время молебна. Кто хочет служить богу, служит ему бесплатно, а не за кнедлик. Понятно?

Вот как случилось, что Шейба объявил забастовку. Он пережил большую внутреннюю борьбу, прежде чем решиться на такой шаг. С одной стороны, служба господу богу, с другой — кнедлик. Пришлось делать выбор между духовной пищей, хлебом мистическим, и реальным, съедобным.

После мучительного раздумья и споров с остальными арестантами из камеры № 18 он выбрал последнее. Пятеро заключенных, сидевших с ним в одной камере, стояли за быстрое решение конфликта. Надо ответить просто: «Ладно! Не даете кнедлика — не будет и мистранта».

Но Шейба боялся прогневать господа бога. В это несчастливое воскресенье после обеда он долго сидел за столом и думал. Он был сыт — далеко не так, конечно, как в прошлое воскресенье, однако голода все же не ощущал.

«Господь бог может разгневаться», — твердил он одно. Потом он погрузился в какую-то книгу религиозного содержания, разбирая ее по складам, — из таких книг состоит вся беллетристика тюремной библиотеки.

— Вот оно, братцы, как получается, — произнес он наконец, откладывая в сторону книгу. — Здорово написано, как один крестьянин богохульствовал и ругался, когда пахал в страстную пятницу. Вдруг гром с ясного неба — и оба вола наповал!

Эта глупость развеселила всех, что весьма возмутило Шейбу.

— Мы внизу, а господь наверху, понятно? — горячился он. — А я такой человек, что согласен служить господу богу хотя бы за один пустой суп. Бог с ним и с кнедликом! А не дадут мне ничего — все равно буду доволен и скажу: «Бог дал, бог взял, да святится имя его».

Но к вечеру Шейба проголодался... Обычно по воскресеньям, получая два кнедлика, он оставлял себе к ужину полпорции мяса, но сегодня, получив только один кнедлик, съел все мясо и не оставил на вечер ничего.

Шейбе пришло в голову, что ему могли бы дать хоть супу...

Мысль эта была столь греховна, что он принялся ходить по камере и читать «Отче наш».

Казалось, однако, что от молитвы аппетит разыгрывался еще больше, чем от грешной мысли о порции супа. Чем больше и усерднее он молился, тем сильнее чувствовал голод. Что бы он ни делал, его набожность не могла устоять перед голодом. Она стала меньше кнедлика и таяла все больше и больше, и в конце концов воображением Шейбы полностью завладел огромный вкусный кнедлик под луковым соусом.

Три года провел здесь Шейба, блаженствуя каждое воскресенье,— неужели же он должен бесплатно служить богу в оставшиеся два года? За что постигла его такая кара господня? Не может быть, чтобы все за тот грабеж! Неужели недостаточно отсидеть пять лет, когда и стащил-то всего несколько несчастных крестов?

А как старательно служил он сегодня! С каким усердием произносил: «Kyrie eleison», «et cum spiritu tuo».

— Черт возьми,— сказал он,— а мне-то от этого какой прок?

Из угла ему кто-то не очень пристойно ответил.

— Ясно как день,— отозвался другой.— Шейба осел! Случись такое со мной, я бы сказал: «Мое почтение, всего вам наилучшего, а впредь прислуживайте капеллану сами».

— Тебе, Шейба, ничего не могут сделать, ты расходуешь во время службы свой ум, значит, и тебе за это должны что-нибудь давать. Вот у нас в деревне министр!.. Сколько же он получал жратвы и денег с прихода! А когда свинью, бывало, заколют, ему и колбасу шлют, и печенку, и шкварки, да какие! Эх, сюда бы сейчас такую миску со шкварками!

Все пустились в рассуждения о шкварках, этом недосыгаемом лакомстве, и предоставили Шейбу самому себе и его безбожным сомнениям. С ними он и лег в постель. Закутавшись в одеяло, он постепенно склонялся к одному из возможных решений.

Шейба закрыл глаза и увидел кнедлик. Потом уснул. Ему приснилось, что он сидит в церкви. У алтаря прислуживает министр в белом стихаре, а вместо головы у него огромный кнедлик. Когда возносили дары, у него

уже было два кнедлика, а перед «последним евангелием» их стало три.

Вдруг эти головы-кнедлики покатались, покатались, пока не подкатились к Шейбе. Рядом с Шейбой сидел начальник тюрьмы с кандалами на ногах и на руках. Он Христом-богом просил дать ему один кнедлик. Шейба плюнул ему в лицо и на его глазах съел все три кнедлика, остатками соуса смазал себе волосы, затем опустился на колени и начал благодарить бога, а начальник стал облизывать его волосы.

Проснулся Шейба от грохота ключей и крика надзирателя:

— Эй, пошли в мастерскую! К звонку всем быть готовыми! Кто из вас видел страшный сон, будто попал за решетку?

Это была его обычная утренняя острота, он произносил ее у каждой камеры, давась от смеха.

— Вот что,— одеваясь, сказал Шейба товарищам по камере,— теперь я твердо решил: не получу кнедлика — прислуживать в часовне не буду. Курица и та не станет даром в навозе рыться.

И всю неделю при встрече с начальником Шейба улыбался, предвкушая, как тот будет его просить и предлагать кнедлик, но он, Шейба, скажет: «Нет, два кнедлика — или никаких!»

*

В воскресенье, в половине восьмого, за Шейбой зашел надзиратель — пора было идти в часовню готовиться к мессе. Шейба играл в «волки и овцы» фишками, сделанными из хлеба.

— Я не пойду, пан надзиратель,— спокойно ответил он и, повернувшись к своему партнеру, небрежно заметил: — Эдак не загнать мне в овчарню все девять овец!

Надзиратель не знал, что и подумать. Он повторил Шейбе, что пора в часовню.

— Не пойду,— был ответ.— Кнедлик у меня отняли, а теперь, когда я понадобился, я и хорош стал. Не стану я прислуживать.

— Шейба, подумайте, что вы говорите! Ведь это бунт.

— Какой там бунт,— заступился кто-то за Шейбу.— Мало ли что скажут: служи, мол, господу богу. А ведь есть-то тоже хочется. Вот что я думаю.

Пришел старший надзиратель.

— Шейба, опомнитесь, идите в часовню.

— Не пойду.

— Тогда будете вызваны к начальству.

— Ладно, пусть к начальству.

Весть о бунте арестанта Шейбы молнией разнеслась среди надзирателей.

— Восемнадцатая камера давно казалась подозрительной,— шептались они между собой.

— Арестант Шейба не верит в бога! — разлетелось по тюрьме.— И за это его вызывает начальство...

Тем временем арестант Шейба уже стоял перед начальником. Сознание своей незаменимости делало его непреклонным.

У начальника лицо было красное от гнева.

— Как ты смеешь, скотина, так говорить! «Отказываюсь прислуживать даром!» — сердито кричал он.— Будешь прислуживать, да еще карцер получишь!

— Не буду!

Начальник в отчаянии взревел:

— Будешь служить?

— Не буду!

— Увести в карцер,— приказал он надзирателю.

Шейба шел гордо. Теперь дело было уже не в кнедлике, а в принципе. Даже такое преддверие ада, как карцер, не сломило его. Он уселся в темноте на нары, радуясь, что никто не заставит его быть министрантом против воли.

Между тем начальник тюрьмы, ломая руки, метался по своему кабинету: через четверть часа придет капеллан, а у них нет министранта! Позор!

Капеллан опоздал на пять минут. Он медленно шел к тюремной канцелярии, размышляя о том, что гонорар за проповедь и мессу все-таки слишком скуден.

За сегодняшнюю проповедь ему следовало бы получить по меньшей мере десять крон, а не какие-то жалкие три гульдена. Да, так было бы справедливо. За проповедь столько же, сколько за мессу. Проповедь оказывает благотворное влияние на арестантов, особенно сегодняш-

няя, на тему о том, что небо печется о каждом создании божьем.

Капеллан улыбнулся и вошел в канцелярию тюрьмы, где у печки понуро сидел начальник.

При виде капеллана начальник тюрьмы встал и приветствовал его:

— Доброе утро, ваше преподобие.

Затем снова уселся на скамью и, сокрушенно уставившись на печку, произнес:

— Представьте себе, ваше преподобие, Шейба забастовал.

Капеллан удивленно посмотрел на начальника. Нет, кажется, не пьян.

— Но, пан начальник...

— Шейба взбунтовался, достойный отец,— продолжал начальник.— Он не хочет быть министрантом из-за того, что я лишил его кнедлика. Я приказал этого мерзавца посадить в темный карцер.

— Я должен с ним поговорить,— решил капеллан,— откройте карцер.

Начальник махнул рукой. Если Шейба не послушался слуги государства, который посадил его в карцер, то неужели он послушается слуги господа, против которого взбунтовался?

— Я думаю, достойный отец, что из этого ничего не выйдет,— малодушно буркнул он.

Капеллан с надзирателем ушли, и начальник тюрьмы остался один. Глядя на часы, он думал: «Теперь Шейбу, наверное, страшат адом...»

А капеллан в это время стоял на пороге темного карцера и смотрел на Шейбу. Через открытую дверь падал дневной свет; даже в этом полумраке видно было, какое упрямое лицо у арестанта. Он стоял несокрушимо, как скала, и гордо взирал на капеллана. Ага, вот и парламентария прислали. В этот момент Шейбу так и распирало от небывалого чувства собственного достоинства, и он твердо заявил капеллану:

— Нет, ваше преподобие, ни за что я прислуживать не буду.

Капеллан обратился к святому Фоме Кемпийскому. Он обрушил на Шейбу несколько цитат из творений этого отца церкви:

— Боже, не дай этому человеку слушать несправедливое — дай ему подлинное познание самого себя. Пусть не в себя, но токмо в тебя верует, милостивый. О бессмертный, укажи ему путь, дабы с охотой служил тебе. Ну как, Шейба, будете прислуживать?

— Не буду, ваше преподобие.

Началась борьба, упорная борьба между Шейбой и капелланом. Борьба между богословом и забастовавшим министрантом. А из-за спины капеллана грозил Шейбе связкой ключей надзиратель. Но Шейба оставался непреклонным. Даже если бы надзиратели избили его ключами — а они умеют это делать так, что никто из других заключенных ни о чем не подозревает,— даже тогда Шейба не согласился бы. Он уже не просто арестант, а нечто большее...

Капеллан, как и предполагал начальник тюрьмы, добрался уже и до ада. Надзиратель счел нужным поддержать капеллана и добавил к перечислению адских мук то, что забыл сей ревностный служитель божий:

— Вас, Шейба, черти огненными языками будут лизать,— сказал он, вращая глазами.

— Пусть,— серьезно ответил Шейба.

Капеллан терял терпение. В соседних камерах арестанты, надеясь по дороге в церковь подобрать окурки, колотили в двери и кричали: «Хотим в церковь, хотим в церковь!»

— Слышите, Шейба, ваши собратья желают освежить свою душу посещением часовни, а вы препятствуете им. Осознаете ли вы, что совершаете этим смертный грех?

— Я, ваше преподобие, тоже хочу в часовню, я добрый католик и умру в той вере, в какой меня воспитала мать, но даром прислуживать не буду.

— Может быть, после богослужения вы попросите прощения у начальника, и он снова будет давать вам добавочный кнедлик?

Шейба пожал плечами. Он чувствовал подвох. После богослужения! Нет уж, дудки, его не проведешь! Тогда-то он ничего не получит, разве только посадят в карцер на хлеб да на воду.

— Ваше преподобие,— добродушно сказал он,— кто же покупает кота в мешке? Обещанного три года ждут.

Вот вы говорите, ваша милость, что всемогущий вычеркнет меня из списка детей своих. Знаете, ваше преподобие, до таких арестантов, как я, господа богу и дела нет. Но только я без кнедлика быть министрантом не согласен.

— Верите вы в бога, Шейба?

— Верю.

— Верите, что бог накажет вас за бунт?

— Верю.

Этот ответ сбил с толку капеллана. Если бы Шейба сказал «не верю», он бы ему доказал — по крайней мере он надеялся доказать, — что бог его накажет за неверие. Что же ему сказать? А без министранта ему не отслужить мессы, и тогда он потеряет свои десять крон!

— Шейба, прошу вас, пойдите в часовню!

Вот как! Капеллан его просит! И Шейба почувствовал себя еще более важным. Он знал, что садиться в присутствии начальства запрещается уставом, но сел. «Кто господин? — подумал он. — Я господин».

— Мы закуем вас в кандалы, — присовокупил надзиратель к просьбе капеллана, стараясь этим поддержать авторитет духовного лица.

— Ваше преподобие, обещайте, что я получу кнедлик и со мной ничего не случится, тогда я соглашусь. Иначе не пойду, лучше мне сгнить здесь.

— Обещаю, — сказал капеллан.

Шейба встал и подошел к капеллану.

— Ваше преподобие, тогда уж будьте ласковы, дайте мне на том вашу руку.

Растерявшийся капеллан подумал, что Шейба в знак благодарности хочет поцеловать ему руку, и протянул ее. Шейба бодро пожал ее и добродушно заключил:

— Ну, стало быть, по рукам!

У капеллана даже мысли в голове перепутались. Он испугался. А что, если Шейба — бывший убийца! Никогда капеллан не интересовался, за что он сидит. И по пути в часовню, куда Шейба шагал с видом человека, выигравшего почти безнадежную тяжбу, капеллан не без опаски осведомился:

— Ну, а за что же вы, собственно, отбываете наказание?

— Грабеж, ваше преподобие, небольшой грабеж!

Капеллан облегченно вздохнул: слава тебе, господи,

только грабеж!—и поспешил сообщить начальнику тюрьмы, на каких условиях Шейба прекратил бунт. Начальник выругался. Теперь уже ничего не поделаешь, но рукопожатие капеллана обошлось государству в сто кнедликов в год!

Богослужение прошло в полном порядке, Шейба служил сегодня усерднее, чем обычно.

*

После обедни капеллан и начальник тюрьмы отправились в кабачок.

— Вот что, пан начальник,— сказал капеллан, когда они уселись за столик.— Три гульдена за проповедь все-таки маловато. Постарайтесь, чтобы я получал десять крон, а не то забастую я сам...

А в это время арестант Шейба услаждался кнедликом, добытым с таким трудом; набив рот, он рассказывал своим сотоварищам:

— Да, братцы, всемогущему на меня наплевать, но без кнедлика я не стал бы служить ему.

С тех пор арестант Шейба снискал безграничное уважение восемнадцатой камеры.

ИСТОРИЯ ЖИЗНИ

(Американская юмореска)

Мисс Мери сказала мистеру Вильсону:

— Милый Вильсон, будем откровенны; подумайте только, завтра мы станем супругами! У каждого из нас есть какие-нибудь недостатки. Давайте расскажем друг другу историю своей жизни.

— Мне начинать, не так ли? — спросил мистер Вильсон.

— Начинайте, — ответила мисс Мери, — но только без пропусков.

— Хорошо, — ответил мистер Вильсон, поудобнее откидываясь в кресле и закуривая сигару. — Родился я в Мерьес, в Канаде. Отец мой, милая Мери, был человек хороший и сильный. Он на медведей один на один ходил. Словом, добряк. Так мы тихо и мирно прожили пять лет. И хотя мне тогда было только пять лет, я хорошо помню, что моего отца посадили в тюрьму на десять лет: он делал бизнес как умел. От Мерьес до самых озер нет сколько-нибудь богатого человека, который бы по сей день не вспоминал банду моего отца. Грабя богатых фермеров, он добывал для нас немало денег. Помню, когда мне исполнилось четыре года, он сделал мне приятный сюрприз: взял с собой посмотреть, как они на берегу озера совершат нападение на одного торговца.

«Через год я опять возьму тебя», — пообещал он, но, увы, наша мечта не осуществилась: отец получил десять лет тюрьмы.

Но и тогда он сохранил все свое хладнокровие и сказал на суде после вынесения приговора: «Господа, благодарю вас от имени моих детей. Каждый день я тратил на себя в среднем по два доллара. За год я истратил бы семьсот тридцать долларов, а за десять— семь тысяч триста. Еще раз благодарю вас, господа, от имени моих детей за эти семь тысяч триста долларов, которые достанутся им. Ура!»

После отца хозяйство повела мать. Ей вздумалось покинуть деревню и переселиться в город. Но тут возникли затруднения с продажей нашей усадьбы — мать запросила за нее намного больше ее настоящей стоимости. Тогда она решила ее застраховать. Запасы продуктов мы тайком продали. Мне как раз исполнилось шесть лет, когда мать подозвала меня к себе и сказала:

— Милый мальчик, я думаю, что твой отец будет гордиться тобой. Несмотря на твой юный возраст, ты проявляешь необычайную смысленность и подаешь большие надежды. Скажи, хотел бы ты видеть большой огонь? Знаешь, такой огонь, как если бы загорелся наш дом с пристройками?

— Конечно, мне хотелось бы увидеть нечто подобное,— ответил я.

Тогда моя мать продолжала:

— Ты, кажется, просил поиграть коробок спичек? Вот тебе пять коробков, и, если это тебя позабавит, пойди в сарай и зажги там сноп соломы, но держи крепко язык за зубами, не то отец, как вернется из заключения, убьет тебя, пристрелит, как негра Тори. Понял?

Я поджег всю ферму. Заработали мы на этом больше шестидесяти тысяч долларов. В награду мать купила мне библию в роскошном кожаном переплете, каждый квадратный сантиметр которого ценился в один доллар двадцать пять центов. Торговец утверждал, что это была кожа вождя индейского племени Сиу. Позднее мы узнали, что этот вождь жив, а торговец библиями нас просто надул.

После переезда в Нью-Йорк моя мать не сидела сложа руки. Эта предприимчивая женщина задумала стать владелицей большого цирка, в котором должны были выступить настоящие индейцы.

Она поместила в западных газетах объявление о том, что принимаются на работу в цирке краснокожие приличного вида и с красивыми голосами. Явилось их около тридцати. Случайно среди них оказался и вождь племени Сиу — Годадласко, или проще: Колокольчик, — тот самый, на коже которого нас надул торговец биб-лиями. Это было удивительное совпадение, и моя мать влюбилась в этого краснокожего. И на девятом году жизни у меня появились новые братики-двойняшки, забавные сиу-канадцы с бронзовым оттенком кожи. Мать не могла кормить их грудью, так как Годадласко не пожелал, чтобы его детей вскормила француженка (а моя мать, как известно, была из Канады): дело в том, что французы расстреляли нескольких индейских повстанцев. Кормилицей моих братьев стала негритянка. И случилось, что их отец влюбился в эту негритянку и, когда мне исполнилось девять лет, уехал с нею на Запад, нарушив договор с цирком моей матери. Мать обратилась в суд. Годадласко, или Колокольчик, был арестован и при очной ставке с моей матерью грубо оскорбил ее. Она выхватила револьвер и застрелила его.

Суд присяжных оправдал ее, а наш цирк вскоре стал местом встреч и свиданий для представителей лучшего бруклинского общества в Нью-Йорке.

За пятьдесят центов мать демонстрировала меня в цирке, так как я, девятилетний мальчишка, в дни ее судебного процесса кричал: «Если вы осудите мать, то я перестреляю всех присяжных девятого, десятого и одиннадцатого классов!»

— Ох, — вздохнула мисс Мери, — как я вас уважаю, Вильсон!

— А затем, — продолжал мистер Вильсон, — когда мне было десять лет, я удрал из Бруклина с девятилетней девчонкой, прихватив из дому десять тысяч долларов. Мы отправились вверх по течению реки Гудзон, от фермы к ферме. Шли без остановки, а если и останавливались, то только для того, чтобы посидеть под деревом, обняться и шепнуть друг другу сладкие словечки.

— Ах, дорогой Вильсон! — воскликнула в восторге мисс Мери.

— Несколько парней,— продолжал Вильсон,— заметив в Ольдебэй, как я размениваю сто долларовый банкнот, напали на нас, забрали все деньги, а нас бросили в реку. Девчонка моя утонула: у нее был слишком мягкий череп, и удар молотком оглушил ее. Я же, хотя моя голова тоже была разбита, вылез на берег и к вечеру добрался до какого-то селения; тамошний пастор приютил меня, но я украл все его сбережения и с ближайшей станции отправился в Чикаго...

— Дайте мне вашу руку,— попросила мисс Мери.— Вот так! Как я счастлива, дорогой Вильсон, что вы будете моим супругом!

— Итак,— продолжал Вильсон,— я был предоставлен самому себе. События развивались следующим образом: в десять лет — чистильщик обуви (о подобных случаях вы, конечно, слышали, а в Европе, рассказывая об американской жизни, всегда, между прочим, употребляют выражение: «Он был чистильщиком обуви»). В одиннадцатилетнем возрасте я все еще занимался чисткой обуви, в двенадцать лет тоже, в тринадцать я оказался перед судом присяжных за то, что тяжело ранил своего соперника в любви. Той, которую я любил, было двенадцать лет, и я каждый день чистил ей ботинки. Потом — можете себе представить! — в нее влюбился другой чистильщик обуви с противоположной стороны улицы, четырнадцатилетний юноша. Чтобы погубить меня, он снизил на цент стоимость чистки одной пары. Моя возлюбленная была очень практична и, не желая ежедневно выбрасывать лишний цент, стала ходить к моему сопернику.

Я купил револьвер, так как тот, который я носил при себе с восьми лет, показался мне недостаточно надежным, чтобы убить человека. К сожалению, и новый револьвер не застрелил соперника, а только тяжело ранил...

Поэтому советую вам, милая Мери, никогда не пользоваться револьвером системы «Грайэни»... — со вздохом произнес Вильсон.— На суде выяснилось мое настоящее имя и то, что я три года назад бежал из дому. Я стал героем дня. Газеты писали, что если меня осудят, то это будет как раз такой исключительный случай, когда народ имеет право силой освободить

приговоренного и линчевать присяжных. Я выступил с речью в свою защиту, которую окончил словами: «Гражданин! С ваших губ, возможно, уже готово сорваться слово «да». Что ж, в таком случае я буду осужден. Гражданин! С ваших губ, возможно, готово сорваться и слово «нет»; очень хорошо, тогда меня освободят».

Мое невозмутимое спокойствие не только вызвало всеобщее восхищение, но и заставило суд признать меня невиновным. И присяжные с тех пор чистили башмаки только у меня.

Один издатель в Чикаго выпустил открытки с моей фотографией, а один известный миллионер, который не знал, как потратить в старости свой капитал, пожелал усыновить меня. Я дал свое согласие и переселился к нему.

Но я был слишком свободного воспитания и не позволял ему делать мне замечания; это взволновало его до такой степени, что его хватил удар.

Забрав все, что только мог, я уехал на Запад, в Сан-Франциско, мне шел тогда пятнадцатый год. Я выкрасил свою физиономию в желтый цвет, заказал себе длинную косу и стал выступать в кафешантане как единственный во всех Соединенных Штатах китаец, умеющий правильно исполнять американские песенки.

Мое инкогнито было скоро разоблачено настоящим китаецем, который после выступления заговорил со мной на настоящем китайском языке. В порыве гнева он избил меня до того, что мне пришлось проваляться в больнице более полугода.

Затем, мисс Мери,— небрежно продолжал повествование Вильсон,— после выписки из больницы я нанялся на торговое судно, которое занималось перевозкой контрабанды. Но наше судно подорвали торпедой; я, конечно, тоже взлетел на воздух, однако упал настолько счастливо, что рыбаки выловили меня из воды и высадили на берег. Я очутился на мели в буквальном и переносном смысле — карманы мои были пусты. В то время мне было уже пятнадцать лет. Добрый фермер, который взял меня в пастухи, владел большим стадом. А так как до ближайшего города было всего пять часов ходьбы, мне ничего не стоило в один пре-

красный день согнать туда все стадо в сто двадцать голов скота и продать его торговцу скотом, после чего я сбежал на Восток.

— Дорогой Вильсон! — восхищенно прошептала Мери. — О таком человеке, как вы, я мечтала всю жизнь!..

— Торговал я и оружием среди индейцев, — продолжал мистер Вильсон. — А еще продавал им спирт, библии и молитвенники. В семнадцать лет я стал младшим проповедником одной из сект и пользовался большим уважением среди индейцев. В это время один мой конкурент, проповедник другой секты, проводил более крупные торговые сделки, нежели я, особенно в отношении спирта и виски, и я уговорил индейцев скальпировать его...

— Мой чудный Вильсон!..

— Затем я менял много профессий, в драках убил пять человек...

— Вы убили пять человек? О мой дорогой! — возликовала мисс Мери. — Какой вы милый!..

— Ограбил два банка и, наконец, милая Мери, — закончил мистер Вильсон, — стал совладельцем большого банка «Вильсон и К°» и обладателем такой очаровательной дамы, как вы, мисс Мери Овей, владелица ренты в два миллиона долларов... Теперь рассказывайте вы.

— Что я могу о себе сказать? — ответила мисс Мери. — Только то, что была и осталась богатой. Моя жизнь проходила спокойно, и я всегда мечтала о таком муже, как вы, а не о каком-нибудь обыкновенном человеке. И вот мое желание сбылось. Дайте мне вашу руку... Я полюбила вас с первого взгляда.

Они еще немного поговорили, и мистер Вильсон стал прощаться:

— Итак, завтра в одиннадцать карета, пастор, церковь и — вместе, Мери, навсегда вместе!..

— Исключительный мужчина! — сказала мисс Мери после ухода мистера Вильсона. — Замечательный человек, с ним я переживу много интересного... Что это за книгу он оставил? Она, кажется, выпала у него из кармана.

С уважением подняв с пола книгу, она раскрыла ее и прочла заголовок: «Искусство ошеломлять молодых девиц, чтобы они влюблялись в джентльмена».

— Гм,— разочарованно проговорила мисс Мери.

Открыв первую страницу, она увидела подчеркнутую строку: «На романтический рассказ клюнет любая...»

На следующий день в девять часов утра мистер Вильсон получил длинную телеграмму: «Обманщик! Я навела о вас справки. Вы не совершили ничего замечательного из того, что рассказывали, вы просто обыкновенный сын Чарльза Вильсона, обыкновенного честного гражданина! А у меня сложилось о вас хорошее мнение, мерзавец! Между нами все кончено. Никогда не попадайтесь мне на глаза!»

ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЯ

Одинокий пенсионер Блажей много лет мирно благоденствовал в своем домике, пока не наступили земские выборы. В небольшом провинциальном городке оказалась уйма кандидатов. Чтобы перечислить их всех, я позволю себе прибегнуть к алфавитному порядку: Адам, Билечек, Бэрек, Велиш, Ганс, Гумбал, Жмола, Зайчик, Клабура, Матушек, Обалка, Рыбный, Сикора, Танин, Укршинский, Филин, Ходера, Якеш...

Все эти кандидаты печатали свои воззвания и листовки, приобретали врагов и приверженцев и ожесточенно боролись за голоса. Когда началась избирательная кампания, звонок у дверей Блажея не переставал звонить. Приходили какие-то личности, которых Блажей никогда в глаза не видел (чаще всего одетые в черное), и настойчиво предлагали одну из кандидатур. Один говорил:

— Не подумайте, что я его друг-приятель и агитирую по знакомству.

Другой простодушно сообщал:

— Я от пана Жмолы, сударь. Уж вы подайте голос за него, он вам этого по гроб жизни не забудет.

Приходили люди, которые говорили:

— Окажите ваших милостей...

Другие, наоборот, изъяснялись вполне грамотно, не плевали на ковер и употребляли исключительно негативные обороты речи:

— На свете нет человека достойнее пана Выходила, не извольте голосовать ни за кого другого, сударь.

Другие кратко заверяли:

— Он просто ангел небесный!

От большинства посетителей разило водкой; от тех, что попримичнее, — пивом; от самых приличных — мятными конфетками.

В результате этих посещений из передней исчезли стоячая вешалка с одеждой и половичок, укрепленный на цепочке (вместе с цепочкой). Один из агитирующих за какого-то кандидата между буквами В и У унес с собой — вместе с надеждой — еще и курицу, прихватив ее мимоходом во дворе.

Агитатор одного независимого кандидата был застигнут при попытке взломать платяной шкаф в передней. Он объяснил, что спутал его с входной дверью, и перевел разговор на восхваление своего поильца.

Блажей был совсем подавлен этой бурной предвыборной деятельностью. Он понуро слонялся по комнатам и, услышав звонок, вздрагивал и спешил подкрепиться рюмкой коньяку. Медленно, но верно он становился алкоголиком.

Однажды ему прислали по почте копченый окорок, а на другой день явился какой-то тип и залезил:

— Изволили отведать ветчинки, сударь? Как масло! Тает на языке! А? Пан Ходера знает, как коптить ветчину! И вообще человек он душевный, бескорыстный, патриот в полном смысле слова. За правду — горой! Теперь таких мало! Теперь любой горлопан может пролезть в кандидаты. А пан Ходера выставляет свою кандидатуру только затем, чтобы доказать, что одной глоткой ничего не возьмешь, и лишь настоящая, без громких фраз, патристическая работа...

Еще через день Блажею прислали письмо и бочонок бархатного пива с соседней пивоварни. В письме говорилось:

«Уважаемый сосед!

В эпоху разнообразных девизов позволю себе послать вам и свой девиз: «Пить, как пили чехи в старину, крепко блюсти отцовские обычаи и не давать себя в обиду».

Надеюсь, что вы, милостивый государь, не отдадите свой голос тем, кто хочет извести старый чешский дух».

Подпись гласила: «Независимый кандидат — пивовар Клабура»; а ниже была приписка: «Когда выпьете все, посылайте без церемоний за другим бочонком. Блюстителю старых чешских обычаев должны жить дружно».

Потом Блажей получил несколько анонимных писем и узнал из них, что кандидат Адам — вор, Билечек — бандит, Борек — мошенник, Велиш — шулер, Ганс — развратник, Гумбал — убийца, Жмола — хам и так далее вплоть до буквы «я». Письма приходили целую неделю, и Блажей все чаще спускался в погреб подкрепиться пивом кандидата Клабуры.

В конце недели снова начались визиты. Эти посетители уже не просили, а угрожали. Перепуганный Блажей клятвенно обещал свой голос пятерым кандидатам, а оставшись наедине, с горя опять приналег на пиво.

За месяц до выборов к нему явилась депутация вегетарианского кружка и предложила ему баллотироваться от их организации. В кружке целых двенадцать человек, заявила депутация, и у них есть связи, так что они сумеют поддержать своего кандидата, а ему придется только внести двести крон, и его выберут почетным членом кружка. Блажей напоил депутацию коньяком и выставил за дверь. К вечеру у него началась головная боль, и перед сном он долго щипал себя за нос и твердил приглушенным голосом: «Нос, носа, носу, нос, о носе, с носом...»

Утром он нашел на дверях пять разноцветных плакатов. Блажей прочел их, и ему вдруг захотелось мяукать. Помяукав с полчаса, он содрал плакаты и, дико хохоча, повалился на кушетку. Через часок он выглянул на крыльцо и увидел, что дверь и весь фасад дома залеплены избирательными плакатами. Блажей уставился на них. В глазах у него зарябило, и все плакаты слились в какой-то необыкновенный цвет. Блажей стал подергивать плечами, прищелкивать пальцами и восклицать:

— Вкушайте манну небесную! Щелкает бич возмездия! Лисички-сестрички!..

Потом он заперся в комнате и принялся прыгать через кресла, причем ему казалось, что кто-то кричит в углу: «Крапиве мороз не страшен!»

Раздался звонок. Блажей побежал отворить. Кто-то сунул ему в руки разноцветные бумажки. Это были листовки. Блажей машинально поблагодарил и стал читать: «Твердо полагаясь на неутомимую энергию кандидата Обалки, мы убеждены, что только этот безупречный человек способен отстоять наши интересы...»

Через четверть часа новый звонок—и снова листовки: «Избиратели! Те из вас, которые сумеют полностью оценить энергию кандидата Танина, отдадут свои голоса только ему...»

Чтение прервал звонок. На этот раз зеленые листки: «Милостивый государь! Вы безусловно принадлежите к лучшим сынам нашей родины и желаете ей процветания. Деятелем, который неутомимо и упорно работает на этом поприще, является кандидат Укршинский...»

Блажей с ужасом обнаружил, что все три листовки от имени членов клуба избирателей подписал он сам!

Разразившись судорожным смехом, он открыл клетку и выпустил на свободу свою канарейку. После этого человеколюбивого поступка он зарядил револьвер и всадил пулю в портрет своего бывшего начальника, приговаривая:

— Эне, бене, раба, квинтер-финтер, жаба...

Затем Блажей лег на пол и крепко заснул. Чуть свет он вскочил и выглянул на улицу. Домик был сплошь залеплен плакатами. Через них тянулась намалеванная чернилами надпись:

«Голосуйте за Билечека. Клабура — жулик».

Блажей пустился в пляс. Он трижды проплясал вокруг дома. Плакаты начали ему нравиться. Недолго думая, он взял кисть, обмакнул ее в чернила и вывел крупными буквами через все плакаты: «Здесь разрешается расклеивать плакаты». Затем он оделся и отправился в город. Там он навестил кандидатов Якеша, Адама, Билечека, Клабуру, Матушека, Обалку, Ходеру, Укршинского, Велиша и заверил каждого, что будет голосовать только за него. По дороге Блажей зашел в муниципалитет и попросил включить в списки избирателей

своего покойного дедушку. Блажея вывели из ратуши весьма деликатно — поскольку кандидат муниципалитета рассчитывал на его голос — и объяснили, что это было бы не совсем удобно.

Вернувшись домой, Блажей несказанно обрадовался, увидев, что плакаты наклеены кое-где даже на окна. Он яростно оплевал те окна, на которых не было плакатов.

Под двери было подсунуто множество листовок и воззваний: «Отдайте свой голос тем, кто без громких лозунгов и заманчивых обещаний...»

Это окончательно развеселило Блажея. Он бросился обнимать свою старую служанку и обещал жениться на ней; затем уселся у двери и целый день ничего не ел, с веселым лицом принимая листовки. К вечеру Блажей перечитал их все до единой, разделся догола, натянул трусики и с замирающим сердцем стал ждать утра. Утром он появился в таком виде на городском базаре, вопя истошным голосом:

— Адам, Билечек, Борек, Велиш, Ганс, Укршинский, Филин, Ходера, Якеш!..

Это были имена кандидатов, которые довели его до столь прискорбного состояния. Да простит им бог!..

«УМЕР МАЧЕК, УМЕР...»

(Очерк из Галиции)

Не было в округе Латувки другого такого страстного плясуна, как Мачек. Ах, как он отплясывал мазурку, и подскакивал, и притопывал, а кунтуш распахнут, а очи горят!

Как раз по нему была песня Мазурского края *:

Ходит Мачек, ходит, под полою фляжка,
Вы ему сыграйте — он еще попляшет,
У Мазуры та натура —
Мертвый встанет, плясать станет...

Вот такая же «натура» была и у Мачека. Пусть он как угодно пьян, пусть сидит в корчме куль-кулем и только бормочет: «Святой боже, прости меня», — но дайте ему услышать музыку, сыграйте ему, и он еще попляшет. Да как! И подскакивать начнет, и притопывать, и кунтуш распахнет, и очи вспыхнут... Но стоит перестать играть — и...

Тогда достаточно тому же дядюшке Влодеку подойти да тихонько толкнуть его со словами: «Хорошо пляшешь, Мачек», — и Мачек свалится наземь. Но попробуйте заиграть снова — ой-ой, опять пойдет плясать Мачек, пока звенит музыка.

Дальше в той песне поется:

Умер Мачек, умер, на столе, бедняжка,
Вы ему сыграйте — он еще попляшет...

И по этой причине многие латувчане думали, что если б и умер их сосед Мачек и уже лежал бы на столе, то стоило бы только сыграть ему, как он пустился бы в пляс.

Особенно настаивал на таком мнении дядюшка Влодек, однако, увы, не успел убедиться в своей правоте, поскольку сам вскоре умер: задавило его бревном, скатившимся с горы.

Впрочем, по утверждению другого латувчанина, музыка, под которую плясали крестьяне в Латувке, в Смерши и в Богатуве, так грохочет, что способна пробудить и мертвого. На беду свою этим он оскорбил мнение большинства, и его скинули в ручей, из которого он кричал:

— Братцы, бывал я в Станиславове и во Львове бывал, слышал оркестры, они так играли, как орган в праздник тела господня, и танцы играли, понятно?

Ему следовало все-таки уважать мнение большинства, а это мнение о латувской музыке было высокое, потому что латувская музыка казалась им самой лучшей.

Четверо самых почтенных граждан в Латувке с незапамятных времен играли по корчмам, и сыновья этих четырех самых почтенных граждан с почтением наследовали привилегию играть танцы, и их сыновья, в свою очередь, заняли их место, и музыка была все той же, громкой и бурной, и такой же прекрасной, как тогда, когда ее играли их отцы.

Она была особенно выразительной оттого, что когда притопывали танцоры, притопывали и музыканты, и казалось, сама музыка притопывает; и когда подскакивали танцоры, подскакивали и музыканты, и когда танцоры дрались, то и музыканты вмешивались в свалку.

От такой музыки самые некрасивые девушки — из самой ли Латувки, или из Смерши, или из Богатува — казались красавицами, и самый плохой танцор огненно и красно отплясывал мазурку, и если кто оттапывал соседу ноги своими высокими сапогами, то музыка была так хороша, что потерпевший забывал и о боли и об отплате.

И нередко музыка выманивала всех из корчмы на майдан, потому что и музыканты наяривали все громче, все быстрее, и вот уже сами вскакивали и пуска-

лись в пляс, не переставая играть, и вываливались из дверей, и плясали на дворе, и со двора выскакивали, и плясали, и играли, пока не доплясывали до майдана, и там взвивалась пыль и разбрызгивалась грязь из луж, а напротив, из окон плебании, смотрел на них пан плебан, пока веселье не заражало и его, и он скрывался в своей библиотеке, где хранились святые книги, и там плясал и притопывал в одиночестве.

А тот, высокий, впереди, подскакивавший выше всех и притопывавший громче всех, — это и был Мачек.

Все ходило колесом: майдан, деревья, избы под соломой; шпиль костела, казалось, тоже пустился в пляс, а уста Мачека без устали повторяли:

Ходит Мачек, ходит, под полою флажка..

И он все плясал, и топал, и пел: «Ой, дана-дана, ой дана-дана-дан!»

Но плясал Мачек один, потому что несколько лет назад вышел у него неприятный случай с одной девушкой.

Он взял ее плясать с собой и плясал с такой страстью, что не заметил, как девушка уже спотыкается; а он тащил ее, и подкидывал, и не слышал криков: «Перестань, опомнись!» Он выбежал во двор, со двора на майдан, таща ее за собой, и все плясал и прыгал; наконец музыка смолкла, и он остановился.

— Зоя, что с тобой? — удивленно спросил он, потому что бедняжка выскользнула из его объятий и упала на землю, да и как могло быть иначе, если она сомлела?

С тех пор ни одна девушка не хотела плясать с ним, но он плясал и без них, плясал один, и страсть его все разгоралась.

В пору танцев он ходил по округе, водил с собой латувских музыкантов, платил им, заказывал танцы, пил с ними, и вот случилось, что в один прекрасный день отправился он в плебанию и имел с паном плебаном такой разговор.

— Вельможный пан, — грустно сказал он, протягивая ксендзу три рейнские монеты, — отслужите, пожалуйста, за меня святую мессу.

— Почему, Мачек?

— Плохо дело, вельможный пан; покойный отец раздел о хозяйстве, взял усадьбу за покойницей матушкой, а моя душа во власти дьявола.

— Как так, Мачек?

— Отслужите за меня святую мессу, помолитесь за меня божьей матери, чтобы бросил я танцы, а то ведь разорился совсем, плачу музыкантам, хожу с ними, пью, и дьявол подстерегает душу Мачека.

Сказал тогда пан плебан:

— Танцы — грешное дело, хотя менее грешное, если плясать в меру, но если плясать, как ты пляшешь, то это смертный грех.

— Если не брошу я этого, вельможный пан, то скоро продадут мою усадьбу, так что прошу я вас, помолитесь за меня, чертов я человек!

Хотя в Латувке трех золотых считалось мало за мессу, все же пан плебан горячо молился за душу Мачека в ближайшее воскресенье. Мачек был в костеле и повторял все молитвы за себя; органист заиграл на малом органе, и Мачек перестал молиться, потому что стал грешным образом думать, как бы можно сплясать под эту музыку.

А как вышел из костела, вздохнул и сказал:

— Чертов я человек!

И пошел в Богатув, где с полудня плясали.

Через два дня он снова явился к ксендзу и сказал:

— Вельможный пан, вот вам четыре рейнские монеты, отслужите святую мессу за Мачека, еврей уже хочет продать мою усадьбу.

В воскресенье он опять был в костеле, а после полудня пан плебан с удивлением увидел Мачека, пляшущего со всей музыкой на майдане.

Он плясал перед плебанией, и ксендз слышал его выкрики:

— Чертов я человек!

Потом Мачек запел во все горло:

Ходит Мачек, ходит, под полою фляжка,
Вы ему сыграйте, он еще попляшет,
У Мазуры...

— ...та натура,— подхватил плебан и пошел прихотывать в своей библиотеке среди книг о святых отцах...

Через три недели почтенный Барем продал усадьбу Мачека и вручил ему пятнадцать золотых.

С этими пятнадцатью золотыми Мачек отправился в Смершу и пил там двое суток, поджидая латувских музыкантов.

Он их дождался. Латувчане пришли и увидели Мачека.

— Гляди-ка,— сказали они,— проплясал все имение, а ничуть не изменился, сидит пьяный, молчит и ждет, когда мы заиграем.

Едва раздались первые оглушительные звуки, Мачек вскочил, хлопнул себя по голенищам, забил в ладоши и пустился плясать, как и прежде, когда еще были у него изба, поле, коровы и работник, который обворовывал его и поколачивал, когда Мачек пьяный возвращался домой.

Он плясал, плясал...

Подскакивал, притопывал, покрикивал властно:

— А ну поддай! Еще поддай! Еще раз, давай!

И, гляди, уже бросает музыкантам последние монеты.

Прыгает, скачет и, танцуя, подносит выпить музыкантам, кричит:

— Помните, соседи, жив еще Мачек!

Соседи? Не соседи они ему больше. Да не все ли равно...

Ходит Мачек, ходит, под полою фляжка,
Вы ему сыграйте, он еще попляшет...
У Мазуры...

— Эй! Еще раз! — И скачет и поет Мачек: «Ой дана-дана, ой дана-дана-дан!»

Все пошло колесом. Смершанский корчмарь-христианин, музыканты, крестьяне, потолочные балки и стены, святые образки в углу, и белые двери, и цветные кунтуши — все слилось в какой-то неопределенный цвет.

Мачек в плясе вышел из дверей, быстро, как в беге, в плясе прошел по деревне, и у последней избы все вдруг закружилось перед ним: плетни, тучи на небе,

гусята на лугу, и Мачек свалился, в последний раз хлопнув себя по коленям...

Сбежались крестьяне, прибежали музыканты, дети столпились вокруг.

— Мачек, ой, Мачек, вставай!

Стали поднимать — упал. Расстегнули кунтуш. Сердце не бьется, и сильная рука странно быстро холодеет.

В тот день не плясали больше в Смерши. Мачека отвезли на телеге домой, а Барем был так добр, что позволил положить его на кровать в доме, который больше ему не принадлежал.

Умер Мачек, умер! Пришел цирюльник (доктор был далеко, в городе), с важным видом сказал:

— Умер, начисто умер...

Отвезли его в покойницкую на латувском погосте, мимо которого бедный Мачек хаживал плясать в Богатув.

Обрядили его, покрыли саваном и положили в дощатый гроб. И оставили на ночь.

*

После этого несчастного происшествия латувские музыканты не стали играть в Смерши, а в тот же день отправились в Богатув. Масленица на дворе — пусть же будет весело! Играли до позднего часа и ночью побрели домой.

Идут по дороге, разговаривают:

— Жалко Мачека — сколько раз платил нам! Эх, жаль парня.

Шли они, шли и подошли к погосту.

— Братцы, — сказал тут старший из них, Мартин. — Что-то грустно мне, давайте сыграем «с прискоком»? А были они как раз возле покойницкой.

— Эх, что ж, сыграем!

И в тихой, торжественной ночи зазвучала громкая музыка, и такая она была ярая да буйная, что и не слышали музыканты, как в покойницкой что-то затрещало, закрипело...

Вдруг мелькнуло что-то перед ними; тут и бежать бы музыкантам, а они все играют, и волосы у них от ужаса дыбом поднимаются.

По дороге к ним скачет Мачек в саване, хлопает себя по голым ногам, поет:

Умер Мачек, умер, на столе, бедняжка,
Вы ему сыграйте, он еще попляшет...

Когда Мартин, старший из музыкантов, рассказывает об этом, он всякий раз божится, что Мачек потом вдруг упал и закричал: «Ой, плохо мне, братцы!» — а они все играли ему, но он так и не поднялся больше и умер уже по-настоящему.

История, правда, загадочная, но люди в тех краях лгут редко; во всяком случае, можно им поверить, что «умер Мачек, умер» — тот самый Мачек, который проплясал свое хозяйство в Латувке, где и произошел этот странный случай...

КАТАСТРОФА НА ШАХТЕ

I

Нет ничего удивительного, что госпожа Сталлова решила устроить благотворительный вечер в пользу семейств, чьи кормильцы погибли в шахте, принадлежащей ее мужу. Госпожа Мюле просто лопнет от злости, что вода не затопила какой-нибудь шахты у господина Мюле: тогда благотворительный вечер устраивала бы она. Чтобы заткнуть госпоже Мюле рот, госпожа Сталлова включит ее в состав комитета или поручит ей продавать цветы. Впрочем, нет, это она предоставит своей дочери, да так роскошно нарядит ее, что все дамы будут завидовать.

Госпоже Сталловой было досадно, что погибло только четыре шахтера: ах, какой бы это был праздник, кабы катастрофа оказалась покрупней. Но и то хорошо: благодарение создателю и за четыре осиротевшие семьи.

Самое главное — роскошное платье. Госпожа Сталлова должна быть одета, как полагается патронессе. Она сошьет себе платье в Вене. Потом надо заказать мигреневых карандашей: ведь будет масса народу. Хорошо, что она все помнит. Собрание состоится у них в доме. Для участниц вечера можно будет организовать домашний бал. И еще прекрасная мысль: после торжества — небольшой банкет для господ и дам из комитета. И не забыть позвать управляющего шахтами. Но почему, собственно, *небольшой банкет*? Еще, чего доброго, иные приятельницы станут морщить нос. Нет, она устроит

банкет на славу, чтобы о нем говорили с завистью. Конечно, все это будет стоить денег, но она поговорит с мужем: пускай попробует повесить цены на уголь.

И госпожа Сталлова поговорила с мужем.

— Ну, конечно, дорогая,— с улыбкой сказал господин Сталл,— если б даже твое платье стоило тысячу крон, ты его получишь. Должны же мы что-нибудь сделать для этих несчастных.

II

Итак, погибли четыре шахтера. Жены и дети их три дня и три ночи не отходили от шахты, пока оттуда не извлекли распухшие тела... Через десять минут шахтеры должны были, поднявшись из шахты, вернуться домой, к семьям, но вдруг прорвалась вода. Они погибли в этих страшных лабиринтах, мрачных и потных, как погибают мыши, когда вода затопит их подземные норы на лугу.

Они утонули в то время, когда жены готовили им ужин. Когда их подняли из шахты, жены и дети не плакали. У них не было слез. Они выплакали все свои слезы за эти бесконечные три дня надежд и отчаяния. Но у стоявших рядом навертывались слезы на глаза.

Жена одного погибшего протиснулась сквозь толпу.

— Франтишек, наш Карел говорит уже «папа», «мама».

Она держала на руках мальчугана, с удивлением смотревшего на прикрытые полотном тела. Вдруг он, указывая ручкой на одно из них, радостно вскрикнул:

— Папа, папа!

Тут пришел жандармский вахмистр и увел их.

— Не быть здесь,— сказал он.— Вы идти томой, вы ему не помогайт.

Жандармы! Когда на шахтах случаются катастрофы, туда для успокоения живых всегда посылают жандармов. А если катастрофа большая, так солдат. Служебные телеграммы, как правило, составляются очень лаконично: «Погибло восемьдесят человек, вышлите две роты». Значит, на одного мертвеца два солдата. На этот раз порядок устанавливали сорок четыре жандарма. Вахмистр

зевал от скуки. Он ожидал скопления народа, угрожающих выкриков и был разочарован. Последнюю надежду он возлагал на похороны.

III

А разве духовное утешение ничего не значит? Приходский священник решил утешить осиротевшие семьи. Но какой священник в онемеченном крае знает чешский язык? Да если б и знал? Что его утешение может дать такой семье? Она нищая. К тому же покойники были социалистами.

Решили послать капеллана-чеха.

Капеллан был недоволен. Он считал такого рода утешения комедией. Ну какая же это помощь? Надо притворяться? Нет, он не пойдет. Он не сможет говорить от души. Лучше послать младшего капеллана. Этот до сих пор ко всему относится серьезно.

И вот среди дня, через два часа после того, как мертвых извлекли из шахты, младший капеллан постучал в дом одной вдовы. Поздоровался, сел. Он чувствовал искреннее сострадание, поэтому минуту молчал.

— Бог дал, бог и взял,— заговорил он наконец.— Да будет благословенно имя его.

Вдова сидела на постели и плакала. Капеллан почувствовал себя уверенней.

— Чем помогут вам слезы, моя милая? Нынче человек жив, а завтра, глядишь, помер. Как счастливы и предусмотрительны люди, которые в жизни стараются быть такими, какими хотят стать после смерти!

Капеллан воодушевился. Пять сироток смотрели на него с удивлением. Он погладил того, что поближе, и с энтузиазмом продолжал:

— Человек не может рассчитывать ни на друзей, ни на близких, он не должен откладывать свое спасение на будущее, ибо люди забывают о нас скорей, чем мы думаем.

— Его никогда не забудут,— заметила вдова.

Капеллан сделал нервный жест рукой. Зачем перебивают?

— С глаз долой — из сердца вон, — сказал он выразительно. — Сердце человеческое так тупо и бесчувственно, что думает только о сегодняшнем дне и не заглядывает в будущее. А надо обдумывать каждый свой поступок, следить за каждой своей мыслью, как если б нам нынче же предстояло умереть. Если б у людей была более чуткая совесть, им не приходилось бы так бояться смерти. Чем так бояться ее, лучше не грешить. А ежели ты нынче к ней не готов, так будешь ли готов завтра? Как можно быть уверенным в завтрашнем дне? Ведь ты даже не знаешь, доживешь ли до него.

Капеллан воодушевился еще больше. Он встал с лавки и загремел:

— Какой смысл долго жить, если мы почти не исправляемся? Ах, долгая жизнь не всегда исправляет человека, а, наоборот, часто только умножает его вины.

Он ударил кулаком по столу, как по кафедре.

— Ах, если б мы хоть один день прожили добродетельно на этом свете! Но нет, мы...

Он так раскричался, что на улице начали останавливаться прохожие.

— Мы не исправляемся. Если страшно умирать, так еще страшней жить в грехах. Благословен тот, кто постоянно думает о смертном часе своем и ежедневно готовится к нему. Будь всегда наготове, чтобы смерть не застала тебя врасплох. Когда придет твой последний час, ты взглянешь другими глазами на свою прошлую жизнь, и овладеет тобой раскаяние, что ты относился с таким небрежением к добру. А потому горе тем, кто не думает о смерти...

Капеллан взял свою шляпу и вышел в сердцах.

За дверью стоял народ.

— Бедная вдова, ваше преподобие, — промолвил кто-то. — Не знает, что завтра с детьми есть будет.

— Я позабочусь, чтобы тело окропили бесплатно, — ответил сострадательный капеллан и удалился с мыслью, что выполнил свой долг, навестив вдову. Остальных трех вдов он уже не пошел утешать: у него и от первого утешения в горле пересохло.

Похороны прошли спокойно. Вахмистр был разочарован. Через две недели состоялся торжественный вечер в пользу вдов шахтеров, под покровительством госпожи Сталловой.

Платье обошлось ей в тысячу двести крон. Играла военная музыка — это стоило триста крон. Потом банкет — пятьсот крон. Триста да пятьсот выходит восемьсот. Чрезвычайные расходы — фейерверк и так далее — составили восемьдесят крон. Итого восемьсот восемьдесят крон. В кассу комитета поступило девятьсот две кроны. Таким образом, чистая выручка составила двадцать две кроны, каковую сумму господин окружной начальник разделил поровну между четырьмя вдовами. Каждая получила за погибшего мужа пять крон пятьдесят геллеров. Так сказать, из рук в руки: вот вам, пожалуйста, труп, а вот пять крон пятьдесят геллеров.

ИДИЛЛИЯ В АДУ

Черт Адольф работал у котла номер 28, в котором варились души грешников. Он покуривал коротенькую трубочку, прихлебывал черное баварское пиво и тихим голосом напевал: «Бай, детка, бай». Вдруг слышит он, кто-то жалобно кричит в котле:

— Пожалуйста, выпустите меня!

Черт Адольф довольно захохотал и подбросил в огонь несколько книг набожного содержания. Крики и вопли стали громче, что очень забавляло черта Адольфа. Он еще сильнее вздул огонь под котлом, чтоб повысить давление и температуру, а сам все мурлыкал нежно: «Бай, детка, бай». Душа в котле начала ужасно вопить и плакать:

— Ах, я сойду с ума, если меня не выпустят!

Подошли на шум еще несколько чертей. Черт Рудольф сказал:

— Спроси-ка, Адольф, как зовут этого крикуна.

— Эй, душенька! — закричал Адольф. — Как вас зовут?

— Я корреспондент газеты «Нейе Фрейе Прессе» *, — отозвался голос из котла. — Дайте мне только выбраться отсюда, я про вас такое напишу, что чертям тошно станет! Сейчас же выпустите меня, я желаю говорить с главным истопником.

Черти разразились смехом:

— Ох, и наивная же душа, воображает, что выберется отсюда!

— Миленьякая,— сказал черт Адольф,— а зачем вам, душечка, говорить с главным истопником?

— Потому что мое место не в котле, а среди вас, уважаемые господа. Вероятно, перепутали списки. Когда небесная полиция вела меня сюда, заглянули мы по дороге в чистилище, и тамошний шинкарь угостил нас вином урожая шеститысячного года до рождения Христа. Конвоиры мои перепились и наврали в списках. Записали меня в души вместо истопников. Но правда всегда всплывает, как масло на воде.

— Пословицами нас не проймешь, братец,— заявил черт Рудольф.— Но если ты утверждаешь, что вкралась ошибка, мы позовем главного истопника. Вылезай!

И душа под свист пара вылезла из котла. Она была вся потная, с языком на плече. Черт Адольф подал ей кружку пива, душа выпила и села в круг чертей.

— Стало быть, вы служили на земле корреспондентом «Нейе Фрейе Прессе»,— переспросил один черт.— Какой симпатичный!

— Видите ли, приятель,— сказал черт Адольф,— главный истопник имел на земле сходную работенку. Этот черт с тремя звездочками был директором императорско-королевского ведомства печати. Что же вы нам раньше не сказали?

— Да ведь говорил я вам, опоили меня в чистилище. И когда меня бросили в котел, я думал, так и надо. Нет ли у вас покурить?

— Мы курим табак из сушеных полицейских комиссаров, друг мой,— заметил черт Рудольф, подавая ему сигарету.— Крепкий табачок. С течением вечности вы тоже научитесь сушить их. Приятное занятие: вы комиссара сушите, а он в это время рассказывает вам анекдоты о себе. А, вот и главный истопник.

Действительно! К ним приближался бывший директор императорско-королевского ведомства печати, старший черт Рихард. Он мало изменился за время пребывания в аду. И улыбался все так же сладко, как на земле, когда передавал в газеты официальные сообщения. Увидев бывшего корреспондента «Нейе Фрейе Прессе», он кинулся ему на шею.

— Господа! — сказал он удивленным чертям.— Прошу этого господина любить и жаловать, потому что с ним не сравнится никакой бандит и разбойник.

Черт Рудольф покраснел. А бывший директор ведомства печати продолжал:

— Этот господин убил сотни людей. К примеру, произошла в Праге маленькая демонстрация — надо вам было читать после этого его заметку в «Нее Фрее Прессе»! Он писал, что в Праге революция, вырезано пятьсот немецких семей. Хороший был человек.

Теперь бывший корреспондент «Нее Фрее Прессе» поддерживает огонь под грешными чешскими душами в котле номер 1620*.

ЮБИЛЕЙ СЛУЖАНКИ АННЫ

Председательница Общества покровительства домашней прислуге, супруга советника, пани Краусова, готовила к завтрашнему заседанию поздравительную речь.

У секретаря общества советницы Тиховой работает служанка Анна, прожившая в этой семье пятьдесят лет и воспитавшая за это время два поколения. Завтра она будет праздновать пятидесятилетний юбилей своей верной службы. Анне уже семьдесят пять лет, она всегда была нравственна и никогда не лакобилась тайком.

Завтра ей предстоит получить от общества золотой крестик, золотую монету в десять крон, чашку шоколада и два пирожных. Но это еще не все. Она выслушает речь пани Краусовой, а от своей хозяйки получит в подарок новенький молитвенник.

Советница простить себе не может, что взяла на себя такую обузу. Надо же утруждать свой мозг ради какой-то прислуги! Уже исписана кипа бумаги, а речь не получается.

Пани Краусова походила по комнате, размышляя, о чем же ей говорить. Ведь не о том, что теперь все служанки организуются в профсоюз и добиваются выходного дня и ужина за счет хозяев? Ну и времена наступили, с ума сойдешь! Раньше всегда было можно вlepить служанке затрецину и вышвырнуть ее на улицу, а теперь она за это, пожалуй, притянет тебя к суду. Пани советница села за письменный стол и потеряла виски мигреневым карандашом.

Взять хоть ее служанку. Эта бестолочь завела себе кавалера, который снабжает ее книгами. Нахалка, смеет заниматься самообразованием!

Эти мысли настолько расстроили советницу, что пришлось снова обратиться к помощи мигренового карандаша.

«Только нервничаешь понапрасну, вместо того чтобы обдумывать речь. Ведь уже сколько раз она выступала в обществе покровительства служанкам!.. Хотелось бы на этот раз сказать что-то новое, но, видно, придется опять начать с господ бога. Бог — это как раз то, что нужно служанкам.

Молись и трудись! Ах, если бы она могла сказать это по-латыни! Надо будет спросить у мужа, как только он придет домой... Конечно, так она и начнет свою речь: «Молись и трудись!»

Пани Краусова присела за стол, и перо ее забегало по бумаге:

«Молись и трудись! Какая прекрасная мысль! Без молитвы нельзя успешно трудиться, быть честным, и вот... наша юбилярша — воплощение этой истины. Пятьдесят лет она усердно работала и молилась, и за это всевышний провел ее через все жизненные преграды к благой цели. Сегодня она отмечает свой пятидесятилетний юбилей — юбилей неустанного труда. Ее ждет немалая награда как на небе, так и на земле» (там — царство небесное, а здесь — золотой крестик, золотая монета в десять крон, чашка шоколада и два пирожных).

«Молись и трудись!

Наша юбилярша Анна работала пятьдесят лет и теперь видит плоды своего усердия» (золотая монета в десять крон равняется пятистам крейцерам, итого за каждый год самоотверженного труда — десять крейцеров).

Пятьдесят лет она усердно молилась господу богу, никогда не танцевала, не посещала театра, не читала плохих книг. Она знала только свой молитвенник, который учил ее почитать и любить своих хозяев, беспрекословно повиноваться им, и все эти пятьдесят лет молитвенник направлял ее к единой цели: молись и трудись! Она сэкономила каждый хозяйский грош, она ни разу не выплеснула вместе с помоями хозяйских ложек, не обольщала себя напрасными надеждами, не дружила с чужими

служанками, избегала лишних разговоров, не сплетничала про своих господ, а молитвы охраняли ее от желания полакомиться втихомолку.

Милостивые государыни, взгляните на эту старушку! Она была убеждена в пользе смирения, подавляла в себе все злые побуждения, была по-настоящему набожна, молчалива, кротка и, наверное, часто задумывалась о том, сколь жалок человек, и в свободное время размышляла о смерти, о судном дне и о воздаянии за грехи. Перед сном она усердно молила бога, чтобы он направил ее на истинный путь.

Покорной и смиренной видели ее два поколения в славной семье коммерции советника Тихого. Чистая сердцем и помыслами, она была благодарна за каждый кусок, полученный от добрых хозяев, и всегда целовала щедрую руку своей госпожи или своего господина в знак глубокой благодарности. Такой она была целых пятьдесят лет. За всю жизнь она ничего не украла и свято берегла доверенное ей.

Так она трудится за пять гульденов в месяц, откладывая эти деньги,— за исключением того, что она тратит на свой ужин,— для поездок на Святую Гору, куда с милостивого разрешения хозяев ездит ежегодно. И оттуда она еще привозит своим господам подарки, свидетельствующие о чистоте ее души.

Она сама говорит, что не надо ей ни еды, ни питья, только дайте ей неустанно возносить хвалу нашему небесному творцу,— тогда она была бы куда счастливее, чем сегодня, когда ей приходится заботиться и о бременном своем теле».

Советница сделала передышку и углубилась в раздумье. Как замечательно прозвучит все это завтра! О ее выступлении несомненно будет заметка в католической газете. Потом она издаст свою речь брошюрой под заглавием «Обращение к служанкам». Быть может, тогда они перестанут выплескивать в уборные хозяйские ложки, если вспомнят об ангельском житии юбилярши.

Тут вошла служанка.

— Пани советница Тихова,— доложила она.

И тотчас в комнату вкатилась благоухающая пани Тихова и со слезами бросилась в объятия своей председательницы.

— Представьте, какой скандал! — всхлипнула пани Тихова.— Наша юбилярша только что скончалась!

Потом она осушила слезы и продолжала с нескрываемой злобой:

— Вчера вечером я послала ее в подвал за углем. Сами понимаете, старуху в семьдесят пять лет жаль выкинуть на улицу, но раз я тебя кормлю, изволь работать! Так она, мерзавка, упала с мешком угля в подвал с высокой лестницы и так разбилась, что не дожила до утра. И ведь надо же, как раз перед нашим торжеством! Представьте себе, какой скандал... А я-то заказала себе чудесное платье для юбилея... Похороны обойдутся мне по меньшей мере в тридцать гульденов, а у покойницы на книжке только двадцать пять.

Пани советница Краусова опять потеряла виски мигреневым карандашом. Сокрушенно взглянув на исписанные листки, она сказала со вздохом:

— Похоже, что она нарочно это подстроила!

ИСТОРИЯ ПОРОСЕНКА КСАВЕРА

Поросенка Ксавера кормили мелассовыми кормами. Имя Ксавер дал ему управляющий имением в честь государственного советника профессора Ксавера Кельнера из Меккера, крупнейшего авторитета в области науки о кормах, которому принадлежит следующий блестящий афоризм: «Ввиду того, что меласса, по моим всесторонним наблюдениям, производит такое великолепное действие, ни один вид корма не заслуживает такого внимания, как это домашнее средство».

Поросенку Ксаверу меласса шла на пользу. Он толстел с каждым днем и философствовал в своем роскошном хлеву о жизненных наслаждениях, копаясь рылом в мелассовом корму и запивая еду отличным молоком. Время от времени его навещал владелец, граф Рамм, и говорил ему:

— Вы поедете на выставку, мой мальчик. Будьте умником, кушайте как следует, не осрамите меня!

Иногда заходила графиня.

— Ах, какой он большой и красивый — мой милый Ксавер! — с сияющим взором восклицала она.

На прощание оба говорили:

— Доброй ночи, дружок! Спите спокойно...

А поросенок Ксавер нежно жмурил глазки вслед уходящим и так мелодично хрюкал, что графиня говорила супругу:

— Слушая нашего Ксавера, я начинаю верить в переселение душ.

Заходили к нему и гости хозяев. Они выражали по-французски, по-немецки, по-английски свой восторг перед почтенным поросенком, фотографировали его себе на память.

Он был розовый, как только что выкупанный младенец, и на шее у него красовалась кокетливо повязанная огромная бархатная лента.

— Ваш Ксавер, милый граф, несомненно получит на выставке первую премию,— предрекали джентльмены, аристократы, друзья графа.

Нежный супруг преподнес Ксавера графине в числе других подарков в день ее рождения. Так что Ксавер принадлежал теперь только ей, безраздельно и неотъемлемо ей одной. И граф был обязан поросенку таким пламенным поцелуем, словно это был не толстый, мирный, флегматичный поросенок, а красивая дикая свинья.

Как только Ксавер перешел в собственность графини, были приняты еще более строгие меры к охране его здоровья. Его перевели в особое помещение с проверенной системой вентиляции, обеспечивающей идеальную чистоту воздуха. Он имел свою ванную, свой ватерклозет, отделанный со вкусом, свойственным всему графскому роду. Всюду были развешаны термометры, и приказчик Мартин получил указание измерять температуру воды и молока, предназначенных для Ксавера,— строго следя, чтобы уровень ее ни в коем случае не отклонялся от предписанного ветеринаром. Как же можно было допустить, чтобы столь хрупкое существо простудило желудок? Ведь от этого у него мог бы начаться хронический катар, бедняжка приобрел бы жалкий вид, и графине пришлось бы плакать.

Поэтому приказчик Мартин тщательно следил за температурой питья, заставляя по мере надобности охлаждать либо подогревать его.

В конце концов поросенку провели электрическое освещение и приучили его спать на волосяных матрацах,— разумеется, дезинфицированных. Поросенок Ксавер принимал все это благосклонно и день ото дня толстел.

Как-то раз графиня пришла с супругом навестить своего любимца. Ксавер как раз пил прекрасную воду, взятую из колодца, бактериологический анализ которой дал

ноль процентов содержания вредных бактерий, тогда как химический обнаружил некоторое количество полезной для здоровья окиси железа в соединении с углекислотой (столь необходимой для свиней).

Граф, по обыкновению, опустил в воду термометр и — не поверил глазам своим! Температура вместо предписанных 8° С достигала лишь 7,5. Графиня побледнела. Не может быть! Неужели этот негодный приказчик не измерил температуру?

Соединенными усилиями графу и графине удалось оттащить Ксавера от воды. Они растолковали ему, что он может простудить себе внутренности. Потом закрыли сосуд крышкой и вне себя кинулись на квартиру к приказчику.

— Ты измерял температуру воды для Ксавера, бездельник? — загремел граф.

Мартин показал на постель у окна.

— Сынишка мой очень болен, ваша милость. Жар у него. Я забежал домой попить его.

— Э-э, я тебя спрашиваю: ты мерил температуру воды для Ксавера?

— Забыл, ваша милость. Мальчик разболелся. Пить я ему даю. Голова кругом...

— Что?! — закричал в бешенстве граф.— Так-то ты относишься к своим обязанностям? Я тебе уже не хозяин, мерзавец? Делаешь, что хочешь? Сейчас же собирай свои вещи. Ты у меня больше не служишь. До вечера чтоб духу твоего здесь не было! А не то я велю тебя отсюда выбросить вместе с мальчишкой.

— Ах, эта черны! — поддержала графиня.

В тот же день приказчик Мартин зарезал Ксавера. Срочно вызванный ветеринар мог только констатировать смерть. Графиня чуть не помешалась от горя и долго лежала без чувств. Приказчика Мартина связали жандармы; больной сын убийцы был выброшен из усадьбы.

В газетах появилось сообщение: «Зверская жестокость. Приказчик известного аристократа графа Рамма, Мартин, был уволен за нерадивость. Из мести он зарезал ценный экземпляр породистой свиньи. Изверг отдан под суд. По слухам, он не признает никакой религии. Ес-

ли это подтвердится — вот лишнее доказательство того, что, кто не верит в бога, тот способен на самые ужасные поступки».

Три месяца пробыл Мартин в предварительном заключении. На допросах он упорствовал, в тюремную часовню не ходил. Во время следствия обнаружилось кое-какие изъяны в его биографии. Пятнадцать лет тому назад он отсидел две недели за нарушение закона, запрещающего уличные сборища: негодяй не пожелал «разойтись» даже по требованию старшего судебного исполнителя. В этом были уже задатки тех проступков, в которых потом сказались все его злонравие. Далее он отсидел три дня за выкрик: «Эй вы, хохлатые!»* — новое доказательство его неуживчивого, мстительного характера. Обвинитель использовал все эти подробности и прегрешения обвиняемого. Указав вкратце на преступные склонности, обнаруженные последним в прошлом, он выразил твердую уверенность в том, что, подвернись обвиняемому под горячую руку вместо Ксавера сам граф, он и графа зарезал бы, как свинью.

Перед защитником стояла нелегкая задача. Прошлого никуда не спрячешь, а больной ребенок — слишком романтическое и притянутое за волосы смягчающее обстоятельство.

Невозможно было без жалости глядеть на бедную графиню, присутствовавшую в качестве свидетельницы и проливавшую горькие слезы при взгляде на бархатную ленточку, которая лежала на столе перед председателем суда.

— Да, я узнаю, узнаю ее, — ответила графиня на вопрос председателя. — Она принадлежала моему дорогому Ксаверу, прах которого похоронен под клумбой лилий в саду замка.

Обвиняемый, не обнаружив ни малейшего раскаяния, признал себя виновным в совершении преступления и был присужден к шести месяцам тюремного заключения со строгой изоляцией за умышленную порчу чужого имущества. И это еще не все. Для вящего торжества справедливости у него за это время умер сын, ибо божьи жернова мелют не скоро, но верно. А поросенок Ксавер мирно спит под клумбой белых лилий, посреди которой стоит памятник с надписью:

«Здесь покоится прах нашего милого Ксавера, зарезанного убийцей Мартином, присужденным к шести месяцам одиночного тюремного заключения и к шестидневному посту. Похоронен 8 мая 1907 года в возрасте полутора лет. Да будет тебе земля пухом!»

Граф Рамм заказал себе из ленты несчастного поросенка Ксавера галстук, который надевает каждый раз в годовщину гибели этой благородной свиньи.

ИЗУМИТЕЛЬНОЕ ЧУДО СВЯТОГО ЭВЕРГАРДА

I

Францисканцы * из Бецкова простирали блаженные пухлые руки свои далеко вширь и вдаль над долиной зеленого Вага, и словаки приходили к ним с равнины, гор и лесных заимок, чтобы пополнить кухонные кладовые досточтимых отцов и помолиться в монастырском костеле перед почерневшей иконой святого чудотворца Эвергарда, из славного племени франков. Этот святой особенно близок словацкому сердцу, так как, будучи при сыне Людовика Благочестивого наместником, он воевал со словаками и другими языческими народами, а также боролся против негров и нумидийцев.

Основные данные о нем:

1. Прилагал все усилия к тому, чтобы охранять и оберегать мечом своим церковь от неверных.

2. Основывал монастыри для тех, кого вырвал из пасти дьявола.

3. Во многих местах Франции построил церкви и щедро одарил их из своей военной добычи и добра, награбленного в языческих краях.

4. С особенной заботой относился к своему имению под названием Цизониум, в Торнаценском крае, построив там монастырь святого Каликста и поселив в нем каноников ордена святого Августина, вместе с мощами святого Каликста, чье тело незадолго перед тем святой папа римский Сергей передал Нотингусу, епископу в Бриксии.

5. Почил около 855 года после рождества Христова.

И словаки приходили и поклонялись черной иконе святого Эвергарда. С незапамятных времен появлялась даже процессия из Гемера — помолиться чудотворной иконе столь близкого словакам святого, одаривая при этом монастырь деньгами и разными приношениями.

С незапамятных времен икона означала для бецковских францисканцев благополучие, а бедные словаки платили деньги, как туго ни приходилось. И вдруг случилось нечто страшное.

Францисканцы из Фриштака потребовали икону обратно. Бецковский настоятель Парегориус мрачно смотрел из окна своей комнаты на зеленые волны Вага и ругался по-венгерски, как в те времена, когда служил в гонведах — гусарах в Кёрменте.

На окне перед ним лежало это несчастное послание фриштакского настоятеля Донулуса, а там, внизу, в монастырском саду, прогуливались, весело беседуя, братья, и брат-садовник распевал игривый припев: «Оравабан, Острогабан» — на мстив чардаша.

Братия пока ничего не знала.

«Глупцы! — подумал настоятель Парегориус, глядя на несчастное послание. — Чего веселятся? Наложу на них чрезвычайный пост. Капусту будут жрать, басом азанят!»¹.

II

Икона святого Эвергарда действительно принадлежала фриштакским францисканцам и в царствование императрицы Марии Терезии была выкрадена из их монастыря братом Эрминиусом.

Брат Эрминиус и тогдашний настоятель Цезариус содержали вместе любовницу-маркитантку, обслуживавшую размещенных в этом очаровательном городе гусар.

Отведав ласк настоятеля, маркитантка стала оказывать предпочтение брату Эрминиусу, монаху малого пострига, и следствием этого было то, что его преподобие велел посадить Эрминиуса в затвор и наложил на него тяжелое покаяние, а именно: сидя на хлебе и воде, выучить наизусть первую книгу «Наставления в благочестивой жизни» Фомы Кемпийского.

¹ Венгерское ругательство.

В этом тяжком испытании брат Эрминиус дошел до главы «De contemptu omnium vanitatum mundi»¹, после чего скрылся из монастыря, взяв с собой икону святого Эвергарда, уже в то время славную во всей венгерской горной стране. Он прихватил также все богатство настоятеля — в виде четырехсот талеров звонкой монетой. Продав икону какому-то еврею в Нижней Венгрии, он перебежал в Турцию, дал совершить над собой обрезание и перешел в магометанство, причем к чести его надо добавить, что, в качестве тёрёгельского паши, он никогда не лишал христианского утешения пленных-христиан перед казнью.

Икона святого Эвергарда совершила длинное путешествие по монастырям. В те бурные времена она нигде не задерживалась надолго; грабившие монастыри мародеры всякий раз продавали ее в другое место, пока в конце концов она не стала собственностью графа Бартани, который и пожертвовал ее францисканцам в Бецкове. Для них это было даже лучше, чем получить в дар поместье, так как они сумели разрекламировать икону.

И вот теперь новый фриштакский настоятель Донулус писал бецковскому:

«Reverendissime pater! In nomine domini! Reverendissime!»².

Прошу вас, не гневайтесь на меня за то, что я пишу вам касательно собственности нашего монастыря во Фриштаке. В вашей братской обители находится икона святого Эвергарда, пожертвованная, как я сам убедился из документов, хранящихся у нас в архиве, нашему монастырю в 1715 году, при настоятеле Эмиласиусе и генерале нашего святого ордена графе Галла ди Элемонте, и украденная членом нашего святого ордена Эрминиусом при аббате Цезариусе. Церковное имущество неприкосновенно, и я знаю, reverendissime pater et collega³, что ты, получив лично от меня достоверные доказательства того, что дело обстоит так, как я пишу, вернешь икону нашему

¹ «О презрении ко всякой суете мирской» (лат.).

² Преподобный отец! Во имя господи! Ваше преподобие! (лат.)

³ Преподобный отец и коллега (лат.).

монастырю. Как только мы отысповедуем всех участников процессии из Баньской Быстрицы, я приеду, чтоб договориться о подробностях.

Препоручаю тебя, reverendissime, защите всемогущего и остаюсь — с христианским приветом

Донулус, настоятель ордена святого Франциска Ассизского во Фриштаке».

У кого после такого скаредного послания не полезли бы глаза на лоб?

III

Настоятель Парегориус целые дни неистовствовал, налагая посты, в которых с горя участвовал и сам. Днем и ночью в глазах у него стояла эта черная икона, этот неясный лик, из которого проступало и можно было разобрать лишь несколько черт. Монахи обоих постригов, узнав содержание проклятого письма, ходили и молились сами не свои. Отнимут у них эту черную чудотворную икону святого Эвергарда, притягивавшую к ним целые толпы набожного люда. А этот благочестивый люд платил денежки! Знатный доход!..

Коровники полны скотом, хлева — свиньями. На дворе пропасть гусей, кур, цыплят, уток. До самого Тематина арендованы охотничьи угодья. А там прорва зайцев, серн, куропаток и других аппетитных тварей, бегающих, летающих. У братьев-кухарей есть дюжины рецептов, как приготовить дичину.

А теперь иконку увезут, и уже не в Бецкове, а во Фриштаке братья будут ходить с сальными губами.

И процессии с верховьев не будут у них останавливаться. Дальше пойдут, вдоль Вага, на Фриштак.

«Суета сует и всяческая суета. Суета — любить то, что пройдет, и не стремиться туда, где радость вечная».

На эту тему шли долгие беседы в трапезной.

Братья напоминали друг другу: «Не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием»

Эта истина прияздила их в умиление. Они видели бродящую по двору домашнюю птицу; слышали в хлеву визг свиней. Но, соблюдая предписанный пост, размышляли о неуголимых желаниях.

Пока, наконец, в один прекрасный день настоятель Парегориус не ударил кулаком по столу, не велел принести вина, нарезать поросят и, напившись, не крикнул: — Аз эб адта¹. Не отдадим икону! Пускай Донулус едет!

IV

Приехал из Фриштака настоятель Донулус, обнял Парегориуса. Был пир, и обоим аббатам носили вино пятидесятилетней выдержки. Беседа шла о церковных вопросах и о том, что нельзя допускать подрыва авторитета библии в глазах народа.

Настоятель Донулус сказал, что подлинный и бесспорный уровень, достигнутый водами потопа, составлял примерно семнадцать тысяч стоп. Настоятель Парегориус, разгоряченный вином, стал кричать, что математические законы даны природе богом, который сотворил их своим всемогуществом.

Донулус возразил, что бог не считался с математическими законами, создавая все из ничего.

Бывший поручик гонведско-гусарского полка Парегориус, махнув рукой, объявил, что при сотворении мира все шло как на войне. Эдь, кеттё, харом — раз, два, три. — Вот как, ей-богу, брат! Пей, *reverendissime*!

Они пили, до поры до времени не упоминая ни словом про икону святого Эвергарда. После продолжительного обеда и молитвы оба пошли в комнату Парегориуса, и только тут фриштакский настоятель завел речь об иконе.

— Нет, брат, так и знай, — сказал разгоряченный вином Парегориус. — Этой иконы ты не получишь.

— Нет, получу, брат...

— Не видать тебе ее как своих ушей...

— *Reverendissime*, я приехал за этой иконой...

— *Reverendissime*, ты поедешь обратно без нее...

— Это наглость! Икона наша!.. — крикнул Донулус в сердцах.

— Потише, *reverendissime*, а то как дам...

Аббат Донулус выбежал на галерею с криком:

— Запргай!

¹ Венгерское ругательство.

И сейчас же уехал к себе в монастырь, а на другой день, протрезвев, написал письмо генералу ордена, объяснив ему происхождение иконы и притязания монастыря на нее. К письму он приложил документы — в частности, дарственную запись графа Галла ди Элемонте от 1715 года.

Через месяц пришло решение: притязания фриштакского монастыря справедливы.

А бецковский настоятель получил от генерала ордена строгий приказ: передать святого Эвергарда фриштакским францисканцам. При участии генерала ордена икона была таки снята и с великим почетом отнесена в карету, где сидел аббат Донулус.

Монахи плакали. Это было душераздирающее зрелище, когда толстый брат-кухарь Фортунат хотел кинуться под колеса кареты, увозящей все их благополучие.

Ко всему этому настоятель Парегориус назначил трехдневный пост и ночные бдения в костеле: в два часа ночи, в четыре и в пять.

Он бушевал как гроза, но однажды вечером, после скудного ужина, сказал братии:

— Вот увидите, святой Эвергард сотворит чудо, которое придется не по вкусу проклятым фриштакским.

V

Икона благополучно прибыла на место. Навстречу ей вышли на расстояние часа пути детки из школы. Возле города на козлы сел фриштакский приходский священник, подчеркивая этим свое ничтожество.

Въездные ворота монастыря были украшены цветами. Икону под колокольный звон торжественно внесли в костел, к великой радости монахов, которым пришлось долгим постом готовиться к этому славному событию.

И вот она висит над алтарем, черная, неясная, как ее судьба в бурные старые годы.

Настоятель Донулус устроил пышную монастырскую трапезу в честь святца и генерала ордена.

Во время пира генерал ордена, находясь в добром настроении, сказал аббату:

— Святой Эвергард нашел себе новое местожительство, и надо его реставрировать. Велите икону вымыть.

Я как будто знаю одного живописца, который при помощи всяких водичек сбновляет старые иконы. Икона получается будто новая. Я дам вам его адрес, и вы увидите, как красиво будет выглядеть святой Эвергард. А то почти ничего нельзя разобрать. И люди будут молиться перед прекрасной, чистой иконой.

Так в монастырь вызвали знаменитого реставратора древних костельных икон живописца Готарда из Вены.

Перед иконой были быстро возведены леса и натянуто полотно, чтоб художнику никто не мешал.

— Ну как? Идет на лад? — спросил вечером аббат.

— Завтра будет готова.

После обеда пан Готард объявил, что осталось лишь протереть икону маслом, и она станет как новая.

Монахи с аббатом во главе пошли смотреть обновленную икону. Отстранили полотняное покрывало, пан Готард провел по иконе губкой с уксусом, и настоятель Донулус с диким воплем повалился на землю.

С иконы Эвергарда на них смотрела святая Екатерина, со всеми атрибутами, приведшими ее на небо...

VI

В Бецкове, в костеле, услужливый брат Фирминиан покажет вам теперь пустое место на стене и дощечку с надписью: «Sancte Ewerharde, ora pro nobis!»¹.

Он расскажет вам об изумительном чуде святого Эвергарда, изъявившего свое неудовольствие по поводу вынужденного переезда таинственным изменением своего облика.

И по-прежнему к францисканцам в Бецков приходят процессии, и словаки бойкотируют фриштакских, которые лишили их святого Эвергарда, так чудесно выразившего свою волю.

*

Настоятель Донулус утверждает, что художник, реставрировавший икону святого Эвергарда, был еврей.

Может быть, это тоже сыграло свою роль во всем происшествии...

¹ Святой Эвергард, моли бога о нас! (лат.)

ДЕДУШКА ЯНЧАР

Дедушка Янчар жил вместе с тремя ворами: Пустой, Живсой и Кобылкой,— а милостыню просил около церкви, куда доползал на своих деревяшках-протезах. Он болел костоедом, и у него постепенно отрезали обе ноги,— кусок за куском, причем происходило это обычно весной, из-за чего он воспыал ненавистью к врачам. Почему не режут ему ноги зимой, когда живетса тяжелее всего? В больнице было бы тепло, там он наедалса бы досыта. И не везет же — всегда ампутация приходится на весну. Конечно, хорошо из года в год по три месяца спокойненько проводить в больнице, где не надо заботиться о куске хлеба, взывать к милосердию людскому и божьему и за каждый жалкий крейцер говорить: «Да вознаградит вас господь бог сторицею!» Хорошо и весной, но зимой толку было бы больше.

И вдруг у дедушки Янчара перестали болеть ноги. Он встревожился и отправился в больницу, где после внимательного осмотра ему сообщили диагноз, очень редкий в истории далеко зашедшего костоеда: омертвление кости прекратилось, благодаря прошлогодней операции ее ткань исцелилась. Его не могут принять в больницу. Нет оснований.

Выйдя из больницы, он едва волок свои деревянные, прикрепленные к выздоровевшим культяпкам, и то плакал, то причитал. Рассеялись его мечты о трех прекрасных месяцах.

Дома он огорченно рассказывал о своем несчастье. Резать ноги ему больше не будут. Пуста возмущалса вместе

с ним. Это безобразие так обращаться с человеком, который хочет отдохнуть. Место дедушки Янчара подле церкви уже наверняка занял на эти три месяца нищий Кунштат, так уж было у них заведено,— и неизвестно, уступит ли его теперь.

Место было невыгодное, потому что большинство прихожан, выходя из церкви, у самого входа подавало милостыню молящимся там старухам, которым покровительствовала жена причетника. Но несколько крейцеров дедушке Янчару все-таки удавалось собрать, а остальное давали ему на пропитание его сожители-воры, которых он вознаграждал за это нравоучительными рассказами.

После прихода Живсы снова заговорили об отвергнутой просьбе Янчара. Вылечили его, прощелыги!

— Это они нарочно сделали,— заметил Кобылка,— потому что ты бедняк.

Никакой логики в его словах не было, но раздраженный дедушка Янчар ругал врачей и называл их бандой, не сочувствующей несчастному нищему. Только бы Кунштат не уперся и уступил место у церкви! Все они сомневались, что он пойдет на это. Кунштат — нищий, больной человек, и теперь, когда Янчар стал здоровым калекой, ни в какую не согласится.

Дедушка Янчар раскричался, что с него такой жизни уже хватит. Весь свой век он едва перебивался. Вечная нужда, вечный голод, только и радости было, пока лежал в больнице. А теперь он и ее потерял. Сейчас, когда ноги ему не нужны, эти культяпки вдруг оказались здоровыми!

Что он будет делать, если еще потеряет место у церкви? Выздоровевшие обрубки такие маленькие, что далеко плестись на них он не может. До церкви рукой подать, и то он устает, пока доберется. Собачья жизнь!

— Ну, если хочешь отдохнуть, сделай что-нибудь такое, за что тебя посадят на несколько месяцев. Получишь постель, вволю еды и плевать тебе на весь мир,— сказал Живса,— довольно уж ты маялся.

— Разумный совет,— одобрил Кобылка,— пускай о тебе заботится государство.

Но тут дедушка Янчар стал ссылаться на свою честность. Он хочет умереть порядочным человеком, не побывав под судом и в тюрьме.

Пуста возразил, что сам он никогда ни у кого не крадет нужных вещей. Но если вещь все равно без толку валяется у людей, то уж лучше он ее возьмет, когда ему нужны деньги. В первый раз его посадили из-за куска угля. После этого он нигде не мог получить работу и с тех пор ворует, но считает, что, несмотря на это, он честнее больших господ, которые судят других, а сами живут припеваючи.

Янчар категорически заявил, что воровать не будет...

Все трое не знали, как быть с ним. И говорили-то с ним как со здоровым человеком, забыв, что у него деревянные ноги.

В конце концов дедушка Янчар спросил:

— Да как же я, такой калека, могу воровать?

С этим согласились все, кроме Пусты, который утверждал, что дело ведь не в успехе кражи, а в попытке украть, при которой его поймают. А раз поймают, все будет в порядке. Получит несколько месяцев и заживет спокойно. Какая у него теперь жизнь? Жалкая, нищенская, собачья жизнь, даже хуже. Янчар снова объяснил им, что он мечтает о покое; пускай даже в тюрьме, но позволить поймать себя на краже... нет!

— Так натвори что-нибудь еще, — откликнулся Кобылка.

— Ладно, но что? Посоветуй!

— Можешь что-нибудь этакое сказать, и шесть месяцев тебе обеспечены.

— Правильно, Кобылка, — одобрил Живса. — Мы научим деда, что надо сказать, он пойдет к полицейскому или в участок и скажет: «Так и так, господа полицейские, вот что я думаю!» Его арестуют, посадят в предварилку, а потом он попадет под суд. Как калека, получит больничное питание. Потом его выпустят, а когда ему свобода опять надоест, он снова пойдет к полицейскому и скажет: «Так и так, господа полицейские, вот что я думаю!»

— Конечно, ты не расскажешь, кто тебя этому научил, — наставлял Пуста старика.

— Ну, с помощью божьей... учите, что надо сказать, чтобы получить шесть месяцев, — согласился Янчар. —

Какая у меня жизнь на свободе? Верно вы говорите, уж лучше мне сидеть в кутузке.

Воры стали совещаться.

— Нет, Пуста, за то, что ты советуешь, он получит всего три месяца, ничего страшного в этом нет,— спорил Кобылка.— Он должен сказать...

— Этого мало даже для пяти месяцев,— возражал Живса.— Пусть скажет вот это, да еще прибавит то, что советует Кобылка. Дедушка Янчар, пойдешь и скажешь... понял? Не спутаешь? Этого хватит для шести месяцев. Больше тебе не дадут, потому что у тебя нет судимости. Запомнил?

— Повторите еще разок, ребята,—попросил Янчар,— в моей бедной голове плохо все укладывается. Авось, до утра не забуду.

Перед сном и утром они снова проверили его. Он все выучил назубок...

Так дедушка Янчар, чтобы один раз в жизни полгода отдохнуть, совершил утром в присутствии ближайшего полицейского преступление — оскорбление его величества.

В судебных отчетах его квалифицировали как негодяя.

ОСИРОТЕВШЕЕ ДИТЯ И ЕГО ТАИНСТВЕННАЯ МАТЬ

(Трогательная история из периодической печати)

ГЛАВА I

ОСИРОТЕВШЕЕ ДИТЯ С ГОЛУБЫМИ ГЛАЗАМИ

Ее звали Тонечкой; она не знала тепла материнской и отцовской любви. И поступила в один магазин. А туда ходила делать покупки служанка редактора одной газеты.

Вскоре начался мертвый сезон. Не о чем стало писать.

У этой Тонечки были голубые глаза...

У меня от слез валится перо из рук...

ГЛАВА II

ПОЧТАЛЬОН С ДЕНЬГАМИ

Рассыльный с деньгами Ян Громада (сорокапятилетний, хорошо сохранившийся, женатый, католик, уроженец Либиц, Колинского уезда на Лабее; особые приметы: родинка под пупком) упругим шагом вошел в магазин, где служило осиротевшее дитя.

— Тонечка здесь? — спросил он дрожащим голосом, так как уже прочел, что стояло в переводе.

— Здесь,— дрожащим голосом ответил владелец магазина, после того как почтальон срывающимся голосом прибавил:

— Я принес ей сто крон.

А на бланке перевода было написано:

«Милое дитя мое! Прости меня, я больше не в силах, не могу молчать. Я — твоя мать и уже говорила с тобой. У меня сердце разрывается на части. Служи усердно и надейся на бога. Он тебя не покинет. А пока вот тебе сто крон. *Твоя мать*».

Когда Тонечке прочли это, она уронила трехлитровую бутылку со спиртом, и спирт разлился по всему помещению.

Она могла себе это позволить: у нее было сто крон.

ГЛАВА III

МУЖЕСТВЕННЫЙ ПОСТУПОК ПЕНСИОНЕРА ПАВЛИКА

В следующее мгновение в магазин вошел шестидесятипятилетний пенсионер Йозеф Теодор Павлик. В руке у него была дымящаяся сигара. Увидев, что в магазине пролили денатурат, он мужественно выкинул горящую сигару в открытое окно — одному прохожему на голову.

Поступок этот достоин величайшего восхищения, как доказательство необычайного хладнокровия и отваги. Ведь спирт мог вспыхнуть, и, поскольку в помещении находился галлон бензина, наша трогательная история не могла бы иметь продолжения. Она закончилась бы обуглеванием трупов в выгоревшем магазине.

Кроме того, поступок этот заслуживает одобрения еще и потому, что благодаря своей быстроте и находчивости пенсионер Павлик сохранил государству почтальона с деньгами.

Министерство торговли восклицает моими устами: «Да воздаст господь бог этому доблестному мужу!»

По выходе из магазина пенсионер Павлик не нашел брошенной им сигары.

Ее докурил тот самый прохожий, которому она свалилась на голову.

Через четверть часа после получения ста крон для Тонечки владелец магазина вышел на улицу. Купил трамвайный билет и поехал в редакцию газеты, которую редактировал тот самый господин, чья служанка ходила делать покупки в магазин того владельца, который отправился теперь к этому редактору.

Вы видите — все идет как по маслу.

Беседа с редактором длилась больше часа. Редактор ликовал. Такая трогательная история — и как раз в самый разгар мертвого сезона!

— Пойдет в завтрашнем же номере, — объявил редактор, прощаясь с владельцем магазина. — И я, конечно, дам полностью вашу фамилию.

После этого владелец магазина отправился в отдел объявлений и заказал там объявление в завтрашнем номере на видном месте.

В тот день его выручка была обычной.

Редактор сдержал слово.

На другой день в газете появилась статья «Таинственная мать». Три с лишним колонки. Жалостное вступление было состряпано из Марлит, а также Карлен, Шварц * и других слезливых писательниц семейных романов.

Далее следовали фамилия и адрес теперешнего покровителя Тонечки: торговец Вацлав Земан, ул. Каминского, д. № 18.

А на последней полосе, среди объявлений, было такое: «Вацлав Земан, торговец колониальными товарами, рекомендует вниманию почтеннейшей публики свой магазин по улице Каминского, дом № 18. Большой выбор: сыр, колбаса, мясные и рыбные консервы. Вино высших марок — красное и белое, 1 крона литр. Превосходная смесь кофе — 2 кроны 20 геллеров. Дешевый сахар. Литр рома — от 80 геллеров и выше. Всегда свежее сливочное масло».

В тот день все виноградские женщины и девушки пожелали видеть Тонечку, чтобы плакать с ней.

Плач стоял в магазине с утра до вечера.

У Тонечки в конце концов глаза пересохли, так что ей приходилось бегать в чулан нюхать лук, чтобы плакать дальше.

Приходили и старички, щипали ее за щечку. Тут нет ничего плохого: ведь ей было всего пятнадцать лет.

Среди всеобщих рыданий слышались выкрики:

— Мне кило кофе!

— Мне пять килограммов сахара!

— Литр рома!

— Бутылку вина!

Вацлав Земан не успевал обслуживать покупателей. Пришлось взять помощника. Жена тоже трудилась в поте лица. Виноградские женщины и девушки накупили продуктов на целую неделю.

Часов в десять, только стали запирают магазин, появилась еще одна заплаканная дама. Издалека, откуда-то с Модржан. Товару больше никакого не было, так что ей продали старую медную гиру.

Номер газеты со статьей «Тайнственная мать» разошелся тиражом на десять тысяч экземпляров больше обычного.

ГЛАВА VI

ГЛУХОНЕМАЯ СЛУЖАНКА

К довершению эффекта обнаружилось, что женщина, родившая Тонечку в родильном доме, воспользовалась рабочей книжкой одной глухонемой служанки, которая при помощи жестов поклялась, что не является матерью Тонечки. Физический недостаток ее очень огорчал редактора, так как, вполне естественно, лишал его всякой возможности с ней договориться.

Дело в том, что для постоянного раздела «Осиротевшее дитя и тайнственная мать» в своей газете он уже приготовил колонку под заголовком: «Разговор с мнимой, ненастоящей матерью».

Несколько виноградских дам и барышень прислали глухонемой служанке открытки.

Прокурор потребовал привлечь глухонемую служанку к ответственности за обман властей, поскольку она не

родила, между тем как, согласно рабочей книжке, должна была родить.

Глухонемая служанка, вместо того чтобы нанять адвоката, отправилась на Святую Гору, оставив дома записку, которая всех озадачила и была тотчас доставлена редактору.

В ней было написано:

«Еду исповедоваться!»

В связи с этим полицейское управление отправило по следам глухонемой служанки двух сыщиков, переодетых священниками.

ГЛАВА VII

НОВЫЕ ПИСЬМА, НОВЫЕ РАЗОБЛАЧЕНИЯ И НОВЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Тонечка каждый день получала от «таинственной матери» новые письма. Вацлав Земан добросовестно относил их в редакцию, которая печатала их с приличествующими случаю вздохами.

Пять человек, выпускающих художественные открытки, охотились за Тонечкой с фотографическими аппаратами.

Мужья стали подозревать своих жен и допрашивать их, заставляя клясться, что у них до свадьбы не было любовника.

Один муж, недосчитавшись у себя в кассе ста крон и заподозрив, что жена послала их Тонечке, взял бритву, побрился и пошел требовать развода.

Между тем у Тонечки скопилось в общей сложности четыреста крон, и привратница стала говорить ей: «Целую ручку, барышня».

Тонечке захотелось иметь длинное платье, и она заплакалась, когда ей не позволили.

Вскоре после этого она получила новое письмо от таинственной матери:

«Милая Тонечка!

Я знаю, что ты плачешь, но не могу тебе помочь. Надейся на бога и будь умницей. Посылаю тебе тридцать крон.

Твоя несчастная мать».

Это письмо тоже было опубликовано.

Завистники толковали:

— За четыреста крон и я согласен изображать осиротевшее дитя.

Один бывший лесник, выдавая себя за поверенного Тонечки, поместил в газетах объявление:

«Олень не знает туберкулеза, так как находит в лесу траву, составляющую главный ингредиент «Лесного чая и настоя», изготовляемого бывшим лесником Шуминским, — ул. Каминского, д. № 26. Много благодарственных писем из Америки, Австралии, Новой Зеландии, с острова Корсики, из Михле*, Лондона, Парижа и Подебрад*».

ГЛАВА VIII

СОВЕТЫ И РАССУЖДЕНИЯ

В редакцию газеты с постоянным разделом «Осиротевшее дитя и таинственная мать» приходило множество писем. За две недели их набралось тысяча двести пятьдесят шесть. Одни с советами, другие с рассуждениями, напоминаниями, предостережениями.

Писали о том, что Тонечка должна быть осторожна, чтобы не выходила одна на улицу.

Один утверждал, что Тонечку хотят свести с ума. С какой целью, он не объяснял.

Наконец газета опубликовала очень серьезный материал: просьбу к таинственной матери назвать себя. Просьба была проникновенная. Ее составили, используя печальные романы и чувствительные рассказы. Заимствования делались целыми фразами.

На улицах толпился плачущий народ. Шесть человек помешались от жалости и рыданий.

Тридцать виноградских дам и девушек ослепло. Женщины плакали по всей Чехии. Матери прижимали своих сыночков и доченок к сердцу. Пять парнишек и шесть девчурок задохнулись в материнских объятиях.

Один вдохновенный поэт-песенник пустил в ход новый глупый продукт своей духовной деятельности: песенку об осиротевшем ребенке. Ее стали петь на мотив «Голубые глаза»*.



«Идиллия в аду»



Виноградские дамы и девушки пожелали, чтобы эту песенку исполнил оркестр в виноградском театре.

О таинственной матери распевали весь день. Поющие женщины избили до полусмерти человека, который слышал пение и не прослезился.

Наконец в редакцию явился поверенный Тонечки, открыватель лесного корня для оленей и людей. После этого газета опубликовала новое обращение к таинственной матери:

«Просьба явиться на квартиру к изобретателю «лесного чая». Гарантируем полную тайну и молчание! Бывший лесник обязуется честным словом никому ничего не говорить. Таинственная мать не обязана покупать его лесной корень».

А через несколько дней появилось новое сенсационное сообщение.

ГЛАВА IX

ТАИНСВЕННАЯ МАТЬ ОБНАРУЖЕНА И ТАИНА СОБЛЮДЕНА

Специальный выпуск «Вечерней газеты».

Таинственная мать откликнулась на приглашение изобретателя «лесного чая» и пришла к нему на квартиру.

Полная тайна соблюдена.

В газете стояло следующее:

«Мы связаны честным словом, поэтому соблюдаем полную тайну. Можем сообщить только, что дама, являющаяся матерью Тонечки,— многодетная вдова. Не публикуем ее фамилию, так как обещали молчать. Поэтому можем только прибавить, что она имеет собственный дом в непосредственной близости от местожительства Тонечки. Мы дали честное слово соблюдать полную тайну и можем сообщить лишь то, что ей тридцать пять лет и она намеревается снова вступить в брак. По ее словам, отец Тонечки жив; он чиновник и тоже имеет несколько детей. Вдаваться в дальнейшие подробности нам не позволяет данное нами обещание хранить полное молчание об этом деле. Можем еще добавить, что господин этот как две капли воды похож на Тонечку, портрет которой мы даем в завтрашнем номере нашего иллюстрированного приложения вместе со снимком, запечат-

лвшим сцену трогательного свидания матери с дочерью».

Тайна была полностью соблюдена, а номер «Вечерней газеты» разошелся в количестве шестидесяти тысяч экземпляров.

ГЛАВА X

ОТЕЦ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ПОХОЖ НА ТОНЕЧКУ

Опубликование портрета Тонечки в «Иллюстрированном приложении» имело тот результат, что уже с утра бойко заработали парикмахерские.

Женатые и многодетные чиновники приходили сбрить бороду или обкорнать усы.

Двести женатых и многодетных чиновников тщательно прятали от жен номер с портретом Тонечки.

Триста жен потребовали развода, ссылаясь на бросающееся в глаза сходство своих мужей с Тонечкой.

Девяносто мужей признались в отцовстве:

«Вам-то хорошо, у вас жена на даче. А я похож на Тонечку!»

Редакция стала получать угрожающие письма.

Газета разошлась в количестве ста с лишним тысяч экземпляров.

Жена каждого чешского чиновника купила экземпляр.

Бог весть, чем все это кончится. Никто не знает. Но один наборщик сказал мне, что у него заготовлены газетные заголовки такого рода:

«Отец Тонечки — в отчаянии!»

«Таинственная мать покончила жизнь самоубийством».

— На этом опять заработаем,— с улыбкой добавил наборщик.

УЧИТЕЛЬ ПЕТР

Учитель естествознания Петр был выдающимся ботаником. Министерство образования давало ему время от времени годичный отпуск для научных экспедиций, который он всегда использовал в высшей степени плодотворно. После такого отпуска он обычно выпускал в свет на собственный счет обширный труд. На собственный счет потому, что ни один издатель не решался принять в печать его научные изыскания, одни названия которых вполне могли привести к краху даже самую солидную издательскую фирму.

А названия эти были примерно такого характера: «*Сyperus polystachius* и *Pteris longifolia* на *Fumarola di Frasso* и на *Fumarola di Caciotto* на *Ischii*. Взгляд на прошлое и настоящее папоротников, или к каким геологическим периодам относятся *Pteris longifolia* на *Fumarola di Frasso* на *Ischii*». Все это было еще только название. За ним следовали четыреста страниц большого формата, содержащие различные догадки и предположения, причем каждое предыдущее из них отвергалось последующим.

А после четырехсот страниц шла четыреста первая, которая завершала этот научный трактат следующим выводом:

«Если мы бросим еще раз быстрый взгляд на все эти гипотезы и теории, то придем к заключению, что не можем точно определить, к какому геологическому периоду относятся вышеупомянутые растения».

Год спустя учитель Петр издал трехсотстраничное дополнение к своему трактату под названием: «*Pteris lon-*

gifolia на Fumarola di Frasso на Ischii, или Ближе к правде». Дополнение это увенчивали следующие строки:

«Как видно из вышеизложенного, мы ни на шаг не продвинулись дальше, чем были в первом исследовании. Но мы надеемся, что эта книга поможет другим быстрее и успешнее двигаться уже проложенным путем к постижению истины».

Таких объемистых фолиантов учитель Петр издал восемь. Был он не менее мужествен и в других ситуациях. Не раз его находили полузамерзшим на альпийских ледниках, где он изучал альпийскую флору; однажды он чуть было не упал в кратер Везувия; в лесной чаще под Этной на него напали грабители, которые все у него отняли, раздели его догола, оставив без внимания лишь его заметки и собранные им образцы вереска, растущего на вулкане. В Швеции он чуть было не свалился в водопад Трольхеттан, спасшись только тем, что зацепился брюками за острый выступ скалы, где успел обнаружить неизвестный дотоле лишайник.

А сколько раз падал он со скал, судорожно сжимая в руках какой-нибудь новый вид диких роз!

Таким же стойким был он и в личной жизни. У директора гимназии, где он служил, была дочка Эмма. Директор уже полтора года регулярно приглашал учителя к себе, и тот систематически посещал его семейство, но ни разу не обмолвился ни словом, как он представляет себе все это: так часто бывать в семье, где есть дочь-невеста, с которой он к тому же ходит на прогулки.

Госпожа директорша была в отчаянии. Через три дня учитель Петр снова должен отправиться в свою научную экспедицию, и бог его знает, когда вернется. Необходимо было, чтобы он немедленно высказался, что и как. Поэтому она велела дочери быть с учителем как можно ласковее и нежнее и постараться всеми средствами добиться от него решающего слова.

Барышня Эмма и вела себя в соответствии с материнской инструкцией.

Когда они с учителем вышли за город, она всю дорогу твердила ему всякие ласковые слова и бросала на него завлекательные взгляды. Учитель Петр между

тем просвещал ее насчет способов определения важнейших растений по системе Линнея *.

— Любовь, любовь, ты всемогуща,— тихонько напевала барышня Эмма, искоса пытливо поглядывая на учителя.

Учитель Петр, однако, никак не давал отвлечь себя от избранной темы.

— Если вы хотите определить неизвестное растение, то есть узнать его название, вы должны прежде всего установить, к какому классу оно принадлежит,— внушал он.

А барышня Эмма шла близко-близко около него и смотрела ему в глаза.

— После этого,— продолжал он,— вы без особого труда, учитывая определенные признаки, установите также его род и вид.

— Вы уезжаете,— сказала она.— Я сорву вам незабудку. Разрешите, я вставлю эту незабудку вам в петлицу.

Он наклонился и посмотрел на цветок.

— Ах, барышня!

— О, вы покраснели! Как вам это идет! — воскликнула барышня Эмма.— Вы знаете, что незабудка — цветок со значением?

Учитель посмотрел на нее с отчаянием.

— Если бы барышня знала...

— Знаю, знаю: она означает «не забудь»,— прервала она, бросив на учителя страстный взгляд.

Учитель Петр покраснел еще больше.

— Я бы хотел кое-что сказать, но боюсь, что вы рассердитесь, поэтому промолчу.

— Не бойтесь, господин учитель!

— Нет, барышня, не просите...

И он опять начал обстоятельно рассказывать о растениях: о способах их размножения, о классах, о двудомных и однодомных представителях флоры, о тычинковых и пестиковых цветах...

Затем они сели в поезд и вернулись в Прагу. На прощание он говорил о птичьей зобе, а также просветил барышню насчет того, что поганка относится к восьмому классу. После этого он проводил ее до дома.

— И не забудьте,— завершил он разговор,— что грибы растут не только на земле, но также и на других растениях, в таких случаях они являются паразитирующими. Спокойной ночи, барышня.

Распрошавшись с нею, он продолжал еще с четверть часа ходить под окнами директорского дома. И если при этом его взгляд случайно падал на незабудку в петлице, он заливался краской. Не раз смотрел он также и наверх, на окна.

Наконец он набрался смелости, подошел к дверям и позвонил.

Встретили его необычайно сердечно. Смущенный, он извинялся, что так поздно осмелился явиться, но неотложное дело...

Его радостно ввели в гостиную. Господин директор и госпожа директорша всячески стремились взглядами придать ему отваги. Барышня Эмма с замирающим сердцем смотрела на его рот.

— Господин директор,— начал смущенно учитель,— сегодня на прогулке барышня Эмма сорвала этот цветок, продела его мне в петлицу и сказала: «Разрешите, я вдену эту незабудку вам в петлицу». Вы не можете себе представить, как это на меня подействовало. Не знаю даже, должен ли я сказать то, в чем уверен...

— Но господин учитель, ведь мы вас уже так давно знаем,— попыталась помочь ему госпожа директорша.

— Да, я вижу теперь, что и барышня не будет сердиться, а это касается главным образом ее. Поскольку я уезжаю и не знаю, когда вернусь обратно, как честный человек, я не хочу дальше держать барышню в заблуждении: то, что мне барышня дала в петлицу,— это не незабудка, а так называемый пилат, принадлежит к пятому классу, цветок с венчиком сложноцветным и с одним пестиком, венчик голубого или фиолетового цвета...

И учитель Петр спал в ту ночь спокойно, как честнейший человек.

ТАЙНА ИСПОВЕДИ

Гимназист первого класса Балужка был мальчиком добросовестным, и потому еще за день до исповеди он каллиграфически записал все свои грехи на листочке, вырванном из тетради по чешскому языку соседа по парте. На следующий день в девять часов, сдав письменное задание по арифметике, он дополнил список своих грехов: «Списывал задание по арифметике». Балужка был хорошим мальчуганом, верил поучениям патера о том, что обман учителей относится к самым ужасным грехам. Это чуть ли не смертный грех.

— Ибо, — говорил им на последнем уроке законоучитель, — чем больше грех, тем строже и тяжелее наказание. Если вы искренне не покаетесь в своих прегрешениях, то на страшном суде тщетно станете вопить; кто списывает — покайтесь, иначе вашим уделом будут безутешные слезы и стенания.

За каждый грех предназначены особые муки. Один час в аду тяжелее ста лет самых страшных мучений на земле. Оплачьте свои грехи, не подсказывайте, не списывайте, не обманывайте учителей своих, дабы в судный день быть среди праведных.

— Я прошу вас, пан коллега, — обратился недавно к законоучителю преподаватель математики, — поговорите на ближайшем уроке с первоклассниками, чтобы они меня не обманывали. Ребята организовали коллективное списывание, их письменные работы или все одинаково хороши, или во всех одни и те же ошибки.

Законоучитель охотно принялся внушать первоклассникам, что в судный день послушание будет цениться гораздо выше всяких ухищрений людских. Обманы же не будут прощены. Списывание школьных заданий карается на земле двойкой и снижением отметки за поведение, а на том свете — вечными муками. Кто списывает — пусть покается с благим намерением больше не обманывать.

Вот почему после первой же контрольной Балушка и внес в список своих грехов: «Списывал задание по арифметике».

А в десять часов список пополнился еще одной записью: «Состою членом тайного общества «Чертово копыто». Если уж исповедоваться, надо рассказать все и очистить свою душу. А после покаяния можно снова грешить, опять состоять членом этого страшного тайного общества, которое приносит ему столько разных выгод.

Общество и впрямь было страшным. «Мафия» * ничто по сравнению с «Чертовым копытом». Жуткие тайные общества Китая пасуют перед «Чертовым копытом», ибо «Чертово копыто» — общество первоклассников по обману учителей.

Лучшие ученики класса состояли его членами, даже любимчики учителей, те, что носили письменные работы преподавателям на дом. Один списывал у другого, один другому подсказывал, а когда несли тетради учителям, брали с собой чернильницу и ручку и где-нибудь в подъезде исправляли ошибки в работах.

«Чертово копыто» раскидывало свои страшные тайные сети на уроках латыни, чешского языка, истории, естествознания, математики.

Членом общества был даже сын учителя латинского языка, он тайком стирал в журнале отца крестики и прочие неблагоприятные значки против имен своих одноклассников.

Перед исповедью, в десять часов утра, во время перемены, во дворе собрались все члены общества, и председатель его Каганек, сын учителя латыни, оповестил, что после уроков все должны встретиться у крепостной стены и решить, как вести себя на сегодняшней исповеди.

— Будем присягать на коране *, — сказал он.

«Чертово копыто» было обществом магометанским. Все собрались и расположились над садом Фолиманки. Каганек принес турецкий пиастр, который взял из отцовской коллекции. Арабские письмена на монете должны были заменить коран.

— Говори, брат мой,— произнес Вомар.

— Уважаемые господа,— начал Каганек,— сегодня мы идем на исповедь. Надеюсь, что среди нас нет мерзавца, который предаст наше общество. Кто собирается сказать на исповеди, что он член общества «Чертово копыто», пусть выступит вперед, и я его убью.

— Но ведь существует тайна исповеди,— запротестовал Балушка, бывший первым драчуном в классе.— Во всяком случае, я покаюсь в этом. Законоучитель не посмеет никому сказать. Ему надо получить на это разрешение папы римского. А я грешить не стану. Если хочешь, Каганек, выходи против меня, подеремся.

Председатель Каганек отплюнулся.

— Предатель,— сказал он патетически,— каждый встречный имеет право убить тебя, как собаку.

— Балушка только исповедуется патеру,— вмешался Влчек,— без разрешения папы патер не смеет сказать директору. Ему придется съездить в Рим, и вряд ли папа даст разрешение. Однажды я читал в «Райском саду», как один человек сказал на исповеди священнику, что убил купца и что на следующий день из-за этого казнят невиновного. Священник ничем не мог помочь несчастному, потому что обязан был хранить тайну исповеди. Тогда он телеграфировал в Рим, но, пока пришел ответ, невиновного уже повесили.

Все принялись обсуждать, почему настоящий убийца пошел не к судье, а к священнику.

Балушка за него заступился.

— Он знал, что священник не имеет права сказать. А судья приказал бы посадить его в тюрьму. Я тоже, как тот разбойник, все на исповеди расскажу.

— А, собственно, зачем тебе это надо? — спросил Петерка.

— А затем, что я боюсь пекла,— ответил Балушка.

Все с удивлением посмотрели на него. Может побороть Калисту, самого сильного парня из второго класса, а пекла боится.

— Почему ты боишься пекла?

— А ты не боишься?

— Нет,— ответил Петерка.— У меня один дядя священник, другой викарий. В крайнем случае они мне помогут. Как-то дядя-священник сказал папе: «Впрочем, пекло не так страшно, как его малюют»,— и оба засмеялись, а папа добавил: «По крайней мере, человек там сидит в тепле».

— Неправда! — встал на защиту пекла Балушка.— В «Райском саду» я читал рассказ про одного жулика, который попал в ад. Он всю жизнь врал и никогда в этом не каялся. Так ему черти каждую секунду отрезали язык, а он за полсекунды отрастал снова. Черти опять режут язык, а он тут же отрастает, и его снова режут. И так без конца, целую вечность.

— А глаза грешникам лижут там смердящие псы языками огненными,— сообщил Ногач.— Я видел такую картину у нас в церкви на потолке. И стреляют из пушек в души грешников, затем кропят их святой водой, заковыдают в цепи и льют в глотку жидкий навоз.

— Все это враки,— отозвался Котва.— Откуда у чертей святая вода?

— Они крадут ее,— не сдавался Ногач.

— Не мели чушь, дурак,— окрысился на него Котва.— Черт святой воды боится.

— Не боится! Сам не мели чушь. Драться хочешь? Давай?

Ребята сцепились. Ногач повалил Котву и, лежа на нем, кричал:

— Так боится черт святой воды или нет?

— Не боится,— ответил проигравший Котва.

Ногач выпустил его и вновь заступился за Балушку.

— Пускай уж Балушка покается, что он член «Черт-това копыта».

— И возьмет этот грех на себя за всех.

Председатель Каганек провозгласил: все клялись на коране, что не выдадут общества, и если Балушка на исповеди скажет о нем, он нарушит клятву.

— Нет,— упрямо возразил Балушка.— Я католик и христианин. Если я согрешил, должен покаяться, а если ты еще что-нибудь скажешь, получишь пару затрецин. Патер не смеет разглашать, что ему говорят на исповеди.

Законоучитель Шимачек был зол и выглядел за решеткой исповедадьни хмурым и строгим. Он спрашивал резко и накладывал суровые епитимьи. Заставлял читать «Отче наш» и «Богородицу» не менее восьми раз.

И как ему было не сердиться? Он исповедовал пятиклассников. Подошел и опустился на колени пятиклассник Ружичка.

— Верите в бога, Ружичка?

— Я бы сказал, да получу за это восемь часов карцера.

— Даю честное слово, не получите.

— Ну, тогда не верю.

— *In nomine domini*¹. Во искупление прочтете сорок раз «Отче наш» и ступайте, не хочу больше грешить с вами. Думаю, что по закону божьему вы провалитесь.

Негодяй этот Ружичка. Однажды патер Шимачек, доказывая в школе существование бога, разрешил ученикам дискуссию.

— Ваше преподобие,— обратился к нему Ружичка,— как же так, бог сотворил свет в первый день, а солнце только на третий?

За этот вопрос на открытом диспуте Ружичка получил четыре часа карцера и выслушал нотацию.

Мотив наказания: «Дерзкий вопрос».

Теперь законоучитель знает наверняка: «Ружичка не верит в бога». И он со злобой назначал епитимьи. Проходили класс за классом, и чем ниже класс, тем мизернее грехи. Восемиклассники уже основательно грешили против шестой заповеди. Тут патеру довелось кое-что услышать. И семиклассники, не смущаясь, желая досадить законоучителю, исповедовались в безнравственных выражениях и поступках. А кое-кто из пятиклассников даже упоминал о публичных домах. Постепенно грехи мельчали. Время от времени раздавались признания в онанизме. Четвероклассники, третьеклассники, второклассники. Наконец пришли со своими грехами первоклассники. Не слушались родителей, списывали уроки, говорили непристойности, ругались, крали дома деньги и т. п. Сплошь скучнейшие грехи. Ничего возбуждающего, как у гимназистов четвертого класса и выше.

¹ Во имя господа (лат.).

Наконец среди этой скуки сверкнул луч.

Исповедовался Балушка...

— Признаюсь богу всемогущему и вам, преподобный отец, служителю божьему, что я состою членом тайного общества «Чертово копыто».

— Что вы говорите?

— Признаюсь богу всемогущему...— повторил формулу покаяния Балушка,— что состою членом тайного общества «Чертово копыто».

— А еще кто состоит в нем?

— Этого я сказать не могу.

И продолжал:

— Признаюсь богу всемогущему и вам, преподобный отец, служителю божьему, что я присягал на коране.

— Вы с ума сошли, Балушка!

— Признаюсь богу всемогущему и вам, преподобный отец, служителю божьему, что я не сошел с ума.

— Балушка, я не могу вам отпустить грехи, ступайте к пану директору и признайтесь ему, как признались богу и мне!

— Не могу. Я знаю, что и вы ничего не скажете директору, ваше преподобие.— Балушка заплакал.

— Балушка, вы проявите подлинное раскаяние, если только сообщите обо всем пану директору. В средней школе недопустимы тайные общества. Идите, прочтите тридцать раз «Отче наш» и «Богородицу». А завтра расскажите все пану директору.— И, пробормотав что-то, преподобный отец сунул Балушке епитрахиль для поцелуя.

Балушка вышел, пошатываясь, и опустился на колени перед алтарем.

Он посмотрел на своих друзей. Нет, он не выдаст их! Ни за что не выдаст! Он ничего не скажет пану директору. Преподобный отец тоже не скажет, он же связан тайной исповеди.

На другой день законоучитель вызвал Балушку.

— Почему пан директор до сих пор ничего не знает?

Балушка покачал головой и, набравшись храбрости, ответил:

— Ваше преподобие, это тайна исповеди.

— Погоди, негодяй! — закричал законоучитель.—
Пойдешь ты к директору или нет?

— Ваше преподобие, не пойду, не могу я. Это тайна исповеди.

Бедняга Балужка расплакался тут же в коридоре. Из кабинета вышел директор.

— Что случилось? Почему мальчик плачет?— спросил он у законоучителя.

— Этот мерзавец не хочет признаться, что состоит членом тайного общества в своем классе,— ответил законоучитель.

— Пройди в кабинет,— строго сказал директор Балужке.— Разберемся, в чем дело.

И законоучитель, толкая перед собой несчастную жертву тайны исповеди, добавил:

— Вот в кабинете у директора небось признаешься, что ты за негодяй...

С тех пор Балужка перестал верить в бога.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГРАФА ХУДРЫМУДРЫДЕСА

I

В один прекрасный день граф Худрымудрыдес проснулся в прескверном настроении. Из окон своего тихого дворца он мог наблюдать огромное стечение народа. Всюду, куда хватало глаз, темнели человеческие фигуры. Это сильно встревожило графа: он понимал — этих людей привлек сюда отнюдь не усердный сбор средств для великого братства святого Михаила и не церемония отправки даров папе римскому.

Граф Худрымудрыдес нервничал чем дальше, тем больше: он привык видеть лишь пышные процессии с развевающимися хоругвями; изредка он примирился бы еще с каким-нибудь католическим съездом. Но людей, столпившихся на улице, к сожалению, ничуть не занимали ни торжественные процессии, ни католические съезды. Граф Худрымудрыдес чувствовал, что этой весьма внушительной толпой владеют далеко не те настроения, которые пришлось бы ему по душе. Среди собравшихся не было ни дворецких, ни лакеев, ни приказчиков, ни прочей его челяди, дрожавшей от страха, стоило только милостивому господину взглянуть на кого-нибудь немилостивым оком, вооруженным моноклем.

Прежде, где бы граф ни появлялся, всюду он видел перед собой склоненные спины и был уверен — стоит только ему соблаговолить произнести «*Meine Herren*»¹,

¹ Господа (нем.).

спины эти склонятся еще ниже. Но у людей внизу спины — что греха таить — оставались прямыми. Вот этого-то граф и не мог спокойно видеть.

Он мысленно перенесся в те золотые времена, когда его предки пировали, как Сарданапал,* ничуть не беспокоясь о том, кто будет за это платить. Там внизу, на полях, трудились холопы, к которым по мере надобности посылали нескольких сборщиков податей — и деньги появлялись, как по щучьему велению. А теперь, даже для знатных господ, пополнение кошелька — довольно сложная проблема; банкиры стали такими негодьями. Многие из однокашников его сиятельства, которые в молодости были друзьями, ныне, бедняги, совсем разорились и живут лишь тем, что удастся выкачать из своих же собратьев. Чистой, незапятнанной славы, могущества, благородства, больше уж не сыщешь. Того и гляди почтенные горожане перестанут именовать дворян почетными гражданами.

И тут граф вспомнил поразительную историю, которую ему когда-то довелось услышать. Что-де какой-то дворянин в смутную военную пору приказал забальзамировать себя под гипнозом и в состоянии оцепенения пережил несколько столетий, а затем, в мирное время, снова очнулся для лучшей, более достойной истинного дворянина жизни. Хм, недурная идея! Граф Худрымудрыдес охотно позволил бы себя забальзамировать, чтоб переждать это время, когда уважение к дворянским привилегиям так сильно пошатнулось. А затем он вновь воскреснет в ту прекрасную пору, когда толпы восторженных католиков заполнят улицы вместо этой черни, не предвещающей ничего хорошего для прав и привилегий дворянства. Тогда поедет он, вельможный граф Худрымудрыдес, в сопровождении высокопоставленных лиц, принимая почести от бесчисленных толп и обращаясь ко всем как можно любезнее: *Meine Herren...* и гром аплодисментов разнесется по столице, сотни тысяч уст восславят его имя, и девушки в белом будут бросать ему цветы.

Граф прямо-таки ухватился за эту мысль.

— Обождите, я вас перехитрю. Иметь наглость посоветовать мне, всесильному господину, заспиртовать себя! Ну что ж, будь по-вашему, канальи! Только я

обойдусь без спирта, потому что спирт по-латыни означает «дух», а я его решительный противник. Я повелю забальзамировать себя. Мой гениальный доктор Кнедл усыпит и забальзамирует меня, чтобы через несколько столетий я снова проснулся омоложенный и сильный. Вот тогда я вас всех растопчу и заткну ваши злоречивые глотки. Я навек отобью у вас охоту ко всему, кроме труда на полях милостивого господина.

II

Гениальный маневр графа Худрымудрыдеса был осуществлен. Для света граф умер. Несколько клерикальных газет поместили трогательные некрологи, в которых было высказано предположение, что у его сиятельства случился разрыв сердца от горя, поскольку он потерял свое кресло в парламенте и не мог уже там спокойно выспаться, в связи с чем и решил почить вечным сном. Однако никто не подозревал, что граф вовсе не умер. И если б мог, он в душе смеялся бы над тем, какую остроумную шутку сыграл со своими друзьями и почитателями из великого братства, и над тем, как огорчился папский казначей в Риме, когда вместо милого его сердцу Худрымудрыдеса, щедрого и неутомимого собирателя подаваний, в отчете о пожертвованиях, весьма сократившихся, появилось новое имя. Граф тем временем мирно почивал в одном из отдаленных кабинетов своего дворца, приспособленном для этого, благодаря гениальному искусству доктора Кнедла, на целые два столетия так, что графу не приходилось нюхать нафталин в темном ящике. Здесь был установлен стеклянный колокол, именуемый обычно в просторечьи «glássturz», а под ним находился граф, как две капли воды похожий на восковую фигуру из паноптикума.

Пока шаги истории грохотали над миром, граф нежился в своем нерушимом спокойствии. Но вот и для него пробил час освобождения. Доктор Кнедл, правда, был философом и иной раз с увлечением доказывал абсолютную бесполезность дворянства. Вероятно, он лично верил, что и без дворянства все равно созревала бы рожь, рождались дети, а старики умирали. Но видя, как

почтенные горожане теряют голову из-за дворянских гербов и бывают совершенно счастливы, когда им удастся хотя бы коснуться фалд графского фрака, он думал, что дворянство, может быть, все-таки приносит какую-то пользу и его стоит сохранить хотя бы ради тех добрых людей, что столь охотно ругаются, но еще охотнее целуют дворянские руки.

Так минуло два столетия. Все в графских покоях покрылось плесенью, лишь старый граф не заплесневел. В один прекрасный день он встал, до хруста в суставах потянулся, зевнул во весь рот и, покинув стеклянную тюрьму, по привычке, важной походкой направился на свое старое место в парламенте, словно и не было двухсотлетнего сна. Разве может граф проспать прогресс!

Но оказалось, на сей раз граф действительно многое проспал. Он уже не узнавал города, не узнавал людей. Сказать по правде, ему даже не верилось, что встречи — и в самом деле люди. Он решил продемонстрировать свое аристократическое превосходство над этими невнимательными существами. Остановив ближайшего прохожего, весьма прилично и красиво одетого гражданина, он представился ему как граф Худрымудрыдес и попросил проводить на площадь Пяти костелов. При этом его сиятельство сурово смотрел на незнакомца в свой монокль, будучи уверен, что тот, изумившись, немедленно согнет спину под тем знакомым углом, под которым склоняются члены патриотических комитетов в ожидании какого-либо ордена. Но к немалому удивлению его сиятельства спина гражданина осталась прямой, и графу показалось даже, что на лице этого человека промелькнуло сочувственное выражение.

Но в остальном он весьма охотно удовлетворил просьбу графа и повел его сиятельство чудесными садами, в которых то там, то сям мелькали приветливые и живописные дома.

— Это виллы богатых горожан или дворян? — спросил граф проводника.

— Дорогой друг, — ответил тот, — видно, вы прибыли издалека, я с первого взгляда понял, что вы чужестранец. Это наши знаменитые фабрики. У нас самый короткий рабочий день и самые большие успехи в изо-

бретениях. Те, например, кто занимается повышением плодородия полей по новой системе, работают три часа в день; этого достаточно, чтобы увеличить урожайность.

— А что об этом говорят ваши приказчики, управляющие? Бог мой, да что этим холопам взбрело в голову так экономить? А что скажет граф по поводу подобного ведения хозяйства? А? Откуда нам потом брать жертвования для нашего великого братства? Что мы будем посылать в Рим, если этот сброд так беззастенчиво обворовывает нас? — распаялся граф.

— У нас, дорогой гражданин, нет ни графов, ни прочих титулов старого рабства, как они там именовались. Мне также не известно, чтоб подобный порядок где-нибудь еще сохранился, — продолжал человек спокойно. — А деньги в Рим мы уже давно не посылаем. Насколько я знаю, там прекрасный музей, а никакой не...

Граф в ужасе перебил проводника:

— Так что ж, никакой граф Худрымудрыдес не посылает денег в папскую казну? Неужто неверие и падение нравов достигло такой степени?

— Я, собственно, даже не знаю, что такое граф, и сроду не слышал имени Худрымудрыдес, — ответил проводник спокойно. — Были, конечно, когда-то, как утверждает история, лет двести назад, какие-то бедняги, полагавшие, будто они рождены лишь для того, чтобы тысячи других людей на них работали. Соответствующим образом они себя и вели. Но для нас это все давно в прошлом.

Графу стало не по себе. Господи, куда он попал?

— К счастью, даже эти глупости, так называемые аристократы, мало-помалу взялись за ум. Они тоже убедились, что несправедливо и просто безумно требовать для одного человека таких богатств, которых хватит на жизнь тысяче семей. Некоторые из них стали художниками, другие хорошо трудятся на иных поприщах, и притом они вполне счастливы и довольны своей судьбой — им не нужно ни лошадей, ни собак, ни охоты, ни тому подобных развлечений. Лишь несколько последних могикан были одержимы неизлечимой, навязчивой идеей, будто на основании каких-то старых привилегий они имеют право на огромные поля, и заставляли людей ра-

ботать на себя. Что нам оставалось делать с этими беднягами?

— Ужас, невероятно!— заикаясь, проговорил граф.

— Многое кажется невероятным, мой друг,— заметил спутник.— Когда триста лет назад в Америке шла речь об отмене рабства, тоже говорили, это невысказано... И тем не менее, вскоре так оно и случилось. То же и с наемным рабством. Что поделаешь, люди поумнели. И в конце концов для этих горемык, одержимых навязчивой идеей, пришлось открыть специальный приют.

— И где этот приют?— выдавил из себя граф.

— Мне жаль вас, добрый человек, должно быть у вас там какой-нибудь родственник. Успокойтесь, они находятся под наблюдением опытных психиатров и с ними обращаются, как подобает. Только здание так себе, это покинутый дом привилегированного...

Дальше граф Худрымудрыдес не слышал. Сильное душевное волнение, огромный переворот, которого не предвидел ни он, ни доктор Кнедл, так его потрясли, что, законсервированный таинственным искусством доктора, граф рассыпался в прах на глазах своего проводника. Это случилось как раз у площади Пяти костелов.

В ДЕРЕВНЕ У РЕКИ РАБЫ...

(Очерк из Галиции)

Пан Свышинский передал свою пропинацию (корчму) сыну Болеславу и умер. Этот шляхтич, предки которого в прошлом занимали, вероятно, высокие должности при дворе, должен был удовольствоваться продажей водки крестьянам, которых он спаивал, и все находили это вполне нормальным.

А он гордо говаривал о себе, что не только «шляхтич в огороде равен воеводе», но и «шляхтич в пропинации».

Умирал благородный пан тоже как подобает шляхтичу. Перед кончиной он созвал со всей деревни крестьян и велел выставить им бочонок водки. Мужики пили и время от времени провозглашали: «За здоровье пана Свышинского!»

Когда пришел фарарж и спросил удивленно, что тут происходит, пан Свышинский, собрав последние силы, ответил:

— Так умирает шляхтич, ваша милость. Я дал мужикам выпить.

Затем он велел Болеславу выгнать из избы расшумевшихся крестьян, исповедался и, распорядившись, чтобы в день его похорон мужиков поили даром, спокойно умер, прося священника извинить, что он хрипит... Пан Болеслав унаследовал корчму.

На третий день старика похоронили на кладбище у реки Рабы, где шумят лиственницы. Кладбище перехо-

дило в лес и было подобно саду, вечно свежему и вечно зеленому.

Старый шляхтич покоем там рядом со своей женой Сташкой, которая была всего лишь дочерью обыкновенного лавочника из ближней деревни и не имела дворянского звания. Его шляхетское тело постепенно разлагалось, пока не остался один скелет, который ничем не отличался от скелетов крестьян, лежащих в соседних могилах. А его сын Болеслав хозяйничал между тем в рычовской корчме.

Корчма была невелика и неказиста. Низкое длинное строение состояло из трех помещений: трактира, хозяйской половины и маленькой каморки, где валялся разный хлам и стояла убогая постель, на которой спала Влода. Десятилетней нищенкой пришла она двенадцать лет тому назад в деревню. Мать то ли выгнала ее, то ли не могла прокормить.

Старый Свышинский взял Влоду к себе. Это не был внезапный припадок милосердия: купил он в то время двух коров, и нужно было кому-то за ними ходить.

И Влода осталась там, довольствуясь более чем скудными харчами. Девушка была глухой: однажды старый Свышинский так ударил ее палкой по голове, что она сразу оглохла; в тот день она тайком напилась в погребе и потребовала с него на новую юбку.

Но в остальном Влода выполняла свои обязанности исправно: ухаживала за коровами, работала в поле, обслуживала крестьян в трактире, правда, не замечая, кто что пьет, за что бывала частенько бита. Теперь, после смерти старого Свышинского, эта молодая девчонка напивалась только по большим праздникам.

Грубые и невежественные крестьяне насмехались над ней, ругали ее, тискали и вздыхали: «Ох, девка, девка, бог тебя оставил».

Хаживала она и в костел, где садилась у дверей и спала.

И вдруг Влода круто изменилась: смотрела вокруг себя испуганными глазами и не выходила из своей каморки. Мужики посмеивались: «Ох уж этот пан Болеслав...»

У Влоды родился мальчик...

Никто не памятовал, чтобы в Рычове происходило когда-нибудь нечто подобное. Бывали, правда, временами случаи, когда через два-три месяца после свадьбы то тут, то там обнаруживали приращение семейства. Но дело быстро утрясалось: стоило только заплатить священнику, чтобы он отслужил мессу за отпущение грехов... А в остальном люди жили честно.

Поэтому сначала никто даже не поверил тому, что рассказывала старая Гаянова, которую в таких случаях приглашают.

Разнося свою новость по деревне, она еле держалась на ногах: так была пьяна.

— Пан Болеслав потом меня угостил,— хвасталась повитуха.— Голубчик родился, ножками сучит, весь в папеньку, белый голубчик!

Мужики пошли удостовериться. И в самом деле, все было именно так, как сообщила старая Гаянова. Но пан Болеслав одного за другим выставил за дверь.

Тогда все отправились на фару. Когда староста Матей вошел в избу, кланяясь и целуя протянутую ему руку, священник обедал.

— Ваша милость, срамота-то какая! У Влодки мальчишка родился!

Священник отбросил ложку и вскочил.

— Что такое, Матей?

— По вине пана Болеслава у глухой Влодки родился мальчишка! — повторил Матей.

Священник расвирепел.

— Нехристи! — закричал он.— Все вы нехристи! Вон отсюда, негодяи! Бог вас накажет! Вон!

Когда староста скрылся, священник опустил в кресло, на его лице застыло выражение гнева.

— Скоты! Скоты! — твердил он про себя.— Скоты в человеческом подобии! Господи боже мой, что мне делать?

Поспешно закончив свой обед, он направился к учителю, недавно приехавшему сюда из Бохни Мурованой. С ним он всегда спорил, ставя ему в вину и его молодость, и горячность, и прогрессивные убеждения и считая его поэтому полностью пропавшим человеком.

— Видите, господин учитель,— начал он без всякого предисловия,— куда вы попали с вашей свободной любовью! Глухая Влода родила ребенка, отцом которого...

— Позвольте,— защищался учитель.— Я не имею к этому никакого отношения.

— О, это все ваша свободная любовь! — не сдавался почтенный фарарж, радуясь, что ему удалось вывести учителя из себя.— Отец бедняжки, к сожалению, человек, к которому я всегда питал доверие,— Болеслав Свышинский...

— Шляхтич, ваше преподобие,— отметил учитель.

— Не примешивайте шляхту к этой истории! — рассердился священник.— Станный вы человек...

Тут началась ссора, каких было уже немало. Закончилась она угрозой фараржа немедленно написать в школьный совет о дерзком поведении учителя.

— Это не имеет никакого значения, ваше преподобие,— ответил учитель Вегер.— Меня переведут в другое место, и я попаду прямо в рай, так как чистилище я прошел уже здесь.

Раздраженный священник удалился, размахивая руками и бормоча: «О эти молодые люди, безбожники и кальвинисты» *.

Он направился к пану Болеславу. Корчма была на самом конце деревни. Когда священник перешел ручей, его возмущение заметно уменьшилось, так как он вовремя вспомнил, что пан Болеслав закупает водку на небольшом водочном заводе у преподобных отцов каноников из города.

«Если я буду очень сильно на него нападать, паны каноники могут лишиться выгодного клиента...» — размышлял он.

Господин фарарж тоже хотел бы стать однажды каноником.

Подходя к корчме, он увидел толпу односельчан, которые колотили в дверь и кричали: «Открой, Болеслав! Мы идем поцеловать голубчика!»

Все были пьяны. Перед корчмой валялся бочонок. Пан Болеслав выкатил его им, чтобы они выпили за здоровье новорожденного, а потом заперся и не хотел нико-

го впускать, опасаясь, как бы они не потребовали второго.

Фарарж ускорил шаги, и толпа, увидев его, приумолкла. Старый Йозеф, который шумел больше всех, схватил мясистую руку священника и начал усердно ее лобызать, причитая:

— Согрешила деревня, ваша милость! Глухая Влада согрешила, и благородный пан Болеслав взял на свою душу тяжкий грех!

— Где пан Болеслав?

— Вельможный грешник заперся в пропинации,— ответил пьяный Йозеф.— Помолитесь за нас, ваша милость! Кто мы? — воскликнул он сокрушенно.— Свиньи, ваша милость, самые настоящие свиньи!

Он подошел к бочонку, чтобы проверить, не осталась ли там еще хотя бы капелька.

Священник между тем начал стучать в дверь пропинации, откуда вскоре раздался голос пана Болеслава:

— Катитесь домой, паршивые псы! Никого к себе не пушу!

— Это стучит пан фарарж, невежа! — закричали крестьяне.— Дождешься, мы тебе шею наломаем!

— Кто там? — спросил недоверчивый трактирщик.

— Фарарж Ладзевский,— ответил священник.

Ключ заскрипел, и фарарж вошел в сени. Но, так как за ним успел проскользнуть и один из крестьян, он смог беспрепятственно пройти на хозяйскую половину только после того, как удалось выпроводить непрошеного гостя.

Священник уселся на стул и произнес:

— Пан Болеслав, известие о рождении у вас ребенка наполнило меня безмерною скорбью. Так-то выполняете вы наставления вашего духовного пастыря!..

— Со мной случилось несчастье, ваша милость,— удрученно ответил пан Болеслав.— Я тяжко согрешил против закона божьего. Был я немного выпивши, милосердный боже... она тоже была пьяна и... не сопротивлялась...

Было необычайно трогательно смотреть на пана Болеслава, который при этой исповеди тяжко вздыхал и растерянно тер себе лоб.

— Это страшный грех, пан Болеслав!.. Ну и что вы теперь собираетесь делать?

— Испортил я себе жизнь, ваша милость! Ведь я же хотел жениться... И невесту себе присмотрел — дочь крестьянина Сташки из Стружи... А теперь всему концу...

Я мог получить тысячу рейнских, отделать пропинацию, купить участок леса... А сейчас никто за меня, подлеца, не пойдет!

— А что с Влодкой?

— Умирает в каморке, ваша милость. Роды были тяжелые.

— Несчастный! — вскричал священник. — Что же вы за мной не послали? Грешница может умереть без последнего помазания!

— Знать, уж кончилась, — вздохнул пан Болеслав. — Из чулана давно уж ее криков не слышно.

Священник вскочил.

— Вы с ума сошли! Ведите меня к ней!

— Я совсем отупел, ваша милость, — защищался пан Болеслав. — Голова идет кругом.

Он почтительно повел фараржа в грязную каморку, к постели глухой Влоды.

Там лежала жертва пана Болеслава — белая, окоченевшая, с лицом, искаженным предсмертными судорогами. А у постели, в корзине, высланной разным тряпьем, тихонько попискивал ее ребенок.

— Я не ошибся, — сказал трактирщик, боязливо глядя на умершую. — Бог взял ее к себе.

Священник опустился на колени и начал молиться. Наверно, никогда еще не молился он так усердно, как сейчас, когда столкнулся лицом к лицу с трагедией, с суровой правдой жизни.

Пан Болеслав тоже молился. Когда священник поднялся с колен, он начал сетовать:

— Я очень несчастен, ваша милость! Кто теперь пойдет замуж за грешника Болеслава?.. Позвольте, я вас почищу, здесь столько пыли; покойница в последнее время совсем перестала убирать комнаты.

— Пан Болеслав, — холодно произнес священник. — Ваша обязанность теперь позаботиться о ребенке. Я

могу вам посоветовать. Возьмите кормилицу. Соседка Пригнова как раз кормит девочку. Заплатите ей, и все будет в порядке....

Несчастный трактирщик кивнул головой.

— Затем обращаю ваше внимание на то,— продолжал духовный пастырь,— что ребенку нельзя давать водки.

— Слушаюсь, ваша милость.

— Кроме того, я должен отслужить шесть мессы: три за вас, две за покойницу и одну за новорожденного.

— Ваша милость,— начал торговаться пан Болеслав,— может быть, за покойницу хватит и одной, ведь она была глухой и немного еще успела нагрешить?

— Тогда,— сказал неумолимый пастырь,— за нее буду служить одну, а за вас четыре.

Сокрушенный трактирщик отошел за деньгами и, возвратившись, положил их на пыльный стол.

— Шестью три — восемнадцать,— отсчитал он.— Вот восемнадцать рейнских, ваша милость. Времена нынче плохие. В прошлом году неурожай был.

— Нехорошо поступаете,— строго сказал священник.— В святом деле не подобает торговаться, дайте двадцать рейнских!

— Никак не могу, я еще за солому не получил.

— Вы неисправимы,— проворчал священник, сгребая монеты.— При погребении вашего покойного батюшки вы не хотели мне дать даже восьми рейнских, хотя, как вы помните, в то время шел дождь, и я в результате схватил насморк.

Трактирщик приложился к его руке и спросил:

— Когда можно будет окрестить ребенка?

— Как только отслужу все заказанные мессы.

— А покрõпите, ваша милость, гроб несчастной Влады?

— Покроплю.

— Благослови вас бог, ваша милость.

*

На пана Болеслава свалилась теперь масса забот. Вся эта история стоила ему немало денег. Во-первых, по-

хороны умершей. Хотя он и купил самый дешевый гроб, священнику пришлось заплатить как за похороны по первому разряду. Кроме того, чтобы прекратить всякие разговоры, нужно было устроить поминки для всей деревни, которая когда-то так издевалась над глухой Влодой.

Староста перепился и кричал:

— Бог да хранит пана Болеслава! Да здравствует глухая Влода!

Старый Йозеф вздыхал:

— Свины мы, а пан Болеслав — ангел! Но глухую Влоду бог оставил, не любил он ее.

Бабы пили сладкие настойки и целовали ребенка Влоды, который только благодаря своему здоровому организму выдержал этот бурный натиск и не скончался у них на руках.

Все были очень довольны похоронами. Тетка Пригнова добросовестно кормила младенца, за что получила хорошую трепку от мужа, потому что их собственная дочка плакала от голода.

А у пана Болеслава появилась новая забота: найти крестного. На поминках каждый навязывался в крестные, но после похорон настало протрезвление, и никто из всей деревни не хотел удостоиться этой «чести».

— Что такое, — возмущался староста, — будто я говорил: считайте меня за крестного! Я, староста, и вдруг — крестный отец ребенка этой похабницы и этого грешника!

Остальные рассуждали примерно так же: «Что мы, цыгане, что ли, чтобы взвалить такой грех на свою душу!»

Священник отслужил уже все мессы: и за трактирщика, и за его ребенка, и за покойницу Влоду, — но крестный все еще не появлялся. Прошло четырнадцать дней со дня рождения ребенка, а он все еще оставался язычником... Но ему все шло на пользу.

Тетка Пригнова не хотела больше его кормить, говорила, что нехрестя кормить не будет. И только два рейнских ее успокоили. Но все же она с презрением смотрела на сосущего младенца, вздыхая: «Басурман ты, басурман!..»

Однажды — было как раз воскресенье — в деревню пришел мазурский бродяжка * и начал просить милостыню, идя от одной избы к другой. Что это был мазур, видно было по его произношению, а что он бродяга — по его ветхой одежде и по обличию.

— Издалека будешь, сукин сын?

— Из Коломыи, приятели. Брожу уже двадцать лет.

Некоторые подавали ему, кое-кто давал и по затылку, и бродяжка шел дальше.

Так он дошел до пропинации пана Болеслава, где заказал себе на выпрошенные деньги водки. Пан Болеслав некоторое время наблюдал за бродяжкой, потом спросил:

— Скажи, ты человек честный?

— Честный странник, пан хозяин, — ответил тот. — Брожу двадцать лет. Сейчас иду в Коломыю, домой, в королевство *.

— А ты никого не убивал?

— Матерь божия, заступница, никого я не убивал и никого не грабил. Мы только ходим, а нас преследуют.

Пан Болеслав задумался.

— Напою тебя даром, сделаешь кое-что для меня?

— Что желаете, пан трактирщик?

— Будешь крестным отцом моему ребенку, — решился наконец пан Болеслав. — Одолжу тебе кунтуш, и пить будешь даром, да еще рейнский дам в придачу.

И пан Болеслав рассказал бродяге свою печальную историю.

— Если вы желаете, пан трактирщик... — произнес бродяга. — Меня зовут Пшека Йозеф... Отца своего не знаю... Только бук показала мне покойная матушка, на котором мужики повесили моего папеньку — конокрада.

На другой день были крестины.

*

Облаченный в одолженный кунтуш, бродяга важно держал ребенка, затем он сделал три крестика в метрике, а пан фарарж получил три рейнских. Потом все отравились в пропинацию.

Пришли и мужики и целовали крестного-бродяжку. Никакого неприятного происшествия не приключилось, только как следует пили и беседовали.

Пан Болеслав, довольный, что нашел-таки в конце концов крестного, пил паршивое вино и называл бродяжку братом.

Поздно ночью Пшека уснул на постели глухой Влоды, куда его отнесли мужики, которые долго еще потом шумели на улице, разбудив своими криками учителя Вегера. Тот так и не мог больше уснуть и смотрел из окна избы на долину реки Рабы, на шумливые воды, пенящиеся у скал, на темные леса над рекою, такие же темные, как и жизнь в этой деревне.

КАК ЮРАЙДА СДЕЛАЛСЯ АТЕИСТОМ

I

Юрайда, выпускник гимназии города Градиште, собирался в Прагу для пополнения образования; первым делом он съездил поклониться святым мощам в Велеграде, так как был весьма набожным юношей. Отец его был депутатом от клерикальной партии и при всяком удобном случае повторял: «Мы — католические христиане».

Один дядя Юрайды был приходским священником, два двоюродных брата — причетниками и одна, отдаленного родства тетка — просвирней. Сам Юрайда в течение всех гимназических лет прислуживал в церкви министрантом, знал наизусть жития святых отцов и вот теперь должен был поступить в Пражский университет, хотя очень хотел бы стать сельским попиком. Но отец желал сделать из него адвоката, и так случилось, что Юрайда, сидя в ресторане Градиштского вокзала со своим дядей-священником, в последний раз беседовал с ним о боге и клялся, что останется и в безбожной Праге богобоязненным католическим христианином. При этом он лил в себя вино, как в бочку, и все твердил:

— А что? Мы — католические христиане.

— Эх, мальчик, — говорил ему на прощание преподаватель дядя. — Прага — ужасный город. Ты ведь помнишь: они там утопили нашего святого Яна *, да и

сейчас там, поди, не лучше. Со всех сторон обступят тебя, начнут склонять к неверию, а ты им так и говори: знаете что, скажи, мы — католические христиане и до смерти так и останемся католическими. Ох, мальчик, они тогда богохульствовать начнут, а ты их не слушай.

Когда дядя закончил проповедь, племянник подумал, что можно бы получить от него дополнительных денег на дорогу, и прочувствованным голосом проговорил, что лучше бы ему снять отдельную комнату, чтоб не слышать, как богохульствуют сожителю, но это требует больше денег, чем он в состоянии уплатить.

— Что ж, мальчик, на тебе еще двенадцать рейнских, ты только от бога не отступайся. Не отступишься от бога — и он тебя не покинет и проведет тебя счастливо через все препятствия и препоны.

И Юрайда с сердцем, переполненным набожностью, укатил в Прагу.

II

В Праге он не занимался науками, а пил пражское пиво; когда же случалось ему вспомнить родную Моравию — заглядывал в винный погребок, опрокидывал там чарочку-другую, съедал порцию моравской колбасы и говорил: «Мы — католические христиане».

После трех месяцев такого образа жизни он переехал из отдельной комнаты в общую с двумя студентами-политехниками, которых звали Мразек и Колинко и с которыми он заключил верную дружбу, не омраченную ничем, кроме разве того, что Мразек и Колинко не верили в бога. Религиозные дебаты переносились даже в трактиры, где Юрайда ближе к полуночи обычно кричал:

— Вы лютеране и язычники, а мы — католические христиане!

К двум часам пополуночи обыкновенно наступало примирение, и язычники, обнявшись с католическим христианином, шагали домой, распевая во все горло. Однажды друзья затащили Юрайду к студентам из Ганацкого края; к полному ужасу набожного Юрайды, ганаки затянули в полночь песню о картошке, которая

на развалистом ганацком наречии звучала примерно так:

Господи на небесè,
Не твори ты чудесè!
Стоит дуть в твои мехè
Для дурацкой картохè!
Ты б чудесил для себè,
Картовь растет и без тебè!

Юрайда взбунтовался, зашумел:

— Чего и ждать от вас, все вы лютеране и язычники! А теперь я сам петь буду!

И он с ужасающей истовостью заголосил:

Мораву никому от веры не отторгнуть,
Наследье отчее нам сохрани, господь...

Его отбытие было молниеносно и великолепно: на лету он опрокинул стол и два стула, но, очутившись на улице, все-таки крикнул безбожникам-ганакам:

— Больно надо мне с вами сидеть, язычники, магометане!

Он ушел домой, помолился всемогущему богу, благодаря его за то, что счастливо избежал подводных рифов неверия; когда вернулись Мразек и Колинко, Юрайда уже спал сном праведника на полу, где он постелил себе в наказание за то, что слышал, как поют: «Ты б чудесил для себè, картовь растет и без тебè». Утром он проснулся, томимый страшной жаждой, а тут еще предстоял экзамен, который должен был подтвердить, что Юрайда честно прослушал семестровый курс римского и германского права. Юрайда записался на экзамен, чтоб его освободили от уплаты за учение, ибо финансы его стремительно таяли под влиянием Смиховского акционерного пивоваренного завода.

Во всем этом было одно «но». Юрайда не знал ни аза ни в римском, ни в германском праве и только смутно подозревал, что это какая-то чепуха. Однако, с другой стороны, он уповал на помощь божью и с сердцем, переполненным доверия, ждал чуда.

Он принялся листать курс лекций и пить воду, гримасничая и злясь. Такая зверская жажда — и всего двадцать крейцеров в кармане! Тогда он стал жаловать-



«Первое мая советника Мацковика»



«Как мой друг Ключка рисовал святую Аполону»

ся своим сожителем. Собачья жизнь. Деньги он получит только послезавтра. А завтра экзамен. И ему просто необходимо вечером как-то подбодриться, но как подбодрись, когда у тебя только двадцать крейцеров. Нищета, настоящая нищета. И вот у него к ним просьба: одолжите, ребята, два рейнских...

Мразек с Колинко переглянулись, отошли посоветоваться. Потом Колинко приблизился к Юрайде и с серьезным видом заявил:

— Вот что, приятель, денег-то мы тебе дадим, но ты сначала побогохульствуй.

Юрайда вскочил:

— Ах вы, язычники, мы — католические христиане, и лучше мне погибнуть, чем оскорбить творца...

— Значит, не будешь ругать бога, Юрайда?

— Не буду.

— Это твое последнее слово, Юрайда?

— Последнее.

— Что ж, будь здоров.

И они ушли, оставив его вне себя от негодования. Потом Юрайде сделалось грустно, он начал машинально перелистывать курс римского права. Его подозрения оказались справедливыми: сплошная чепуха.

Обедать Юрайда не пошел, закурил трубку, лег на диван и отбросил лекции: он курил и надеялся на бога.

После обеда появились Мразек и Колинко; будто не видя Юрайду, они сели к столу и завели бессовестные разговоры о том, как они вечером пойдут в пивную «У Флеков» и какое там славное пиво.

Юрайда не выдержал.

— Ребята, ну дайте же мне хоть один рейнский, богом ведь прошу.

Он смотрел на них, как смотрит на судью обвиняемый перед вынесением приговора.

— Юрайда, богохульствуй, — был ответ Мразека.

Юрайда молчал. Мразек и Колинко спокойно продолжали беседу о флековском пиве, пока Юрайда не начал корчиться на своем диване.

— Да, ну же, друзья, один рейнский!

— Юрайда, богохульствуй.

Страшная борьба шла в душе Юрайды — и Юрайда сломился.

Он начал ужасно богохульствовать, он ругал бога на чем свет стоит. Потом потребовал два рейнских. Его заставили еще покошунствовать и выдали монеты.

Все трое отправились во Флековскую пивную; на пороге распивочной Юрайда обернулся к друзьям:

— А все-таки мы — католические христиане!

Домой вернулись утром. Юрайда умылся и пошел на экзамен. Результат был таким, каким только и мог быть, когда человек вообще ничему не учился. И ни при чем тут богохульство. Юрайда с треском провалился потому, что на все вопросы отвечал нечленораздельным мычанием.

Все это случилось накануне пасхальных каникул, которые длятся месяц. В тот же день Юрайда уехал домой и весь месяц прилежно зубрил, так как решил пересдать экзамен после каникул. На каждой странице учебника он написал: «Мы — католические христиане». Он ежедневно посещал святую мессу и жарко молился богу, чтобы ему прощен был грех и из книги жизни вычеркнуты его безбожные богохульные слова. Родные не нарадовались на него и, когда он уезжал в Прагу, снабдили изрядной суммой. Так Юрайда с сердцем, переполненным набожностью, возвращался в столицу.

III

— Юрайда, богохульствуй, — были первые слова, которыми встретили его сожители.

Он принялся усовещивать их, призывая помнить о вечном спасении. Как горохом об стену. Друзья хохотали, кричали наперебой:

— Юрайда, богохульствуй!

Юрайда ушел в костел; вечером он сидел дома, повторяя римское и германское право, а на другой день, с полным доверием к богу и уверенностью в своих знаниях, отправился держать экзамен.

И второй раз Юрайда провалился с треском, как будто и не занимался науками, а все вечера напролет позорил гнусными словами святую Орлеанскую деву.

В полдень, рассвирепевший, он влетел в трактир, куда ходили язычники Мразек и Колинко, и гаркнул на все помещение:

— Ох, как я сейчас побогохульствую, я опять прова-
лился, теперь мы атеисты!

Приехал как-то в Прагу дядя-священник и, не
найдя Юрайды дома, пошел за ним в трактир. Там,
в компании ганацких студентов восседал его племян-
ник, громовым голосом выводя:

Господи на небесѣ,
Не твори ты чудесѣ!
Стоит дуть в твой мехѣ
Для дурацкой картохѣ!

Дядя-священник моментально скрылся, а вдогонку
ему неслоь:

Ты б чудесил для себѣ,
Картовь растет и без тебѣ!

— Язычник паршивый! — плюнул дядя.

ГРЕХ ПАТЕРА ОНДРЖЕЯ

Приходский священник Ондржей уже восемнадцатый год пребывал в чистилище, сам не зная за что. До сих пор ему не вынесли окончательного приговора, хотя в последние годы чистилище вовсе не было так уж переполнено. Большинство душ делало здесь только временную остановку; не успеешь оглянуться — как их под зубовный скрежет препровождали дальше, в пекло. Порой, набравшись смелости, патер Ондржей пытался спросить кого-нибудь из ангелов-надзирателей:

— За что вы меня здесь держите, господа?

Но они пожимали крыльями и неизменно отвечали:

— Ваш процесс еще не завершен, преподобный отец.

От этих слов ему всегда становилось жутко, как только может быть жутко душам в чистилище, хотя он не знал за собой ни единого греха. Был он одним из тех досточтимых священнослужителей, коих описывает Райс *. На земле он обладал всеми необходимыми приметами подобного персонажа: длинными седыми волосами, дрожащим старческим голосом и первоклассной моральной чистотой.

И все-таки его держат под следствием в чистилище.

Последнее время его товарищем по несчастью был один капеллан, который мог рассчитывать на добрый десяток тысяч лет отсидки в чистилище. Бедняга однажды целых четверть часа, разинув рот, простоял на юбилейной выставке у подножия американских горок, у самого желоба, а по пути к дому был разбит параличом.

— Представляете, ваше преподобие, настоящие брюс-

сельские кружева,— рассказывал несчастный капеллан пану Ондржею, чья чистая душа не ведала различия между самой обыкновенной нижней юбкой и кружевной.

Ангелы тихонько летали вокруг священника и, жалея его, пели ему трогательные песни на слова святых отцов и советовали:

— Соизвольте подать апелляцию, пан патер.

И он подал апелляцию в письменном виде:

«Достославный высший судия!

Нижеподписавшаяся ничтожная душа, приходский священник Ондржей, сим обращается с нижайшим прошением об освобождении его из чистилища и осмеливается привести в обоснование оногo покорнейшего прошения следующие доводы:

А) Нижеподписавшийся не помнит за собой ничего, могущего запятнать его совесть. Жил он согласно велениям святых отцов церкви.

В) Нижеподписавшийся абсолютно целомудрен, что может подтвердить церковный староста Палушка, в настоящее время пребывающий в котле за номером 253 в чистилищном отделении с умеренным режимом, которое снабжено вентиляторами.

С) Это же, то есть целомудренность и безупречность нижеподписавшегося, может подтвердить и жандармский вахмистр Йозеф Лоукота, ныне пребывающий во блаженстве на небесах, у пятого турникета.

Д) Нижеподписавшийся обнаружил чудотворный источник и бесплатно поставлял из него воду в сиротские приюты и исправительные дома.

Е) Гимназию окончил с отличием, что может подтвердить ее директор Алексисус, ныне приписанный к штату ангелов, стерегущих в чистилище гимназистов.

Ф) Нижеподписавшийся в совершенстве владеет латынью, греческим, древнееврейским и арамейским языками, что особо следует принять во внимание.

Г) Никогда ни в чем не усомнился.

Исходя из вышеизложенного, оный приходский священник обращается с прошением об освобождении его из чистилища и, в случае благоприятного решения своего нижайшего ходатайства, обещает приложить все силы, чтобы оправдать столь высокое доверие».

Однако прошение было возвращено.

— Не по форме,— сказал принесший его ангел. При жизни этот ангел был чиновником в одной из канцелярий.

Тогда патер Ондржей написал на обороте листа: «Ничтожная душа, приходский священник Ондржей, подает прошение об освобождении из чистилища: sub litigis¹ a, в, с, d, e, f, g».

В годовщину своей смерти (обычно ранее того и на земле ходатайства не разбираются) он получил ответ:

«Ваше преподобие!

Доводим до вашего сведения, что высший суд в ближайшее время заседать не будет, а посему мы переправили ваше прошение в судебную комиссию чистилища, дабы она по возможности уделила внимание вашему ходатайству и по расследовании содеянных вами прегрешений передала ваше дело в обычную судебную инстанцию, перед коей вам и надлежит предстать.

За подготовительный комитет высшего суда:

Гавриил».

И тихо потекли годы под жалобные вопли душ и трогательное пение ангелочков, укачивающих в чистилище души некрещеных младенцев.

Но вот наконец патер Ондржей получил повестку: «Вас вызывают в священный сенат».

В нижней судебной палате чистилища уже заседал сенат, который могли лицезреть лишь ангелы-надзиратели, введившие подсудимых. В воздухе парила книга жизни патера Ондржея, перелистываемая невидимой рукой.

— Приходский священник Ондржей,— услышал он голос,— видишь ли ты книгу своей жизни? Она чиста, за исключением лишь одной страницы. А теперь ответь честно на вопрос: имел ли ты брата в Австралии?

— Имел, о великий сенат.

— И следующий вопрос: писал ли ты своему брату в Австралию?

¹ По пунктам (лат.).

— Да, о славное судилище. В 1882 году в Сидней. Книга захлопнулась, и до него донесся глубокий голос, по всем приметам принадлежавший председателю сената:

— Ты обстоятельно проштудировал все книги святого Августина, учителя церкви?

— Да.

Теперь был слышен лишь шум крыльев. Суд удалился на совещание. Снова шум крыльев, и голос свыше возвестил:

— Священник Онджей осуждается на 15 000 лет принудительного пребывания в чистилище с зачетом предшествующих 22 лет предварительного заключения. Основание.

В своей книге «*De retractatione, vel librorum recensione*»¹, датируемой 415 годом после рождения Христова, учитель церкви Августин провозгласил веру в антиподов * ересью (см. лист. 213). А так как Австралия принадлежит к антиподам, то и вера в существование Австралии есть греховное богохульство, кое усугублено и подтверждено посылкой обвиняемым письма брату своему к антиподам в Сидней. В качестве смягчающих обстоятельств принимаются во внимание абсолютная целомудренность и чистосердечное и полное признание состоящим под судом патером Онджеем своей вины.

— Не плачьте,— утешали осужденного ангелы,— нечто подобное могло случиться с вами и перед любым сенатом на земле.

¹ «О повторном рассмотрении, или о цензурном обследовании книг» (лат.),

ГЕРОИ

(История любви)

Никто еще не говорил так искренне, как она в свои двенадцать лет: «Он меня любит!»

Он, тринадцатилетний подросток, стоя перед зеркалом, в свою очередь, также с гордостью произносил: «Она меня любит!» Вот он засунул в карман пистолет с бумажными пистонами и отправился на свидание, сказав своему ворчливому дядюшке, что идет к товарищу учить геометрию.

На Вышеградской улице она уже ждала его (под шапочкой новая прическа), а в подъезде дома напротив ждали две ее школьные подружки, которых она привела, чтобы показать им это чудо — своего возлюбленного.

Ой, как они будут злиться, заранее предвкушала она удовольствие, ведь у Марженки никого нет, а та, другая, — Лона — гуляет с одним мальчишкой из городского училища, который и курить-то еще не умеет да к тому же шепелявит.

А вот ее герой... Он уже принял боевое крещение курильщика, и даже в ее присутствии, когда они встретились еще во второй раз. Учится он во втором классе гимназии, значит, уже ученый, и на щеке у него родинка. Правда, родинки могут быть у кого угодно, но у него на ней растут три волоска. Это украшение казалось ей особенно привлекательным и красивым как некий зачаток усов. Так он выглядел солиднее, почти совсем как их швейцар, у которого тоже есть родинка и под ней солидная борода.

Держался он также в высшей степени мужественно. Однажды он ей сказал:

— Посмотрите, как я далеко доплюну,— и доплюнул с тротуара до трамвайных путей перед самым носом какого-то близорукого господина, который тотчас же машинально раскрыл зонтик, полагая, что пошел дождь.

— Как-то раз,— сказал он тогда, гордо выпрямившись,— я доплюнул с Вышеграда до Влтавы *, ка-ак за-свистит! А и ветра-то совсем не было.

Он умел и ругаться, и так красиво! Одним словом, он был в ее глазах настоящим кавалером. Сегодня она решила сделать его еще и ревнивым кавалером.

И вот он появился в дверях трамвая, готовя в кармане пистоны для пистолета и мечтая о том, как пойдет с нею на Вышеград, к старым укреплениям, и там выстрелит. Он ни капельки не сомневался, что она полюбит его еще сильнее и будет смотреть на него с еще бóльшим обожанием.

Он подошел к ней.

— Вот и я. Чуть было не задержался. Наша кошка принесла котят, и я должен был пойти их утопить.

— Ой, ой!

— Но я решил, что топить не стоит, отдам лучше собакам. Они их с удовольствием слопают.

Она не осмеливалась даже взглянуть на него: таким он ей казался мужественным и таким прекрасно беспощадным.

— А котята мяукают, когда их собаки едят?

Он махнул рукой.

— Мяукают не мяукают — какая разница, барышня! Черт с ними! Не стоит больше об этом говорить.

— Но они такие чистошерстные животные!..— попробовала она заступиться.

— Этого еще не доставало, чтобы кошки не знали... что к чему...

Он чуть было не сказал нечто более сильное, смутился и неожиданно выпалил:

— В нашем доме сегодня утром был пожар!

Каждый день он сообщал ей какую-нибудь трагическую новость, которую усиленно придумывал ночью. Однажды у них повесилась дворничиха, в другой раз у жильцов на первом этаже упал в кастрюлю с горячим

супом грудной ребенок. А то как-то пан Малек вскрыл себе жилы на руке. Но на другой день тот же пан Малек погиб уже вторично, причем самым фантастическим образом. Он надел на водопроводный кран в кухне резиновую трубку, а другой ее конец вставил в рот. Затем открыл кран... Представляете себе, что случилось и какая это была ужасная смерть! Самоубийца утопился в кухне, сидя на диване, и никто даже ничего не подозревал. Прежде всего он затопил желудок...

Ну, а сегодня у них не больше не меньше, как пожар в доме.

— Огонь взметнулся со страшной силой,— начал он рассказывать тоном репортера.— В подвале находился владелец лавки...

Он рассмеялся и начал пыхтеть, изображая автомобиль: «па-па-па».

— Здорово у меня получается, барышня?

— Здорово!

— Я умею еще косить глазами и вращать ими.

И он начал устрашающе гримасничать. На счастье, они подошли уже к вышеградским воротам.

«Теперь пора»,— подумал он и, не переставая скрежетать зубами и скашивать глаза, вынул пистолет и сказал:

— Заткните себе уши!

Она послушалась, и он выстрелил. Раздался еле слышный звук.

— Ну как, не гремело у вас в ушах?

Она сказала, что гремело и что это был, вероятно, ужасный взрыв. Он засунул пистолет и произнес серьезно, перестав косить глазами:

— Однажды при выстреле разорвалась пушка и убила пятерых канониров. Мой дядя был при этом.

— Вы умеете ловить птиц? — спросила она, глядя на него преданными глазами.

— Как угодно: руками, при помощи лассо, подбить камнем. Как-то раз я убил камнем индюка. Мы его съели. Потом полицейские отвели меня в тюрьму. Оттуда я бежал с помощью Каролины. Это была самоотверженная женщина. Она достала мне одежду и через потайную дверь, которая вела в подземелье, спустила меня в ров. Сторож ее за это выгнал. Но я еще отомщу!

Все это было заимствовано из авантюрного романа «Карасек и Штюльпнер, два прославленных разбойника из Рудогоржи». Сто восемьдесят шестой выпуск этого романа только что приобрел его дядюшка.

Она смотрела на него с обожанием. Его речи сплелись у нее в голове в целостный образ: мой возлюбленный — герой.

— А есть вам давали что-нибудь в тюрьме?

— Что вы! Если бы не было самоотверженной Йозефины (вначале это была Каролина), я был бы вынужден питаться собственным телом, как тот капитан с Длинной улицы.

И капитана и Длинную улицу он выдумал. Вдруг провозгласил:

— А вообще я — евангелист*.

Какая-то удивительная теплота разлилась по всему ее телу. Так он евангелист! Это делало его еще более необыкновенным. А сам евангелист в тот момент молил в душе пана законоучителя отпустить ему этот грех — что он ради девчонки отрекся от святой католической церкви.

Из школы она вынесла представление о евангелистах, как о людях, которые, хотя и христиане, но в бога не веруют. Теперь же ей стало казаться, что каждый евангелист — герой.

— А много на свете евангелистов?

Чтобы выглядеть еще более оригинальным, он ответил:

— В Чехии всего несколько человек.

— А веруют они в бога?

— Иногда... но мало. (Господи, отец наш небесный, прости и помилуй!)

Его познания о евангелистах были весьма туманными: кто их знает, чем они вообще занимаются и как обстоит дело с их верой.

— Все полководцы были евангелистами, — завершил он изложение своего вероучения.

Она не спускала с него преданных глаз.

— Вы похожи на тюленя, — сказал он ласково, глядя ей в глаза.

Недавно на уроке зоологии учитель показал им в ка-

бинете молодого тюленя с бархатной кожей и такими же, как у нее, глазами.

— Тюлень обитает в северных морях,— добавил он ученым тоном,— и ползает так же медленно, как и вы. Не можете, что ли, идти побыстрее?

Она чуть было не расплакалась, но одновременно ей и понравилось, что он такой по-мужски грубый. Возбужденная, она крикнула: «Ловите меня!» — и помчалась вверх к укреплениям. Он схватил ее за косу и ударил по спине.

— Давайте играть в жмурки,— предложила она.

— Все это глупости! Я лучше расскажу вам, как делаются витражи.

И начал рассказывать о витражах, которые разрисовывает его дядя, о его мастерской и о пане Тепере, который изобрел аппарат для поджаривания каштанов. Его фантазия работала необычайно бурно: он выдумал и витражи и пана Теперу, а в заключение сообщил, что у его постели стоит нарисованный святой Петр. Это целое костельное окно. И когда светит месяц, святой Петр оказывается на самой постели, бледный, красный, зеленый. И это очень страшно, потому что он вращает своими золотыми глазами.

— А вы ночевали когда-нибудь на кладбище? — спросила она, трясась от страха.

— Только один раз, в мертвецкой,— небрежно бросил он.— Это я поспорил с могильщиком из Еждины у Крумлова. Могильщик со страху за меня за ночь пошел, а я спал, как на перине.

— Мне это будет сниться теперь,— прошептала она.

— А вы напейтесь на ночь коралки *, — посоветовал героический возлюбленный, — как это делают негры...

Он не знал, что еще добавить, поэтому изменил тему и, указывая вниз, на Подол, сообщил:

— Я сюда доплывал со смиховской купальни.

Перед ними внизу лежал Подол. Долина простиралась под их ногами до самого Збраслава и лесов на Зависти, окаймлявших горизонт.

— Вы были там когда-нибудь?

— Был, на лодке. Я ее взял на Вышеграде и греб до тех пор, пока кровь не потекла из ладоней. А там водятся гадюки...

Она стала вдруг необычайно разговорчивой и начала рассказывать о своей тете, которая гадает по домам на картах. Служанкам за шесть крейцеров, а дамам и барышням — за десять. Служанкам карты предсказывают, что за свои шесть крейцеров они получат в мужа ремесленников, а барышням — что за свои десять крейцеров удостоятся учителя или графа.

Глядя на него, она неожиданно предложила:

— Давайте убежим вместе!

— Давайте, — согласился он, — только куда-нибудь подальше. Я возьму с собой нож и школьное свидетельство. А деньги у вас есть?

— Я продам свой географический атлас и молитвенник, — быстро ответила она, не желая отставать от него в отваге.

Они спустились с крепостных укреплений, договариваясь дорогой встретиться завтра вечером у богадельни и ехать затем поездом далеко, далеко... Где-нибудь в лесу они переспят, а утром напьются воды из родника и пойдут дальше. Потом он зарежет курицу, и они ее изжарят в лесу, а святой пустынный их обвенчает. По дорогам они будут нападать на купцов, везущих в город товары...

Так они промечтали до самого расставания, условившись встретиться завтра. И она даже забыла, что собиралась возбудить в нем ревность, хотя девчонки в школе ей советовали: пусть скажет, что с ней всегда здороваается один молодой человек из их дома

Распрощались...

Она долго смотрела ему вслед, как он удалялся к Троицкой улице. А на следующий день продала атлас...

С той поры она его не видела.

Встретились спустя уже несколько месяцев на катке.

— Я тогда вечером не мог прийти, — пробормотал герой. — У нас было трудное задание по чешскому языку...

Она отвернулась от него, а через час уже победоносно мчалась мимо с кадетом из первого класса кадетского училища. И когда она была совсем близко от своего первого возлюбленного, подставила ему ножку...

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Комитет увеселительного и благотворительного общества «Подлинный благодетель» констатировал в начале декабря, что казна общества составляет сто двадцать крон. Само собой разумеется, его члены тотчас же собрались в помещении общества, чтобы обсудить, как наиболее целесообразно и благотворительно распорядиться этими деньгами в связи с приближавшимся рождеством. Под влиянием выпитого пива председатель почувствовал прилив сентиментальности и трогательным голосом заговорил о вдовах и сиротах. Унылыми красками он начал рисовать какой-то неясный случай с бедной вдовой, которая повесилась на рождественской елке. Потсм он принялся икать и заказал себе сливовицы. Секретарь потребовал три бутылки вина, и комитет вернулся к вопросу о том, как в благотворительных целях распорядиться казной общества. Наконец председатель, который уже начал лить сливовицу в вино, высказал мысль: через объявление в газете предложить беднейшим, безукоризненной репутации вдовам-матерям подать прошения о поддержке в общество (прием от пяти до шести пополудни). Пяти вдовам выдадут по двадцать крон, то есть всего сто крон. Поскольку казна общества составляет сто двадцать крон, останется еще двадцать. Что с ними делать? Собравшиеся мудро разрешили и этот вопрос. К полуночи сообщая они пропили тот остаток, с которым не знали, что делать, и

тем самым благоразумно закруглили сумму общественной казны.

Объявление, данное в отделе кратких сообщений, начало оказывать действие. Председатель сидел в помещении общества с пяти до шести, пил пиво и в панике принимал прошения бедных вдов. В первый день по почте их пришло двадцать и лично было вручено шестьдесят.

Председатель начал нервничать и с ужасом заметил, что у него уже нет больше слез. Его растрогали вдовы и сироты, целым потоком хлынувшие к нему. Они целовали ему руки, причитали и плакали. Одна вдова привела с собою двенадцать человек детей. Бедняга, вытаращив глаза, смотрел, как эти взятые напрокат детишки, похожие на дюжину близнецов, по данному знаку подняли страшный рев и принялись буквально лизать ему руки. Грязные, засаленные рты выглядели так жалостно, что он чуть было не полез в карман, чтобы из своих денег наделить сироток крейцерами, как вдруг без стука в помещение вторглась новая процессия — пятеро ребятишек, которых вела женщина с грустным выражением лица. Это выражение мгновенно исчезло, едва бедняжка увидела первую трогательную группу.

Она подскочила и начала награждать пощечинами мать двенадцати сирот. «Я-то вдова, — кричала она, — а у тебя есть муж, вы едите гусей! Со всего дома, подлая тварь, собираешь детей и ходишь попросайничать!»

Председатель с ужасом взирал на неожиданный оборот, который приняла борьба. Подвергшаяся нападению сломала его зонтик о новую просительницу, в то время как детишки бросились друг на друга и выдавили стекло в книжном шкафу общества.

Председатель вышел из себя. Он начал стучать кулаком, официант бросился вышвыривать мать-самозванку, трактирщик освобождал помещение от другой вдовы, сироты поочередно вылетали на улицу, — потом наступила тишина, и председатель крикнул официанту: «Принесите мне коньяку!»

Около шести часов председатель свалился со стула. Он выпил двадцать рюмок коньяку и стащил на себя скатерть, а вместе с ней и все прошения об оказании денежной помощи к рождеству.

Председатель спал на диване в соседней комнате, когда собрались члены комитета, и у них создалось впечатление, что здесь, по-видимому, разыгралась какая-то трагедия.

В тот день пили умеренно и пропили только пятнадцать крон; а после того как был застеклен книжный шкаф, в казне осталось восемьдесят крон. Таким образом одна вдова отпала; лишь четыре получают по двадцать крон.

На второй день принимал прошения секретарь. Это был нервный человек. Он страшно разгневался, когда одна из просительниц попыталась обнять его колени.

— Вон! — зарычал он. — Прочь отсюда, это ужасно! Затем появилась молодая красивая вдовушка.

— Не хочу ничего слышать! — кричал он. — Давайте прошение и будьте здоровы! Понятно? Я не юноша! Черт возьми!

Позже пришли члены комитета и стали серьезно обсуждать благотворительные цели общества.

Председатель потребовал возмещения убытков. Он хотел двадцать крон за сломанный зонтик и труды, связанные со вчерашним приемом прошений. Его упрекали в том, что он грабит общество, что он алкоголик.

Секретарь кричал, что если председатель получит двадцать крон, то нужно возместить убытки всем принимавшим прошения членам комитета. В конце концов он потребовал две кроны, потому что заказывал себе в служебные часы бифштекс и три кружки пльзеньского пива. Дебаты становились все более ожесточенными. Наконец все сошлись на одном. Лучше наделить лишь двух порядочных вдов двадцатью кронами, чем допустить, чтобы двадцать крон попало в дурные руки.

Когда они расходились, казна общества снова уменьшилась.

Пришел сочельник; в кассе общества лежало шестьдесят восемь геллеров, а на столе — триста двадцать прошений бедных вдов.

— Господа,— сказал председатель,— в связи с обстоятельствами, которых мы не могли предвидеть, задача рождественских подарков в этом году не состоится. Остается решить вопрос, что делать с остатком казны в шестьдесят восемь геллеров. Пусть они положат начало средствам для наших будущих благотворительных целей, которым я провозглашаю громкое «Наздар!»¹.

¹ Наздар (чешск.) — в данном случае в значении «Да здравствует!».

О СВЯТОМ ГИЛЬДУЛЬФЕ

I

Тирольское селение Обервашберенталь раскинулось у перекрестка двух дорог. Само по себе это обстоятельство не представляет ничего достопримечательного, но на том перекрестке стоит столб, а на столбе висит образ святого с бичом в руке. Над этой фигурой надпись: «Святой Гильдульф, молись за нас, грешных!».

Образ этот не лишен занимательности, поскольку святой Гильдульф указывает своим бичом на селение Унтервашберенталь, как будто грозит ему. Примечателен он и тем, что нарисовал его бродячий подмастерье-полировщик, когда оказался в неоплатном долгу у старосты Обервашберенталья — содержателя местного трактира. Не имея возможности расплатиться, он очутился перед выбором: либо послушаться старосты и нарисовать «какого-нибудь святого, который грозил бы бичом Унтервашберенталю, где все село сплошь бандиты и враги обервашберентальцев», либо отправиться в тюрьму.

Бедняк предпочел первый вариант и за хлеб и воду нарисовал святого. Когда же работа была закончена и его спросили, как звать этого святого, он оказался в большом затруднении. Но тут, на счастье, парень вспомнил, что в Линце у него есть дядюшка по имени Франц Гильдульф; трясущейся рукой вывел он тогда под своим творением: «Святой Гильдульф», а приходский священник приписал к этому по-латыни: «Молись за нас, грешных!».

Самое интересное заключается в том, что дядюшка бродячего подмастерья сразу стал святым, сонм святых пополнился еще одним типичным представителем, а жители Обервашберенталя были введены в заблуждение, так как обращались со своими молитвами к святому Гильдульфу в непоколебимой вере, что такой святой действительно существует.

Однако священник вражеского селения Унтервашберенталя, изучив святы, установил, что Гильдульфа там нет.

Обервашберентальцы восприняли это как личное оскорбление. И их священник (который и раньше был врагом своего коллеги из Унтервашберенталя, потому что, играя с ним в пикет, всегда проигрывал) в ответ на оскорбительное утверждение соседа торжественно провозгласил, что святому Гильдульфу вовсе и не обязательно быть в святцах: совершенно достаточно того, что он вместе с другими избранными радуется на небесах, а на перекрестке грозит бичом Унтервашберенталю. А в конце концов пусть в этом безбожном гнезде говорят, что хотят, хотя бы и вместе со своим духовным пастырем, который жульничает при игре в пикет,— святой Гильдульф будет и дальше ходатайствовать за всех, кто горячо помолится перед его образом и опустит свою лепту в церковную кружку, прикрепленную к столбу.

Каждую субботу причетник вынимал из кружки монеты, и унтервашберентальцы говорили тогда, что священнику понадобились денежки для карт. Все это было им совсем не по нутру. Святой Гильдульф начал успешно конкурировать с их святым, установленным на перекрестке, со святым Вольмаром, которого обервашберентальцы сразу перестали почитать, как только обзавелись собственным святым.

Они теперь с презрением смотрели на святого Вольмара и, проходя мимо, не останавливались, как раньше, чтобы попросить блаженного настоятеля из города Болоньи хранить их скот от порчи, падежа и мора.

Зато к вечеру, когда солнце в последний раз окрашивало снежные вершины Альп, когда коровы на горных пастбищах, звеня бубенчиками, укладывались на ночь в загонах, обервашберентальцы останавливались

перед святым Гильдульфом и горячо молились, чтобы провел он их счастливо этой грешной жизнью к вечному блаженству, чтобы могли они после смерти вечно радоваться...

— Храни, святой Гильдульф, нас и наш скот от порчи и мора! Молись за нас, грешных! — просили они и назло своим соседям весело горланили свою тирольскую: «Голарио, голарио! Голари, голари, голарио!»

Что тем оставалось делать? Пить со злости по своим трактирам и ругать святого Гильдульфа. Нет, дальше так продолжаться не могло! Святого Гильдульфа нужно было чем-то унизить. Некоторые пугались: зачем оскорблять его публично! Заднюю калитку всегда нужно оставлять открытой на случай отступления. А вдруг — не дай бог! — Гильдульф и вправду существовал?!

Само собой разумеется, что этим половинчатым врагам чужого святого, этим трусам поразбивали головы.

Унтервашберентальский кузнец Антонин Кюммели заявил после сей славной битвы: «Я собью спесь со святого Гильдульфа!»

И так случилось, что на следующий день обервашберентальцы нашли своего святого изуродованным: та рука, которая грозила бичом Унтервашберенталю, была замазана черным скипидаровым лаком. Он стал одноруким.

В Обервашберентале началось повальное рыдание: рыдали старушки и старички, взрослые и дети, рыдал и сам священник, рыдало все селение.

И в тот же самый день около трех часов пополудни по селению разнеслась страшная весть: кузнецу Унтервашберенталю Антонину Кюммели полчаса тому назад отрезало соломорезкой руку.

Сразу всем стало ясно: произошло чудо. В Унтервашберентале поднялась паника. Священник бросился к старосте со словами: «Святой Гильдульф разгневался!..» Это было страшно. И уже никого не интересовало, что кузнец был пьян, когда так неосторожно засунул руку в соломорезку, и что когда он пришел в себя, то клялся и божился: «Это не я! Я ту руку не замазывал! Провалиться мне на этом месте! Отсохни язык! Это не я! Отец наш небесный, ведь это был не я!»

Кузнецу никто не верил...

Вскоре кузнец поправился и был осужден судом за святотатство. Все тирольские католические газеты писали о нем как о взбесившемся звере. Напрасно он твердил, что всю ту ночь напролет спокойно спал и что дома у него нет ни капли черного лака. Это не помогало. Дело было настолько ясным, что никакие доказательства его алиби в расчет не принимались.

Итальянская клерикальная газета опубликовала биографию святого Гильдульфа с указанием даты его смерти.

Иллюстрированные журналы поместили фотографию святого Гильдульфа и однорукого кузнеца-святотатца.

В Инсбруке два еврея-старьевщика разом приняли христианство. Окрещенные еврей-старьевщики поселились в Обервашберентале, основали там торговое дело и начали печатать и продавать открытки с видами его окрестностей.

Срочно потребовалось найти поблизости от столба с образом святого Гильдульфа источник целебной воды. По приказанию священника крестьяне изрыли кругом всю долину, но, к сожалению, никакого источника не обнаружили.

Нужно было перенести столб куда-нибудь поближе к воде. Священник распорядился поставить его в своем саду, около колодца, аргументируя это тем, что там он будет охранен от возможных злодейских покушений. Одновременно он повесил пять кружек при входе в сад, две — на особый столб около колодца и две добавил к той, которая была под самым образом.

За первую неделю он собрал триста гульденов, на которые вычистил и сблицевал свой колодец. Все свидетельствовало о том, что Обервашберенталь станет притягательным и выгодным местом паломничества.

Даже в Унтервашберентале перестали молиться своему святому Вольмару.

Между тем осужденный кузнец продолжал твердить, что он невиновен, и был настолько дерзким, что

даже подал апелляцию. Это известие вызвало в обоих селениях бурю негодования.

Тут произошла новая неожиданность. Однажды утром святого Гильдульфа нашли глядящим на свет синими глазами вместо черных, которыми он обладал раньше. Хотя здесь и была всего-навсего лишь обыкновенная синька, но зыглядело это необычайно красиво. А через три дня у старосты Обервашберенталя родился мальчик с прекрасными синими глазами, как у отца и матери. В тот же день счастливый отец прибежал к священнику и, целуя ему руку, взволнованно стал рассказывать:

— Произошло новое чудо! Я все думал о том кузнеце. Когда он лишился святого Гильдульфа руки, то и сам утратил свою руку. Вот я и подумал: у меня синие глаза, родится у меня ребенок, а кто знает, какого цвета будут у него глаза? Мне хотелось, чтобы они были синие. И тут мне пришло в голову, что если я окрашу святому Гильдульфу глаза в синий цвет, то и дитя родится с синими глазами. И святой Гильдульф услышал мою молитву.

Это новое чудо необычайно взволновало все село. А на следующее утро святой весь был разукрашен пятнышками извести и цветной глины: это причетник хотел, чтобы ожидаемый теленок родился в крапинках.

Не знаю, исполнилось ли его желание. Не знаю также, как закончилось дело осужденного кузнеца, поскольку апелляционный суд затребовал мнение авторитетного историка церкви, существовал ли на самом деле святой Гильдульф. Знаю только, что Франц Гильдульф имеет в Линце напротив вокзала трактир и что он до сих пор никак не может понять, почему у него вдруг оказалось сразу два крестных имени.

Святой Гильдульф, молись, за нас, грешных! Голари, голарио! Голари, голари, голарио!

НРАВООУЧИТЕЛЬНЫЙ РАССКАЗ

Княгиня фон Шварц состояла в любовной связи со своим молодым исповедником, который слыл непримиримым врагом порока, ибо бог всеведущ и вездесущ. Поскольку же патер был любовником ее светлости, он особенно яростно преследовал порок среди бедняков.

Сам он впервые признался княгине в любви в замковой часовне. А потом сказал ей: «Иди, дочь моя, и больше не греш!» Это было так забавно, что княгиня старалась как можно чаще давать ему возможность повторять эти библейские слова.

Итак, разделяя с князем благосклонность княгини, он в своих проповедях обличал порок, царящий внизу, у подножия замка, в низеньких халупах, сплошь заселенных людьми, работавшими на господском дворе.

Дети этих рабочих посещали школу, где несколько монашенок толковали им закон божий, извлекая из него лишь самые нравоучительные истории. В результате в головах у ребятишек все перепуталось, и, когда они приходили домой и слышали, как ругаются их родители, они сидели как пришибленные.

Но какой был толк от того, что детишки под влиянием монашенок заживо становились ангелочками, если их родители бродили во тьме и не стремились очистить свои души от плотских влечений и страстей?

Княгиня же совершала массу добрых дел, которые уравновешивали ее грехи. Она много молилась, возмещая набожностью недостаток добродетели. Княгиня ве-

рила в милосердие божье как в то время, когда грешила, так и тогда, когда добрыми делами и покаянием очищала свою душу, ибо милосердие божье беспредельно. Она даже приказала монашенкам варить детям чесночную похлебку.

Люди же в тех халупах, наоборот, жили в грехах и не думали о спасении души, потому что на это не хватало времени: с утра до вечера трудились они за пару крейцеров на княжеских полях.

Они не молились и при получке весьма непочтительно отзывались о беспредельном милосердии божьем. А когда видели в замковом парке княгиню, сопровождаемую достопочтенным паном патером, отплевывались и говорили: «Эта потаскуха никак и не стареет!»

В их безверии им и в голову не приходило, что господу поставлены над ними самим господом богом и что княгиня могла это услышать.

Говорили они также, что преподобный и досточтимый пан патер — свинья, не помышляя о том, что господь бог может за это на них разгневаться и проклясть их. Но бог в своей беспредельной доброте не делал этого, ожидая, что грешники исправятся.

А они продолжали грешить и называли князя «паном буйволом». Один черт знает, как они и додумались-то до этого, ведь в княжеском хозяйстве, если не считать управляющего, казначея и им подобных, они сталкивались только с одними волами.

Итак, они терпели наказание за свои грехи и умирали, изнуренные непосильным трудом, хотя обычно и говорится, что работа на свежем воздухе весьма полезна для здоровья. Уходили они на тот свет, истощенные голодом, несмотря на эту самую хваленую пользу труда на свежем воздухе, а все потому, что были безбожниками, ругались и им нечего было есть.

К числу самых больших грешников принадлежали поденщик Вейвода и поденщица Петрова.

Несчастные находились во внебрачном сожительстве и вдобавок ко всему еще хотели обмануть господа бога тем, что в остальном были вполне порядочными людьми.

Но какая же это порядочность, если в результате их сожительства (неудобно даже писать об этом!) появились незаконные дети.

А поскольку они были незаконными, бог наказал их тем, что они не получали чесночной похлебки, не были приняты в школу, руководимую монашенками, и не знали посему, что такое господь бог. Они играли себе дома со спичками или копошились около пруда, и порядочные люди из замка ждали, что «эти басурманята» либо утонут, либо сгорят, ибо бог всемилосерден и наказывает лишь с той целью, чтобы люди исправились. (Вспомните последнее несчастье в Италии, когда погибло более четверти миллиона людей.) Все же дурной пример заразителен, и дела не спасало даже то, что пан патер после ночи, проведенной с ее светлостью в неусыпном бдении, особенно гневно обличал порок: люди не ходили в костел, не перегружали записями метрическую книгу и не стремились получить благословение божье и заплатить за это благословение божьему служителю.

Обычно какой-нибудь парень просто говорил: «Ну, девка, давай переселяйся ко мне!» И глядишь, уже живут вместе к ужасу ее светлости княгини и пана патера, которые живо представляли себе устрашающую участь грешников на том свете.

— Мы по себе знаем, как трудно бывает избежать соблазна,— вздыхал пан патер.— У нас обоих, то есть у меня и у вас, ваша светлость, сильная воля, но плоть слаба, что, конечно, видит всемогущий господь. Но страшнее всего, когда в пороке погрязают бедняки. Какое значение может иметь проповедь, если эти несчастные не ходят в костел!

— Попробуйте тогда воздействовать на них своим личным вмешательством, преподобный отец...

— Попробую,— ответил досточтимый патер и поцеловал княгиню в шею.

Итак, в воскресенье он направился к Вейводе, чтобы разъяснить ему, что это за дьявольское изобретение — внебрачное сожительство.

Вейвода сидел за столом и курил трубку, Петрова вязала чулок, а на постели проказничали их дети.

Пану патеру был предложен единственный стул, а Вейвода пересел на лавочку к Петровой.

Патер без всякого предисловия выгнал из избы ребят и начал разговор по душам.

— Вам нужно было быть поосторожней и повнима-

тельней, пока вы не забрели так далеко, что оказались в незаконном сожителстве. Истинно говорю вам: дьявол бродит вокруг нас, аки лев рыкающий, и ищет, кого бы ему поглотить.

— Оно так,— согласился Вейвода.

— Вы не можете даже представить себе, Вейвода, какая это святая вещь — законный брак.

— Оно так, преподобный отец, святая вещь.

— Ну вот видите, Вейвода, и вы, Петрова, брак — бесценная вещь и угоден богу. А вы не думаете, что если вы вот так сожительствуете, то отвращаете от себя милость божью? Ну, как, Вейвода?

— Так ведь это все равно, преподобный отец!

— Вейвода, опомнитесь! Что вы говорите?! Вам не кажется, что у вас древенеет язык?

— Чего нет, того нет, преподобный отец.

— Вейвода, ради всего святого, посещали вы уроки закона божьего?

— А как же! По закону божьему у меня всегда была пятерка.

— И не жаль вам, Вейвода, того времени, когда вы учились усердно молиться богу?

Вейвода сплюнул.

— Так это, пан патер, было уж очень давно!

— А вы не думаете, Вейвода, что на том свете вам отольются все ваши прегрешения? Меня очень беспокоит ваша загробная жизнь.

— Все едино, преподобный отец.

— Вейвода, заклинаю вас, очиститесь и поженитесь с Петровой по закону. Ведь то, что вы делаете, это все равно, что пожелать жену ближнего своего, как гласит заповедь! Вейвода, помните о вечной жизни, о смерти! Обещайте мне, что исправитесь. Ведь это же свинство, Вейвода! Это то же самое, как сказано в писании, что соблазнить чужую жену!.. Так что мы сделаем теперь, Вейвода?

Вейвода вынул трубку изо рта, взял пана патера за руку и сказал доверительно:

— Мы с вами, преподобный отец, и дальше останемся свиньями.

При этих словах патер выскочил из избы, как ошпаренный...

АНТИПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ АФЕРА В ХОРВАТИИ *

*(Рецепт для производства государственных изменников
в широких масштабах)*

I

Инструкция

Наместник Хорватского бана сидел за столом в своем кабинете и вел доверительную беседу с окружным комиссаром:

— Правительство нашего бана, барона Рауха *, не пользуется особой любовью. Неплохо бы нам постараться и исправить такое положение. Что вы скажете, если в этих целях мы решили бы повесить пятьдесят человек?

— Я бы сказал,— снисходительно заметил хорватский окружной комиссар,— что дело не в количестве.

— По всему видно, мой дорогой комиссар, у вас настоящее сердце. Барон Раух любит таких людей. Что касается меня, я бы повесил пятьдесят семь человек, как вы к этому относитесь?

— Пятьдесят семь или пятьдесят восемь, все одно, ваше превосходительство. Меня это не трогает, я чиновник, и, слава богу, неплохой чиновник. Повесить так повесить, застрелить так застрелить! Повелит закон утопить, так утопим; скажут посадить на кол, так посадим и на кол; если сверху мне дадут знак перерезать горло, так перережу горло. А скажи мне ясновельможный бан: «Kérem jemit inni — прошу тебя, не пей»,— не буду пить

и погибну за отечество от жажды. Вот какой я чиновник. За венгерское королевство, как за родное отечество, голыми руками задую любого заговорщика. Бог свидетель, ваше превосходительство. По приказу высших властей...

Наместник бана улыбнулся:

— Ну, это не требуется, дружище. Главное, как я сказал, завоевать доверие народа к правительству яснейшего бана Рауха. А его завоевать можно только с помощью какого-нибудь процесса против государственных изменников. Но ведь государственных изменников мы не найдем в печке или в собственном чреве. А нам нужно их найти. И при желании все можно сделать.

Барону Рауху нужны изменники к обеду. Мы ему их приготовим. А поскольку государственных изменников не приготовишь из сахара, оглянемся вокруг. Плохо дело, если в Хорватии среди стольких людей не найдется пятьдесят семь изменников. Поищешь здесь, поищешь там, найдешь, скажем, трубку с надписью. Хорошо. Вот уже изменник, который курил из этой трубки. И ведь кто-то ему эту надпись на трубке делал. Опять поищешь и арестуешь фабриканта трубок и продавца, у которого хозяин трубки покупает табак. А может, он не ходит сам за табаком, а кого-нибудь посылает. Опять поищешь, и вот уже под рукой еще один государственный изменник. А разве кто-нибудь живет на свете один как перст? У всех арестованных есть родственники. И их арестуешь.

Поищешь здесь, поищешь там и в конце концов найдешь того, кто покажет под присягой все, что требуется, если ему заплатишь. И вот у вас готов и свидетель. Обвиняемые захотят тоже давать свои показания под присягой, — наставишь их по-отечески, что обвиняемые присягать не будут, уже присягнули свидетели. Из этого следствия о государственной измене сделаешь хорошенький процесс, и в Хорватии настанет мир и спокойствие. Как говорится, мой друг, цель оправдывает средства. А можно сделать и иначе. Найти негодяя, которому предложить на выбор: или арестуем тебя, или ты присягнешь и расскажешь все, что тебе велят. Такой проходимец всегда сослужит отечеству хорошую службу. Наградим его, может, даже дадим дворянский титул. Порой правительство оказывается в такой ситуа-

ции, что не знает, как быть, и тут-то этот мерзавец объявится по первому знаку. А если он умеет писать, так еще лучше. Издаст, скажем, брошюрку о заговоре. Впрочем, это не моя идея, а идея самого бана. Я эту идею только поддерживаю. А если вышеупомянутая особа не умеет писать, напишут за нее. У окружной власти хватает чиновников, которые в юности писали стихи. Такой чиновник получит повышение, упомянутая особа под брошюрой подпишется, и дело в шляпе. Все нити заговора готовы. Брошюра о заговоре вызовет интерес правительственных кругов. Автора брошюры пригласят к бану, бан похлопает его по плечу, подаст ему руку и потом вымоет ее. Парень грязный, но интересы правительства... Главное, чтобы в брошюре были имена людей, которые еще живы: ведь покойников не повесишь и не упрячешь в тюрьму. А дальше все опять, как раньше. Те же приемы. Схватишь здесь, схватишь там, суд приготовится к тому, чтобы осудить невиновных, обвинив их в государственной измене. Приговоры будут вынесены уже во время следствия. А как вы думаете, мой дорогой комиссар, что об этом скажет Европа?

— Нам на общественное мнение...— ответил окружной комиссар.

— Хорошо сказано,— похвалил наместник бана.— Ну так начнем. Остальное придет само собой.

II

Письмо наместника бана барону Рауху.

Ваше превосходительство!

Негодяя, который бы действовал согласно нашей воле, я нашел. Его имя Настич. Я обещал ему дворянский титул, прочное положение и деньги. Брошюрку он напишет сам.

III

Письмо бана барона Рауха наместнику.

Дорогой друг!

Я только что говорил с нашим другом Настичем. Асигновал ему 30 000 крон, чтобы он издал брошюру на

собственные средства. Прилагаю список лиц, у которых можно найти подозрительные документы. Нужно десять человек, которые бы дали ложную присягу. Расходы будут мной возмещены.

IV

Что было найдено у подозреваемых лиц
(согласно правительственному списку).

У первого лица: карманный нож с красным чепчиком и белая рубашка, а поскольку у обвиняемого голубые глаза, все эти три цвета вместе составляют цвета славянского флага.

У второго лица: кувшин с надписью по-сербски.

У третьего лица ничего не найдено, что подозрительно вдвойне, так как свидетельствует о нечистой совести обвиняемого, который был настолько ловок, что уничтожил все следы своей связи с государственными изменниками.

У четвертого лица найден альбом с открытками, а в нем две почтовые открытки из Белграда. Так как подписи неразборчивы, ясно, что сербские круги были хорошо информированы о том, что корреспонденция имеет антиправительственный характер.

У пятого лица ничего не найдено. Это еще подозрительней, чем у третьего лица, потому что в данном случае полиция искала наверняка.

Лицо шестое не может объяснить то обстоятельство, что некогда пело сербскую народную песню. Так как у данного лица тоже ничего не найдено, с ним необходимо поступить так же, как с обвиняемыми вторым и пятым.

У шестого лица были найдены чулки, купленные в Земун. Поскольку Земун расположена напротив Белграда, это может служить доказательством того, что обвиняемый, покупая чулки пять лет назад, хотел застраховаться на тот случай, если придется объяснять свои связи с Сербией и сербскими кругами.

Лицо седьмое усердно скрывало все, что могло навести на подозрение в государственной измене. Об

этом свидетельствует то, что при неожиданном обыске у обвиняемого ничего не нашли.

Лицо восьмое взято под следствие по той причине, что имеет неродного отца, под номером пятым, у которого тоже ничего не найдено. Есть основание подозревать, что оба указанных лица находились между собой в сговоре и просто делают вид, что ни в чем не виноваты.

У девятого лица найден сборник сербских песен.

У лица десятого найден список членов «Сокола»*.

У лиц 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21-го найдены членские книжки «Сокола».

У лиц 22, 23, 24, 25, 26-го членские книжки «Сокола» не найдены. Это служит веским доказательством того, что упомянутые лица знали о существовании «Сокола», этого общества государственных изменников, и не вступили в него единственно по той причине, чтобы скрыть свою изменническую деятельность от государственных органов, поэтому правительство считает, что они сознательно совершили государственную измену.

У лиц 27, 28, 29, 30 до 35-го включительно найдены гири. Правительство по праву считает, что эти гири служили тому, чтобы, поднимая их, обвиняемые развивали мускулатуру и набирались сил для решительного отпора правительственным органам. Тем самым их преступная деятельность превратилась в бунт, который носит характер государственной измены.

У лиц, начиная с 35 до 50-го включительно, найдены различные документы, свидетельствующие об их связи с сербскими кругами. Главным доказательством этого является одинаковое вероисповедание с сербами, проживающими в царстве Сербском.

Лицо пятьдесят первое смертельно заболело, находясь под следствием. Это свидетельствует о том, что оно хотело избежать справедливого приговора.

У лиц с 52 до 57-го найдены сербские газеты. Но так как у них не найдены правительственные хорватские газеты, ясно, что они ограничивались чтением сербских газет, на чем и обосновано обвинение их в государственной измене.

V

Из разбора дела по обвинению в государственной измене.

Вопрос председателя к первому обвиняемому:

— Знакома вам эта шляпа?

— Да.

— Помните, когда она была у вас в последний раз на голове?

— Нет, не помню.

Председатель велит отметить это в протоколе.

Общественный обвинитель:

— Значит, вы не помните, когда эту шляпу вам одолжил обвиняемый Медакович?

— Нет, не помню.

Председатель повышенным тоном:

— Так если вы не знаете, кто одолжил вам шляпу, вы наверняка не захотите ничего знать о государственной измене!

VI

Я не знаю, что будет со мной, ведь процесс в Загребе приближается. У меня тоже есть красный носовой платок, в нашей кухне белый буфет, а весной над нами будет простираться голубое небо. Все это вместе составит цвет антигосударственного славянского флага.

КАК МЫ С ОТЦОМ ЗАКОНОУЧИТЕЛЕМ ЗАБОТИЛИСЬ О КРЕЩЕНИИ АФРИКАНСКИХ НЕГРИТЯТ

Не знаю, сколько стоит сейчас маленький негритянский язычник. При нынешней общей дороговизне растут цены на все, возможно, что и бедные негры стали дороже, а значит, повысились и доходы досточтимых отцов миссионеров и священников, которые собирают на них пожертвования.

Наш законоучитель в зубрицкой начальной школе говорил нам, что несколько лет назад негритянский мальчик стоил двенадцать гульденов. Он сказал еще, что существует такое религиозное общество, которое собирает деньги на выкуп маленьких негритят. Потом он начал толковать насчет святости крещения и вlepил бедному Матею двойку по закону божьему за то, что тот не знал, как крестят детей: протараторил, что, мол, ребенка макают в воду и держат под водой до тех пор, пока он не окрестится.

За свои туманные религиозные представления Матей, кроме двойки, получил еще хорошую порцию розог, чтобы прочнее усвоил таинство святых обрядов.

Завершив экзекуцию, отец законоучитель начал проникновенно рассказывать нам о том, что по всему свету ребята собирают между собой деньги на выкуп и крещение бедных маленьких негров.

— Вот и вам, дети, нужно начать собирать деньги на это святое дело. При каждой возможности просите крейцеры у бабушек, дедушек, дядюшек и тетушек. А ты,—

пан законоучитель указал при этом на меня,— ты будешь у нас кассиром. Когда у тебя наберется двенадцать гульденов, я пошлю их епископу в Триполи, а тот переправит архиепископу в Алжир, и его преосвященство пан архиепископ купит в Тунисе маленьких негритянских язычников. Где-нибудь в пустыне, в оазисе под пальмами, священник окрестит их святой водой и отправит в Александрию, в Египет, чтобы они славили там бога и молились за вас, за меня и за всю Зубрицу. За вас — за то, что вы их купили, за меня — за то, что я побудил вас к этим сборам, которые помогли привести их в лоно святой церкви.

Если у вас есть какие-нибудь сбережения, отдайте их на это богоугодное дело, ибо мы не имеем права забывать, что несчастные чернокожие язычники ни о чем так страстно не мечтают в своем рабском состоянии, как о том, чтобы быть как можно скорее окрещенными...

С этого момента мы начали собирать деньги на маленьких негрят. Разумеется, дело не обошлось без зуботычин, пинков и драк. Старостин сын хвастался, что если бы он захотел, то мог бы сам купить себе негритенка. За это мы, конечно, набили ему морду. Купленный негритенок будет принадлежать всему классу и будет кормиться у всех нас по очереди и всюду будет славить господа бога за то, что в конце концов стал христианином. Мы будем щипать его, играть с ним, водить его на поводке, а он будет все время петь нам хвалу за то, что мы его купили и отдали окрестить.

— Ну, чернокожий раб божий,— сказал Матей,— я ему наломаю бока за ту взбучку, что получил за него от бритого! Поведу его к пруду и настегая там крапивой. Давайте, ребята, собирайте побольше крейцеров, чтобы нам поскорее с ним позабавиться. Будем крестить его каждый день. Я спущу его в воду: пусть чернокожий христианин попробует, какая вкусная водица в зубрицком пруду.

Так, мечтая о предстоящей забаве, мы начали собирать крейцеры. Все ребята завидовали моей важной должности кассира. Деньги я должен был носить все время при себе, и за мной непрерывно следили, чтобы я не оставил ненароком крейцера-другого у еврея за медо-

вые пряники, сладкий корень, спички или какие-нибудь другие предметы, способные ввести нас в искушение.

Вначале старшие, разумные люди решили, что все ребята в школе сошли с ума: начали вдруг клянчить крейцеры, дескать, пан законоучитель купит им за двенадцать гульденов негритенка, маленького язычника, и его окрестят. Но вскоре все выяснилось. Бабушки и дедушки раскошелились для своих внучат и стали молиться за успех их предприятия. Бабушки, прослезившись, целовали ребятишек, а дедушки по всей Зубрице уже предвкушали удовольствие — как маленький крещеный негритенок будет ходить с ними в костел к заутрене и петь божественные псалмы. А самый набожный из всех, дедушка Швейцар, упившись в еврейском шинке водкой, начал кричать, что, когда негритенок вырастет, его нужно будет избрать в парламент депутатом от католической партии.

Крейцеры быстро прибывали. Некоторые ребята давали сразу по десять крейцеров, другие регулярно вносили по четыре. Словом, мой объемистый мешочек постепенно наполнялся, пока не разразилась катастрофа, как раз на другой день после того, как я, обменяв мелочь на гульдены, установил, что их у меня набралось целых десять штук.

В Загайе был храмовой праздник. Мы с Матеем отправились посмотреть на бродячих артистов. Заветный мешочек я взял с собой. Носил я его в виде пояса на голом теле и даже спал с ним, рассматривая связанные с этим неудобства и терзания своего рода ступенькой к небесному блаженству. Матей получил от отца десять крейцеров, столько же получил и я от дяди, который был моим опекуном.

— Слушай, Матей,— предложил я, — давай дадим по пяти крейцеров на выкуп и крещение негритенка, а остальные пять крейцеров пусть каждый истратит на празднике как захочет.

— Осел! — выругался Матей.— Из-за этого паршивого негритенка я портить себе праздника не буду. Ты делай как знаешь, а я свои десять крейцеров все истрочу на себя.

Праздник был просто замечательный: клоуны, карусели, качели, марципаны, разные сладости... А еще тир и

силомеры... Матей быстро спустил свой капитал и печальный побрел домой. Я не истратил пока ничего. Но как только Матей скрылся из виду, пустился и я во все тяжкие: прокатился на карусели, наелся марципанов, а потом... потом начал понемногу вытаскивать монеты из кассы, предназначенной на выкуп и крещение маленького негра.

К вечеру двух гульденов как не бывало...

Наш законоучитель любил играть в карты. В тот день, когда я посягнул на доверенные мне деньги, он весь вечер просидел в трактире моего дядюшки, играя в «двадцать одно» с паном учителем, паном пастором из нашего прихода и паном старостой. Ему не везло. Когда я, отягощенный сладостями и нечистой совестью, вернулся домой, он проиграл уже свой последний гульден.

— Давай-ка выйдем на минуточку,— сказал он, увидев меня,— нужно с тобой поговорить.

Мы вышли на крыльцо. У меня от страха тряслись колени. «Все кончено,— промелькнуло у меня в голове.— Он ведь всеведущий. Теперь начнется расплата».

— Сколько набралось у тебя денег на выкуп и крещение негра?

Я чуть было не разревелся.

— Мне надо знать, сколько у тебя!

— Восемь гульденов,— прошептал я.

— Давай их сюда! — приказал пан законоучитель.

У меня отлегло от сердца. Я вытащил свой мешочек. Вот они, все восемь гульденов, светленькие, с ангелочками. Пан законоучитель погладил меня по голове, засунул деньги в карман и отправился снова играть.

Пужинав, я стал наблюдать за игрой.

— Ва-банк! — провозгласил пан законоучитель.

— Правильно, ваше преподобие,— одобрил учитель.

В банке было два гульдена. Пан законоучитель вытащил туза, семерку и десятку.

— Перебрал!— проворчал он, сунул руку в карман и спокойно выложил на стол два гульдена с ангелочками. Мои гульдены!..

К десяти часам он проиграл все восемь и снова вызвал меня на крыльцо.

— У тебя действительно ничего больше не осталось? Не могли побольше собрать на негрятенка! Паршивые

мальчишки! Этак вы никогда не дождетесь крещения несчастных чернокожих!

Мы и в самом деле не дождались.

На следующий день на уроке закона божьего пан законоучитель сказал:

— Вчера мне были вручены собранные вами деньги. Я отправил их и дополнил своими. Через три дня они будут уже у алжирского архиепископа. Начинайте собирать на другого негртенка. Да поможет вам бог! Только деньги отдавайте теперь прямо мне.

И он снова без промедления спускал их в «двадцать одно» пану учителю, пану патеру и пану старосте...

Вот как мы с отцом законоучителем заботились о крещении бедных маленьких негртят в Африке!

«БЕРИТЕ, БЕРИТЕ, СЛУЖИВЫЙ!»

(Рассказ о домашнем обыске)

Пана Байера обвинили в том, что он подстрекает солдат к нарушению долга. До сих пор для Байера все было святым. Он был благонамереннейшим гражданином, почитавшим все, что даже и не следовало почитать. Он никогда ни в чем не сомневался и считал себя самым порядочным человеком под солнцем. Так же думали о нем окружающие. Он был порядочным и благонадежным гражданином вплоть до того дня, когда однажды осенью отправился купить себе слив для кнедликов. Одновременно с ним, у той же торговки, покупал килограмм слив денщик ротного командира Буркача. Байер любовно взглянул на солдатика, перебросился с ним несколькими фразами, спросил, какого он полка, как ему служится, какие воинские обязанности ему уже доводилось выполнять. А когда денщик, получив столько слив, сколько ему было приказано купить для хозяйства ротного командира, взял из бумажного кулька одну сливу. Байер произнес памятные слова: «Берите, берите, служивый!»

И солдатик брал сливы, которые принадлежали не ему, а семье ротного командира!

Он наслаждался, бедняга, и, подстрекаемый антимилицаристским замечанием пана Байера: «Берите, берите, служивый!», проглатывал одну сливу за другой. Когда он дошел до дому, неприятные обстоятельства заставили его сказать, что он потерял деньги. Ибо бедняга съел по дороге все сливы.

Вот к чему приводит антимилиитаристская пропаганда! Человек, совращаемый такими субъектами, как Байер, становится даже лгуном. А лгать на военной службе?! До чего это может довести?..

Денщика, конечно, подвергли допросу: как он потерял деньги? К тому же казенные — ибо нельзя отрицать, что деньги, доверенные ему ротным командиром, принадлежали казне. Ротный дал ему казенные деньги, ибо килограмм слив предназначался для сливовых кнеликов на всю роту. По одной сливе на троих.

Это растрата, и у ротного командира были основания предполагать, что денщик пропил деньги. Да, пропил, растратил восемь крейцеров казенных денег!

Где же воинская дисциплина? Болван возвращается без слив и говорит: «Разрешите доложить, я потерял деньги!» — «Was ist da zu machen? Den Kerl einsperren! Арестовать, и баста! Чего еще делать с негодяем! Вы в самом деле потеряли деньги? Насидитесь у меня!» — «Я...» — «Как вы смеете говорить «я»?! Сначала — «разрешите доложить», а потом уж «я!» — «Я их съел!»

Обычная растрата. Парня нужно подвергнуть дисциплинарному взысканию. Он съел сливы, предназначенные для целой роты. Килограмм слив! И это человек, которому ротный командир так доверял!

— Есть у вас оправдания?

Солдат, которого посылали за сливами, был все-таки денщиком ротного, поэтому командир спрашивал его, чем тот может оправдать свое преступление. Ибо в остальных случаях на военной службе никого не спрашивают о причинах проступков.

Бедный совращенный солдат признался во всем. В том, что к нему подошел какой-то господин и сказал: «Берите, берите, служивый!»

Участь пана Байера была решена.

*

В таких серьезных делах не рекомендуется шутить с законами.

Слова: «Берите, берите, служивый!» — не следовало принимать слишком легко. Байера разыскали без особого труда.

Сначала предварительному заключению подвергли торговку фруктами. Когда ей описали внешность Байера, она призналась, что знает этого человека: он покупает у нее сливы и другие фрукты.

К концу полуторамесячного предварительного заключения,— ее держали в тюрьме единственно на том вполне разумном основании, чтобы она не могла сговориться со свидетелями и обвиняемым,— торговка признала, что упомянутый господин (пан Байер) часто, стоя около нее, беседовал с солдатами и говорил им: «Трудная у вас жизнь, служивые. Надо бы вам хоть чем-нибудь ее подсластить!»

Медленно, но верно стягивалась сеть улик вокруг пана Байера.

Правда, он был тихий человек, но, как известно, тихие воды подмывают берега.

На Байера надвигалось неотвратимое: в его доме был произведен обыск.

*

Байер оказался настоящим негодяем, хотя по виду этого никто бы не сказал. Во время обыска обследовали даже печь — значит, это был действительно опасный человек.

У экономки Байера осмотрели рот. Уже казалось, что не найдут ничего такого, что могло бы доказать его антимилицаристский образ мыслей. Но в конце концов все-таки нашли.

Мерзавец Байер *целых двенадцать лет не платил налога на невоеннообязанных.*

Так домашний обыск лишний раз подтвердил, что ни одно преступление не остается нераскрытым, даже антимилицаризм с виду порядочного гражданина Байера...

ЮНЫЙ ИМПЕРАТОР И КОШКА

В груди юного императора билось доброе сердце, и он любил вспоминать ратные подвиги своих предков. Был он бог весть какой-то ...надцатый. Его венценосные предки воевали из столетия в столетие, сожгли в общей сложности более тысячи городов, опустошили многие тысячи вражеских деревень, побили тысячи тысяч вражеских воинов и со славой возвращались в свое великое отечество, где их встречали гимнами и звоном колоколов всех церквей империи, ибо народ там жил набожный — и население и победное воинство были добрыми христианами. Потому-то бог умножил их силы, и все враги империи бледнели и тряслись перед храбрым войском этой славной династии, ибо оно не давало им пощады.

Новому императору было четырнадцать лет, когда он вступил на престол. Его юная душа была полна благих намерений, он затеял разные реформы, а в один прекрасный день, пробудясь поутру и будучи умыт, одет и причесан, вызвал придворного повара и сказал ему при министрах внутренних и иностранных дел, военном министре и министре пахоты и культов:

— Милый граф и придворный повар! Учителя мне рассказывали, что не все мои подданные едят паштеты, есть такие, кто по бедности ест кошек. Милый граф и придворный повар, назначаю вас отныне также министром-наместником любой из моих провинций, выберите ее сами, а сегодня к обеду подайте мне жаркое из кошки.

Придворный повар обнял колени великодушного юного монарха.

— Это невозможно, ваше величество. Помилуйте, за высочайшим столом не едят кошек.

Юный венценосец улыбнулся и сказал приветливо:

— Разумеется, не едят, это мне хорошо известно, я знаю, что кошек едят только бедные люди. Мое сердце велит мне быть отцом бедняков, по примеру моих славных предков. Блаженной памяти мой дедушка собственноручно взял серп и на глазах у сельчан нажал травы для двух кроликов. Мой венценосный отец в доме бедного сапожника собственноручно забил в башмак два деревянных гвоздика. Прадедушка, старик богатырского сложения, лично вытащил ведро воды из колодца. Как же мне не любить бедняков, если все мои предки показали, что они уважают тяжелый труд бедного люда? А посему воля моя непоколебима, подайте мне сегодня к обеду кошку, и баста. Так хочу я, монарх и абсолютный самодержец. Можете идти.

Юный император остался один в своем покое. Сердце его ликовало. Из окна своего дворца он смотрел на столицу империи. Там, в этом море каменных домов, живет много бедных людей, которые, как рассказывали ему учителя, едят кошек и другую гадость, что и является отличительным признаком бедноты. А он, славный и властительный монарх, умерит их лишения тем, что тоже будет есть кошку на обед. Это начало реформ, которые он проведет, прославив себя во всем мире; весть о его доброте разнесется повсюду.

Открылась дверь, и вошла вдовствующая императрица, вся в слезах.

— Венценосный сын мой, — всхлипнула она, опускаясь в кресло. — Ты хочешь есть кошку на обед? Сын мой, такова твоя монаршая непреклонная воля?

Юный монарх поклонился.

— Хочу и буду, — торжественно произнес он. — Ибо этим склоню сердце свое к бедному люду. Вспомните, матушка вдовствующая императрица, наших великих предков. Моя высочайшая прабабушка однажды взяла иглу и нитки и пришила пуговицу к штанам бедняка прохожего. Моя прославленная бабушка выстирала шейный платок бедного каменотеса, а вы, моя венценосная мать, однажды собственноручно наполнили чашу вином и подали ее церемониймейстеру, доказав, что не гнушаетесь ника-

кой работой. Итак, наша славная история говорит о том, что императрицы никогда не стыдились труда, пусть самого тяжелого, и всегда были покровительницами бедняков. Посему я сегодня пообедаю жареной кошкой, такова моя монаршая воля. Не плачьте, венценосная мать, это — начало реформ. Я буду просвещенным монархом и отцом бедняков.

Когда вдовствующая удалилась, пришел церемониймейстер и припал к коленям юного императора.

— Ваше величество! — молвил он. — Соизвольте взглянуть в окно.

На дворе влежку лежало множество императорских советников и придворных дам.

— Всем им сделалось дурно, когда граф, придворный повар и министр-наместник, распорядился послать за хорошей кошкой, — сказал церемониймейстер. — И все они просят вашего всемилостивейшего разрешения не смотреть на то, как вы, ваше величество, будете высочайше вкушать... м-м... кошку. Я со своей стороны покорнейше умоляю ваше величество отказаться от своего желания.

Возмущенный этой дерзостью, юный монарх топнул ногой и воскликнул:

— Требую к обеду кошку в сметанном соусе!

— Ваше величество! — взмолился церемониймейстер.

Юный монарх повернулся к нему спиной.

Подавленный церемониймейстер ушел, чтобы подать в отставку, а император вызвал министра внутренних дел.

— Милый министр, — мудро сказал он, покачиваясь в кресле. — С тех пор, как я взошел на трон, я часто размышляю о неравенстве людей. Мои учителя привили мне добрые принципы. Люди бывают богатые и бедные. Бедные едят кошек. Богатые и власть имущие кошек не едят. Бедные, кроме того, едят лапшу... Поэтому я хочу иметь к обеду кошку в сметане и с гарниром из лапши. Вызовите мне придворного повара.

Вызванный — граф, повар и министр-наместник в одном лице — тотчас явился. Юный монарх сказал ему:

— Бедные люди едят кошек, а богатые и власть имущие кошек не едят. Я провожу реформы. Бедные люди едят лапшу. Подайте мне сегодня к обеду кошку в сметане и с лапшой.

Потом он велел вызвать министра внутренних дел и сказал:

— Я хочу, чтобы об этом было написано в газетах. Завтра подайте мне все газеты. Я слышал от учителей, что в моей империи выходят газеты. С завтрашнего дня желаю читать сообщения о моем правлении и моих реформах. Кстати,—обратился он к придворному повару,— к обеду пригласите моих министров. А на случай, чтобы вы не обманули меня с этой кошкой, я сам буду присутствовать при ее приготовлении.

Спускаясь по лестнице в дворцовую кухню, благородный юный император встретил военного министра и весело сказал ему:

— Милый министр, просвещенный монарх стремится сгладить неравенство людей, поэтому у нас на обед будет кошка, поскольку бедные люди едят кошек, а богатые и власть имущие не едят... Вы тоже приглашены к моему столу. Завтра об этом напишут все газеты, а я отныне начинаю реформы. Я император и хочу съесть кошку...

Немного погодя юного монарха отвезли в закрытой карете в старый замок, где он был изолирован до конца дней своих, как впавший в кретинизм. И все из-за того, что он был император и пожелал на обед жареную кошку...

ПЕРВОЕ МАЯ СОВЕТНИКА МАЦКОВИКА

Первого мая советник Мацковик, пятидесятипятилетний шестипудовый государственный служащий, совершил со своей пятидесятилетней пятипудовой супругой загородную прогулку в Посазавье.

Сойдя с поезда, они взяли извозчика и через некоторое время вышли у загородного ресторана, заняли столик и заказали обед. Поели, попили, потом опять — в пролетку и приказали отвезти их за полкилометра от ресторана, в лес; там опять вылезли и сели на опушке на траву.

— Птицы щебечут, — поэтически промолвила советница.

— Да, да, никак не заснешь, — ответил советник. — В поезде растрясет, и не пообедаешь как следует... Ты хотела этой поездки. Ладно. Вот и страдай!

— Я и не думаю страдать, — мягко возразила советница. — Птички щебечут, чирикают, воркуют, радуются жизни...

— Какая там жизнь! — заворчал советник. — Придет охотник, начнет бухать из ружья — вот тебе и радость жизни: всех куропаток, перепелов, фазанов перестреляет. Что может быть лучше домашней кухни? А если бы мы здесь что-нибудь такое заказали, получилось бы, как с цыпленком.

— Птенчики в гнездышке радуются, — вздохнула советница, — вот сейчас папа с мамой прилетят, накормят...

— Птенчики! Таким вот птенчиком и цыпленок тот был, которого нам в ресторане подали, — уныло заметил

Мацковик.— Пять косточек — и все. Я бы десяток таких птенчиков слопал!

— Не говори так, милый. Мы в лесу...

— Почему это я в каком-то дурацком лесу не могу произнести слово «слопал»? В гостинной я сказал бы: «съел», в какой-нибудь веселой компании — «расправился». А здесь мы наконец единственный раз в году одни. Обычно с нами за город тащится целая орава знакомых. Господи, какое наслаждение хоть раз в год распоясаться!

— Опомнись, Ондржей! Ты ведь как будто ничего не пил!..

— Правда, выпил я немного. Но здесь приволье, и я хочу безобразничать. Как в детстве, когда мальчишкой был. Мы бродили тогда по лесу и, не думая о приличиях, орали наперебой. Я ничего не пил. В этом нищем краю болван ресторатор подает не вино, а какую-то бурду вонючую!

— Ондржей!!!

— Отстань, дай хоть раз в году вздохнуть свободно. Теперь я даже в канцелярии не могу выругаться: подчиненные наклеузничают. А мне хочется садануть покрепче...

— Тебе не к лицу, Ондржей, ведь ты интеллигентный человек... Да еще сегодня, в такой прекрасный майский день, когда все кругом улыбается...

— Еще бы не улыбаться. Например, этот бездельник извозчик! Я ему пять крон заплачу, и он их пропьет, как скотина...

Тут супруга зажала ему рот, и окончание получилось неразборчиво.

— Потом на карачках ползать будет,— продолжал советник.— Вот и все его весеннее настроение. Если бы не мысль о том, что хорошенько наговорюсь, лучше проспать весь день. Какой к черту толк от этого первого мая!

— «Май — пора любви»*,— возразила советница, которая начиная с тридцатилетнего возраста регулярно читала «Семейный журнал для женщин».— И птички щебечут...

— Отвяжись от меня со своей ерундой! Уж коли ты заберешь себе что в голову — конец. Птички пускай хоть

на голове ходят, нам-то что до этого? Это дело лесного управления! По-твоему, май — пора любви? Ну, это для молодых сумасбродов! Так влюбленные разговаривают, а не солидные люди. Что о тебе подумали бы, если б в твои пятьдесят лет, да при твоей толщине, услышали от тебя такие речи? Все равно как если бы я, со своим брюхом, которое еле таскаю, пустился бегом по улице за какой-нибудь молоденькой барышней и стал бы ее щипать, приговаривая: «Поцелуй меня, душечка: май — пора любви». И была б она хорошенькая, колыхала бы бедрами, как лань, а ботиночки, ножки...

— Ондржей!

— Ботиночки, ножки у нее были бы такие крохотные, что я мог бы их проглотить. И декольте...

— Ондржей!

— Локотки беленькие, плечики полненькие, глаза, как черносливины, шейка — алебастр, волосы светлые, шелковые... Поцелуй меня, старуха...

Толстяк неожиданно запечатлел поцелуй на лбу своей супруги; а та, удивленная столь внезапной переменой, нежно заглянула ему в глаза и промолвила:

— Наверно, Маха был похож на тебя, Ондржей...

Поцеловавшись еще раз, они сели в экипаж и вернулись в ресторан — закусить...

Так провел первое мая советник Мацковик.

ЖИВОТНЫЕ И ЧУДЕСА

*Посвящается господам редакторам «Чеха» **

Из книг святых отцов видно, что раньше совершалось много чудес. Чудеса эти примечательны тем, что в них большую роль играют животные. Здесь я хочу дать добрым верующим несколько примеров того, какие творились чудеса и как тесно с жизнью животных была связана жизнь целого ряда святых. Все это поистине удивительные деяния, наполняющие верующих глубоким изумлением и блаженством. Ибо чудеса эти преступают все до сей поры существующие законы природы и служат неопровержимым доказательством того, на что способна божественная фантазия. Кто не поверит нижеописанному, неминуемо будет проклят.

МАРЦИАН И ГАДЫ

Когда однажды святой Марциан был вместе с учеником своим, святым Эусебиусом, к ним приблизилось огромное множество ужасных гадов. Эусебиус хотел убежать, но Марциан успокоил его, сказав: «Надейся на бога!» При этих словах гады рассыпались в прах, и ветер развеял его во все стороны света. Это было в третьем веке после рождества Христова.

РОМЕДИУС И МЕДВЕДЬ

В книге «Святая Бавария» («*Bavaria sancta*») * написано следующее: «Святой отшельник Ромедиус восхотел однажды пуститься в путь, как он не раз делал и рань-

ше, к угоднику Вигилиусу, другу своему, который жил в Триесте. И сел набожный отшельник на осла и поехал через горы и леса. Вдруг, когда он слез с осла и пустил его пастись, из чащи выбежал медведь, который тут же вкусил ст осла. И двинулся Ромедиус бесстрашно к медведю и приказал ему поднять с земли недоуздок покойного осла и самого себя взнуздать этим недоуздом. Медведь исполнил это, трясаясь от страха, святой Ромедиус вскочил на него и так доехал до самого Триеста, в который прибыл 7 июня 520 года после рождества Христова.

СВЯТАЯ ТЕОДОРА И НИЛЬСКИЙ КРОКОДИЛ

Святой Теодоре из Александрии Египетской предстояло сделаться женой богатого язычника. Куда ей было деваться? Она убежала из дому и спряталась в монастыре, переодевшись в мужское платье... Там, среди монахов, ей пришлось бороться со многими искушениями, но она всегда побеждала их. Недалеко от монастыря был пруд, к которому монахи ходили по воду. В пруду этом завелся ужасный нильский крокодил. Он утаскивал под воду бедных монахов. Святая Теодора решила одолеть крокодила словом божьим и в один прекрасный день, невзирая на причитания монахов, ушла одна к пруду. Крокодил при виде человека вылез на берег и приготовился проглотить пришельца. Святая Теодора, осенив себя крестным знаменем, неустрашимо подошла к крокодилу, говоря: «Войди в воду и больше не причиняй вреда». Крокодил так испугался, что бросился стремглав в пруд и вскоре утонул в его волнах.

ГОЛОВА СВЯТОЙ УРСУЛЫ И ГОЛУБЬ ДУТЫШ

Долго не могли найти голову святой Урсулы, пока однажды по милости божьей не случилось следующее: святой Кумберт, епископ Кельнский, занимавшийся поисками головы мученицы, сидел однажды печальный в своих покоях, как вдруг в открытое окно влетел голубь дутыш, который нес в клюве пергамент. Он опустил пергамент на колени удивленного епископа, который прочитал: «*Mia caput in ecclesia Bambergis, dextra pars. Sancta Ursula*» («Моя голова в Бамбергском соборе, правый придел. Святая Урсула»).

По письму святой Урсулы пошли в Бамберг и в самом деле нашли там ее голову, которая донныне хранится в Кельнском соборе. И пергамент тот я тоже там видел, он писан действительно женской рукой. У них там есть даже чучело того самого голубя дутыша от седьмого века после рождества Христова. И в довершение чуда надпись на пергаменте была сделана ализариновыми чернилами, которые тогда еще не были открыты.

ЕПИСКОП КОРБИАН И ОРЕЛ

Когда святой Корбиан со свитой странствовал по Италии, проводник не мог найти ни кусочка мяса, чтобы подкрепиться. И когда все возроптали, Корбиан сказал: «Вот увидите, господь бог ниспошлет нам пищу с неба». Только он произнес эти слова, как все увидели, что орел, закогтивший ягненка, воспарил у них над головой и, отпустив когти, бросил ягненка в самую середину их стана. По сообщению святого Корбиана, к ноге ягненка был привязан мешочек с солью и пряностями, необходимыми для приготовления сочного жаркого.

ОТШЕЛЬНИК ГУТЛАХ И ЛАСТОЧКИ

Отшельнику Гутлаху в пустыне составляли компанию ласточки, которые вились над его сединами. Этот святой человек питался одними кореньями. В какой-то год выдалась там страшная засуха, и в течение многих дней Гутлах не мог найти ни одного съедобного корня, так что он был уже близок к голодной смерти. Блуждая по пустыне, услышал он вдруг голос, исходящий сверху: «Вернись домой, вернись домой!» И он пошел домой и нашел на столе в своей хижине на большом блюде дюжину фаршированных жареных ласточек. Это были те самые ласточки; по велению божьему они сами себя нафаршировали и зажарили.

СВЯТОЙ СОЛА И МУРАВЬИ

Магнус Иохам в книге «Святая Бавария» повествует о чудотворной силе святого Сола, показывая ее на следующем прекрасном примере. Святой Сола пошел однажды в лес, и там на него напали два волка. У святого не

было при себе никакого оружия, кроме твердой веры в бога. И вот он именем божьим приказал лесным муравьям защитить его, что они и выполнили с охотой и с таким рвением ополчились на волков, что те убежали.

КОНРАД И ПАУК

Старая летопись от десятого века повествует нам о не менее удивительном случае из жизни святого епископа Конрада из Констанцы, что в Швейцарской земле. Когда упомянутый епископ, причащаясь, готовился пригубить из чаши вино, пресуществленное святейшим таинством в кровь Христову, со свода вдруг упал паучок — и прямо в чашу. Епископ самоотверженно выпил вино с пауком.

Далее в летописи говорится: «И вышел паучок на другой день из тела епископа, живой, невредимый и бодрый, и свершилось это в присутствии курфюрста Баварского и многих князей церкви, которые громко ликовали при виде такого чуда». Паучка этого берегли и кормили до самой его кончины.

Событие сие запечатлено рукой неумелого, но зато тем более искреннего резчика. Резьба находится в Базельском кафедральном соборе. Над задней частью епископова тела в момент свершения чуда сияет святой ореол...

ЧИТАТЕЛЬ «ЧЕХА» И ОСЕЛ

Один набожный католик, причетник, встретил некогда неподалеку от Святой Горы атеиста, который стал над ним насмехаться. Набожный человек возвел очи горе — и в ту же минуту атеист превратился в осла. Причетник принялся благодарить бога, но, с другой стороны, стало ему жаль, что человек вдруг сделался животным, и он опять помолился богу — и осел преобразился в человека, который через несколько месяцев поступил в редакцию «Чеха».

КАК В ВАРНАВИТСКОМ МОНАСТЫРЕ * СЛУЖИЛИ МОЛЕБЕН ЗА ДОКТОРА ФУНКА *

Поскольку лидеры младочешской партии посылают своих детей в монастырские школы и пансионы, совсем не удивительно, что накануне памятных малостранских выборов у ворот варнавитского монастыря на Градчанах постучался член младочешского избирательного комитета. Ему пришлось довольно долго ждать, наконец калитка отворилась, и старый, глухой садовник подал посетителю черную табличку, чтобы тот написал, что ему нужно.

«От имени младочешского избирательного комитета хочу поговорить с настоятельницей монастыря», — начертал посетитель.

Садовник поклонился, после чего гость написал еще на табличке: «Во имя господне голосуйте за доктора Функа». По лабиринту коридоров и коридорчиков садовник провел его в приемную. Вскоре туда вошла престарелая игуменья монастыря, прославленного нетленными мощами, которые покоятся здесь уже несколько столетий и, как ни странно, даже благоухают. Набожные монахини блюдут обет молчания, разговаривать смеет только игуменья — вот какой это строгий и почтенный монашеский орден! Варнавитки даже прибегают к самобичеванию, чем снискали еще большее уважение градчанского и малостранского духовенства.

Увидев перед собой высокую благообразную старуху, посланец младочехов поклонился.

— Я настоятельница монастыря, — сухо произнесла она. — Что вам угодно, сударь?

— Слава господу Иисусу Христу,— сказал член комитета.— Наш комитет послал меня просить вас о покровительстве и содействии, преподобная мать. Известно, что вы, как настоятельница столь почтенного и строгого ордена, пользуетесь большим влиянием на местное духовенство. Завтра состоятся дополнительные выборы на Малой Стране, баллотируются младочех доктор Функ и народный социалист доктор Швига*. Надо, чтобы прошел кандидат младочехов!

— Разве есть еще младочехи на свете? — спросила настоятельница.— Я думала, что все они уже вымерли.

— Наоборот, наша партия растет, замечательно растет! И все же мы, как бы это сказать... нуждаемся в помощи досточтимой настоятельницы монастыря святого Варнаввы. Нам нужно ваше драгоценное покровительство. Достаточно будет письма или визитной карточки...

— У нас нет визитных карточек, и устав ордена запрещает нам писать кому-либо за пределы монастыря.

— Прошу вас выслушать меня, преподобная мать. Дело очень важное. Младочехи должны победить на этих выборах, потому что они подлинно богобоязненные католики. Посудите сами, нет, наверное, ни одного младочешского деятеля, который не посылал бы свою дочь в монастырскую школу. Нет ни одного младочешского парламентария, который не молился бы богу. Наши лидеры женятся на набожных девушках, никогда не отвлекают их от религии, наоборот, сами ходят на рождественскую мессу. Младочешские бургомистры в провинции всегда участвуют во всех церковных празднествах и крестных ходах и оказывают клиру всяческое содействие. Вы же понимаете, можно быть внешне радикалом, а в душе глубоко религиозным человеком. Поверьте, предвыборная борьба достигла такого накала, что мы полагаемся только на милость божью. Наша партия растет, но по какой-то непостижимой случайности мы теряем один мандат за другим. Будьте же великодушны и помогите нам, преподобная мать...

— Я отслужу вечером молебен за доктора Функа и прикажу молиться за него также и днем, сударь. Неисповедимо милосердие божие...

— О да, бесспорно, оно... м-м-м... неисповедимо. Заступничество перед всевышним весьма уместно и полез-

но... но не могли бы вы, преподобная мать, кроме того, замолвить за нас словечко в разговоре с достойными отцами Страговского монастыря *, которые пользуются избирательным правом? Ну, и с другими духовными лицами?

Игуменья покачала головой.

— Устав строго запрещает нам сношения с внешним миром.

— Достопочтенная мать, ваше преподобие...

— Ничего не могу сделать, сударь, но прибавлю к молебну еще пять отченашей сегодня же вечером. Велю монахиням молиться и бичевать себя, чтобы молитва за доктора Функа была горячее.

— Преподобная мать, наш комитет готов пожертвовать любую сумму на свечи для вашей часовни. Но нужно замолвить за нас хоть словечко... Преподобная мать, хоть словечко, ну, письмецо, несколько строк...

Настоятельница возвела очи к небу.

— Я уважаю младочехов, но чего не могу, того не могу. Устав не разрешает. Мы будем молиться за доктора Функа и отслужим молебен за его успех на выборах. Да будет милостив к нему бог! Счет я вам пошлю с нашим сборщиком добротных даяний. Сохрани вас господь.

Гость поцеловал руку игуменьи, и она направилась к выходу. У дверей она остановилась и деловито добавила:

— Счет подлежит оплате при вручении.

На другой день после оглашения результатов выборов, когда члены младочешского избирательного комитета уже собирались разойтись по домам, им принесли счет:

«За панихиду по доктору Функу 100 (сто) крон с благодарностью инкассировано. Настоятельница монастыря св. Варнаввы».

Предъявителя этого счета глава младочешского комитета спустил с лестницы.

НЕБЕСНАЯ СКАЗКА

Один из австрийских министров юстиции попал на небо и стал там помощником святого Петра-привратника.

Он курил трубку, поплеывал вниз в преисподнюю и наблюдал за душами, желающими попасть на небо. Одни души вели себя самоуверенно, другие держались униженно и тихо: просили смилостивиться, впустить их.

Некоторые громко стучали в ворота и дерзко кричали, что они непорочные лилии.

Бывший австрийский министр юстиции каждую душу осматривал, расспрашивал, что и как, потом помогал святому Петру открыть врата, так как за те долгие столетия, что святой Петр сидит у врат, замок совсем заржавел, и открывать стало довольно трудно.

— Любезный Петр,— сказал как-то раз министр юстиции,— надо смазать врата вазелином. Просто невозможно. Замок ужасно скрипит.

— Я вот уже шестьсот лет думаю об этом,— ответил святой Петр,— да все никак отлучиться не могу: помощника не было. А другой раз и помощники есть, да что толку? Был у меня один, так он имел особое пристрастие осматривать возносящихся в рай праведниц — шлепает, щекочет: душеньки-то все раздетые! А иные попадались такие пышные, хе-хе, молоденькие, ваше превосходительство! Тело будто алебастр. Некоторые держат свои головы в руках — красота! А одна из этих мучениц засмеялась, как к ней помощник мой привязался, ну и выронила голову — так и пришлось пустить в рай без головы. Это та безглавая святая, что у фонтана на де-

реве сидит и по вечерам всегда себе ноги моет. Этот случай тогда большое вызвал возмущение, и моего помощника пришлось отстранить. Дали мне другого. Он служил мне верой и правдой двести лет, но пришли как-то раз два здоровенных ангела и скинули парня с неба в чистилище. Оказывается, были на земле два тезки — один разбойник, другой честный человек; разбойник-то оказался на небе, а честный опоздал и попал в ад. Уж потом, после того как его двести лет в кипящей навозной жиже поддерживали, выяснилось, что он святой. Несмотря на такую процедуру, он так приятно благоухал, что несколько чертей исправились и уверовали в господа бога. Так что сами видите, ваше превосходительство, сколько тут хлопот. Говорю вам, я уж бог знает, сколько столетий не отходил от небесных врат. Надо мной уже на земле смеются, как над папой римским, что я никуда не хожу; но теперь, уж извините, я отойду. Справлюсь насчет вазелина, чтобы врата смазать. Я знаю, ваше превосходительство, что вполне могу на вас положиться. Будьте добры всегда запирать на ночь на два поворота да не забываете задвигать засовы, чтобы черти к нам не забрались. Раз как-то случилось, что они открыли врата отмычкой и забрались в отделение, где мы держали под надзором кое-какие души. А среди них была одна аппетитная молодая особа, имевшая от самого парижского архиепископа удостоверение о том, что она невинна. Вопрос был очень запутанный, и проводил следствие небесный верховный суд. Один из чертей вскарабкался на небо, перелез через каменную стену в это самое отделение, и... стряслась беда: через девять месяцев родился чертенок. Грешница за это получила девятьсот тысяч лет мучений, а чертенка я с великой торжественностью благочестиво утопил. Так что вы, ваше превосходительство, не уступайте ни просьбам, ни жалобам. Лучше пускай праведник подождет несколько столетий, чем грешник на небо попадет.

— Понимаю,— сказал бывший министр юстиции.

— Еще одно, ваше превосходительство: когда будете кого-нибудь пускать в рай, не премините обыскать его, чтоб он сюда чего противоцерковного либо возмутительного не пронес. Скажем, жаловаться задумал, как теперь о небесах пишут, и захватил с собой вырезки из

газет. Нынче даже святым верить нельзя. Ну, господь с вами! Побудьте здесь, а я пошел за вазелином.

Бывший министр юстиции остался один у небесных врат, строго озирая окрестность в бинокль. Глубоко внизу под ним проплывали миры. Когда показался земной шар, Австрия была обращена к министру задом. Он с досадой отвернулся и стал ждать появления душ. Наконец раздался смелый стук.

— Кто там?

— Лидер социал-демократов!

Бывший министр юстиции улыбнулся.

— Что ж, вы ведь никогда не думали всерьез того, что говорили. Входите!

Душа вошла с глубоким поклоном, увидела заместителя святого Петра и сейчас же узнала его.

— Как мы на земле вместе держались, так и на небе будем,— сказал бывший министр.— Не хотите ли табачку? Вы ведь курите трубку?

Новый небожитель закурил и стал наблюдать других пришельцев. Подошли еще две души. Министр юстиции хотел уж открыть врата, но старый знакомый остановил его.

— Этих двух не пускайте! — воскликнул он.— Они голосовали раз против правительства!

Через минуту черти схватили обоих под мышки, уволокли в преисподнюю и бросили их в кипящую серу.

Из этого следует, что никто не уйдет от справедливого возмездия. Если даже инакомыслящие не заплатились здесь, на земле, то благодаря мудрому божьему промыслу они неминуемо попадут не на небо, а в кипящую серу.

КАК МОЙ ДРУГ КЛЮЧКА РИСОВАЛ СВЯТУЮ АПОЛЕНУ

Если вы в присутствии художника Ключки проявите хотя бы малейшее сомнение в художественных достоинствах нарисованных им картин, он начнет рассказывать вам длинную историю о том, как его портреты — необычайно живые и натуральные — убедили даже немую тварь, и поклянется вам, что это святая правда.

А его правдивая история звучит примерно так.

Однажды рисовал он у себя в ателье портрет своей квартирной хозяйки — старой дамы, у которой был огромный пес сенбернар по кличке Фокс. Художник воспроизвел ее в натуральную величину, сидящей в кресле со сложенными на коленях руками.

Когда портрет хозяйки был уже совсем готов и она ушла, наверх прибежал Фокс. Увидя портрет, он подскочил к нему, виляя хвостом и издавая радостный лай, и начал лизать руки своей госпожи, полагая, что видит перед собой саму повелительницу, живую. И только слизав своим шершавым языком все краски, убедился он в ошибке, опустил обиженно хвост и, ворча, удалился.

А если вы и после этого будете выражать свои сомнения, художник расскажет вам, как он ввел в заблуждение и саму хозяйку.

Он нарисовал на полотне Фокса, и когда однажды хозяйка шла к нему, чтобы напомнить о квартирной плате, он поставил картину так, чтобы она сразу бросилась ей в глаза.

— Фокс, Фоксичек! — начала хозяйка звать нарисованного пса.— Иди сюда, иди ко мне! Ну, иди же, не бойся! Фокс, Фоксичек. А, ты боишься, негодяй, что попробуешь плетки за то, что расположился в чужой комнате? Фокс!..

Подобных историй о том, как и животные и люди принимали его портреты за живые существа, он мог бы сообщить вам великое множество, и в ваших глазах, если ему удастся вас убедить, он предстанет вторым Апеллесом — известным в истории художником, который так натурально изобразил однажды черешни, что прилетели птицы и начали их клевать. Имя этого художника я чуть было не забыл, но имя Ключки не забуду никогда, поскольку сохранились сведения о его деятельности и путешествиях, которые он предпринимал в сопровождении своего друга.

Друг его и рассказал мне нижеследующее:

«Однажды во время своих странствований по Моравии мы подошли к одной деревне, расположенной среди валашских лесов.

Путешествовали мы тем достойным удивления способом, при котором требуется мало денег, много красноречия и необычайное хладнокровие, то есть кормились у приходских священников, зажиточных крестьян, адвокатов, учителей и тому подобное.

Следуя этому методу, явились мы на фару, где нашли приятного пожилого священника, экономку в расцвете сил и далеко не самую приятную встречу, так как пан фарарж был очень занят проверкой счетов по ремонту костела.

Местность нам понравилась, и мы, само собой разумеется, решили задержаться здесь подольше. К сожалению, Ключку вдруг осенила за ужином злосчастная идея: он начал толковать о том, что утром нам хотелось бы осмотреть костел, так как мы якобы очень озабочены тем, чтобы старые костельные иконы всегда были в полном порядке, и что мы никогда не забываем безвозмездно предложить свои услуги там, где требуется реставрировать образа.

Его «декларация» завоевала нам симпатии пана фараржа, который распорядился подать бутылку вина и завел с нами дружескую беседу о церковных образах.

Ключка столько всего наговорил, что у меня голова пошла кругом. Напрасно я ему под столом всячески сигнализировал, чтобы он не очень завирался, — ничто не помогало. Он спокойно разглагольствовал о том, что в Стражнице мы разрисовали целый костел, причем совершенно бескорыстно, лишь во имя чести и славы божьей...

Когда пан фарарж вышел за новой бутылкой вина, я воспользовался его отсутствием, чтобы втолковать Ключке, что своей болтовней он навлечет на нас массу неприятностей: вдруг священнику придет в голову, что мы могли бы нарисовать образ какого-нибудь святого. Что тогда делать? Обычно мы рисовали детей, баб, стариков, святых же мучеников никогда еще не изображали. Так зачем же без конца болтать об образах святых!

— Я надеюсь, — сказал Ключка, — что пан фарарж этого от нас не потребует. Но если бог ниспошлет на нас такое бедствие, отдадимся его воле и уж как-нибудь нарисуем святого.

Говорил он необычайно смиренно, как и подобает гостю, находящемуся на фаре.

Пан фарарж возвратился с вином и, когда налил нам, имел вид человека, который только для того и выходил на минутку, чтобы хорошенько поразмыслить над тем, что ему предстоит сказать.

— За ваше здоровье, господа! — провозгласил он, чокаясь с нами. — Я в самом деле очень рад, что вы пришли на мою фару...

Он на секунду остановился, затем продолжал:

— Сначала я принял вас, господа, несколько холодно, потому что — если уж быть откровенным — не доверял вам, узнав, что вы художники. Художников я всегда считал людьми легкомысленными, которые рисуют женщин... — как бы это поделикатнее выразиться? — ну, словом, женщин без одежды. И я очень признателен вам, что вы вывели меня из этого заблуждения. Вы совершенно правы, что все прославленные художники рисовали святые образа. Кого, например, изображал Леонардо да Винчи и другие? Мучеников и мучениц божьих...

Он опять остановился и через минуту тягостного для нас молчания произнес:

— У меня к вам небольшая просьба, господа, просьба верующего к верующим. Наш костел весьма примечателен своими образами святых, и все они в полном порядке. Вот только святой деве Аполене не хватает головы. Не будете ли вы, господа, так любезны — не нарисуете ли святой Аполене голову? Благочестие здешнего народа сильно страдает, когда он видит на стене изображение святой мученицы без головы.

— С величайшим удовольствием! — отозвался Ключка, в то время как я немилосердно щипал его за ногу. — Нарисуем святую Аполену и тем послужим интересам церкви.

— Святая Аполена, — продолжал пан фарарж, — была замучена в году 252 по рождеству Христову, во времена императора Дециуса.

— Если досточтимому пану фараржу угодно, мы могли бы пририсовать также и императора Дециуса, — услужливо предложил Ключка.

Я с трепетом взглянул на священника.

— Думается, что император Дециус на этом образе есть, — ответил он. — Святую Аполену принуждали поклоняться идолам; когда же она это отвергла, безжалостные палачи выбили ей все зубы и бросили ее в конце концов в огонь... А ее святая душа вознеслась к небу, к вечной мученической короне.

Святая Аполена, как вам, господа, конечно, известно, является покровительницей и заступницей всех, у кого болят зубы. На этом обстоятельстве я делаю особое ударение. Здешний народ любит образа, на которых страдания святых изображены ясно, в наглядном виде. Как будут наши верующие радоваться, когда увидят святую Аполену с выражением ужасных мук на лице! Вот я и прошу вас, господа, сослужите христианскую службу, украсьте храм божий, нарисуйте святой деве Аполене лицо, искаженное страданием! Если бы святая приятно улыбалась, народ не стал бы столь набожно ей молиться.

Мы обещали выполнить его просьбу.

В комнате, которую нам отвели, до поздней ночи раздавался наш приглушенный шепот.

— Было бы очень странно, — толковал Ключка, — если бы я, который нарисовал Фокса, который ввел в

заблуждение хозяйку, который нарисовал хозяйку, которая ввела в заблуждение Фокса,—если бы я не нарисовал головы святой девы Аполены, которой палачи выбили все зубы, и не изобразил бы на ее лице выражения мучительного страдания, какое имеют почти все, кто идет в больницу к Милосердным братьям или в зубную амбулаторию, чтобы вырвать себе больной зуб.

В крайнем случае раскачаю свой зуб, в котором дупло,—он разболится, я встану перед зеркалом и буду изображать святую Аполену и сам себя нарисую. А потом с этого эскиза перенесу выражение страдания на образ божьей святой в костеле.

— Это легко говорить,— заметил я, усмехаясь.— За твою дурацкую болтовню, что мы расписываем костелы, ты заслуживаешь...

— А ты мне не угрожай,— спокойно возразил Ключка.— Знаешь, как была изобретена тачка?

— Нет, не знаю.

— Человек попробовал—и сделал тачку,— торжественно ответил Ключка.— Я попробую—и сделаю святую деву Аполену.

Да, легко было говорить...

На следующий день мы пошли осмотреть костел и образ мученицы без головы. Он висел высоко, под самым сводом. Забравшись на лестницу, мы сняли его и отнесли в свою комнату, превращенную нами в ателье.

Два дня мы чувствовали себя великолепно: хорошо ели, хорошо пили, курили трубки пана фараржа и размышляли, как нам изобразить страдание на лице святой девы.

Ключка «пробовал», рисовал эскизы, но везде святая Аполена так приятно улыбалась, что я давился от смеха и хохотал во все горло.

На третий день к вечеру несчастный Ключка пробормотал:

— Если бы мне найти здесь хоть одного человека, у которого болят зубы, я бы его сфотографировал и рисовал бы по этому образцу.

Негодяй устроил мне подвох: я спал у окна, так он ночью распахнул его и открыл дверь, чтобы у меня от

сквозняка разболелись зубы. Но, к счастью, этого не случилось.

На четвертый день мы взяли фотоаппарат и пошли с ним по деревне в надежде натолкнуться хотя бы на одну физиономию с флюсом. Увы, все было безуспешно! А тут еще пан фарарж начал расспрашивать за обедом:

— Ну, а как святая Аполена?

— Я уже сделал ей волосы,—ответил Ключка,— брови у нее также есть, скоро будет готова вся. Требуется немало труда, чтобы создать совершенное произведение искусства.

Пятый день... Снова безуспешные поиски кого-нибудь, страдающего от зубной боли.

— Здесь уж чересчур здоровая местность! — жаловался Ключка.

На шестой день он начал умолять меня во имя искусства вырвать у себя клещами хотя бы один зуб, он меня тотчас же сфотографирует.

Настал день седьмой... Рано утром Ключка, как обычно, отправился на кухню, чтобы расспросить экономку, что готовится к обеду. Возвращался он всегда переполненный радостью, сообщая, что будет то-то и то-то, и это полностью уводило нас от мыслей о святой деве Аполене. В этот седьмой день он прибежал из кухни с горящими глазами.

— Гусь с кнедликами? — крикнул я ему навстречу.

— Балда! — отрезал Ключка. — У экономки разболелись зубы. Она бродит по саду с самым ужасным выражением на лице. Живо аппарат! Да быстрее же!

Как только мы получили фотографию страдающей экономки, работа над образом святой Аполены начала быстро продвигаться.

Выражение страдания на лице было просто превосходное.

На восьмой день икона была готова.

Мы поставили ее к окну и любовались от двери, какой она получилась роскошной.

В это время дверь открылась и вошел пан фарарж. Он огляделся вокруг, увидел образ и в наступившей тишине сказал ему укоризненно:

— Мария, у вас все еще болит зуб? Я же говорил вам, чтобы вы шли в Рожнов, там этот зуб вырвут. Больше я нянчиться с вами не буду...

— Когда же пан фарарж понял свою ошибку,— закончил тихим голосом приятель Ключки,— он сразу превратился в язычника и начал совсем не по-христиански клясть и ругаться. Мы сообразили, что самое лучшее сейчас для нас — поскорее собрать свои манатки и исчезнуть...

Как только мы оказались за деревней, Ключка спокойно обратился ко мне:

— Вот теперь видишь, что я тебя не обманывал с тем Фоксом: уж если сам пан фарарж ошибся, то почему бы не ошибиться и такой глупой твари!

Да, воистину, Ключка — это второй Апеллес...»

ФУРАЖКА ПЕХОТИНЦА ТРУНЦА

В начале октября рекрут Трунец приступил к своей трехлетней службе в пехоте. Парень был, как гора, и его могучие плечи гордо несли огромную голову.

Когда он в первый раз явился в казармы, его направили сперва в медицинскую комнату, а затем вместе с остальными доставили к унтер-офицеру, который подробно расспросил его, как и других, о домашних делах. Это делалось для того, чтобы возбудить доверие к военному начальству. После того как доверие было внушено, всех отвели на склад, чтобы подобрать мундиры.

Здесь фельдфебель, бегло осмотрев рекрутов, кричал: — Башмаки номер третий! Штаны — шестой! Гимнастерка — второй!..

Четыре капрала тут же приносили очередному рекруту ботинки, брюки, гимнастерку и фуражку, размеры которых фельдфебель определял на глазок, не очень заботясь о том, как все эти вещи будут сидеть.

В результате у одного ботинки оказались такой величины, что он мог бы всунуть в них еще две ноги, если бы их имел; другой ни за что на свете не втиснул бы ногу в башмак, даже если бы обрубил ее наполовину; у третьего рекрута были брюки, в которых вместе с ним мог бы привольно разместиться и его старший брат, а четвертый вполне свободно натянул бы свою гимнастерку еще на двух таких же, как он.

Получив обмундирование, все перешли в комнату, где должны были переодеться. Вид у них был более чем плачевный. Все сразу стали неузнаваемыми. У одних руки терялись в рукавах, брюки ползали по полу, а фуражки закрывали уши. У других брюки еле-еле достигали колен и завершались подштанниками, руки по локоть торчали из рукавов, а фуражка ползала по голове туда и сюда. Того, что было в избытке у одной половины рекрутов, не хватало другой.

Когда фельдфебель увидел эту живописную компанию, он безнадежно махнул рукой и произнес:

— Видите, ребята, какие бывают ненормальные размеры человеческого тела. У этого руки длиннее, чем положено, а у того, наоборот, короче. То же самое и с ногами. О толщине я уж не говорю. Один никак застегнуться не может, а другой висит в гимнастерке, как божий мученик. Но в остальном все в порядке. Можете обменяться между собой одеждой. И зарубите себе на носу, что солдат должен быть, как огурчик, и выглядеть нарядным, как барышня. Кто будет похож на чучело, получит карцер.

Рекруты начали обмениваться между собой гимнастерками, брюками, ботинками и фуражками. Остался обездоленным только один — гигантский рекрут Трунец. В брюках, которые были ему по колено, в гимнастерке, которую он никак не мог застегнуть, с маленькой фуражечкой, которая робко притулилась на его огромной голове, он казался каким-то диковинным существом с чужой планеты. Остальные тоже имели несколько авантюрный вид, но это создание — рекрут Трунец — выглядело так, как будто принадлежало совершенно иным мирам.

Трунец Христом-богом молил, чтобы его не оставляли в таком виде. Смягченный этими мольбами, капрал отвел его снова на склад, где в конце концов после долгих поисков были найдены все необходимые части мундира, которые сделали Трунца немного похожим на солдата. Но вот фуражка — с ней ничего нельзя было поделаться: самая большая из всех терялась на его огромной голове, как песчинка в море.

Дело дошло до того, что его фуражкой пришлось заняться даже Главному интендантскому управлению в Вене. А произошло это вот каким образом.

Первейшая обязанность солдата — научиться отдавать честь своему начальству. Рекрут же Трунец, с фуражкой, которая скакала по его гигантской голове, как мяч по полу, напрасно изо всех сил старался поймать край своего головного убора, к которому он, согласно уставу, должен был при этом прикоснуться: при малейшем движении фуражка сползала ему на затылок.

Унтер был в отчаянии. Офицер сыпал проклятия и багровел от злости, когда фуражка несчастного рекрута при этих сверхчеловеческих усилиях падала с головы на землю.

В полном смятении, весь красный от напряжения, Трунец посадил ее наконец на одно ухо. Но это вызвало приглушенный смех у солдат и новый приступ гнева у офицера и унтера.

Что с ним делать?

В конце концов офицер велел капралу отвести рекрута Трунца в канцелярию роты. Не имея никакого представления, что его ожидает, Трунец с тоской тащился за капралом.

Дежурный унтер-офицер, выслушав рапорт капрала, доставил Трунца к капитану. Капитан отнесся к рапорту очень серьезно. Прежде всего он осведомился у Трунца, нет ли у него водянки головы. А когда тот учтиво ответил, что он осмеливается доложить, что воды в голове не имеет, капитан приказал намочить фуражку и натянуть ее на голову Трунцу. Трунец должен будет носить ее на голове целый день, и она растянется.

С этой целью его заперли на двадцать четыре часа в одиночку, чтобы он не нарушал общего порядка, разъяснив при этом, что сие отнюдь не является наказанием.

Сидя на нарах, Трунец бережно держал фуражку на голове, пока в конце концов, измученный, не заснул. Утром, когда он встал, злосчастная фуражка лежала возле него на нарах такая же маленькая, как и накануне, да к тому же еще сморщилась от водной процедуры.

Он опять надел ее на голову и начал тренироваться, чтобы удержать ее там в равновесии. Но все было на-

прасно: фуражка елозила на голове совершенно так же беззаботно, как и вчера.

Пришлось Трунцу снова идти в канцелярию роты.

На этот раз капитан был еще серьезнее. Он приказал унтер-офицеру измерить Трунцу голову. Оказалось шестьдесят два сантиметра. Тогда господин капитан строго сказал Трунцу, что об этом придется рапортовать в Главное интендантское управление в Вене... И как он только посмел явиться на свет с такой головой!

Наконец злополучный рекрут был отпущен. На голову ему посадили фуражку, которую портной кое-как увеличил, и Трунец мог участвовать в учениях, радуясь, что его не упрятали в крепость.

После его ухода господин капитан продиктовал унтеру нижеследующее:

«Главному интендантскому управлению в Вене.

В связи с тем, что пехотинец Ян Трунец, родом из Пельгржимова, округ Кадань, имеет голову ненормальной величины, нижеподписавшаяся Третья рота Двенадцатого полка просит Главное интендантское управление о высылке фуражки, которая соответствовала бы размеру головы вышеупомянутого пехотинца».

Затем капитан собственноручно подписал это послание, и Главное интендантское управление на другой день уже имело возможность с ним ознакомиться.

Через четырнадцать дней рекрут Трунец был вызван в канцелярию, где ему снова была снята мерка с головы, так как в этот день от Главного интендантского управления в Вене был получен ответ, который гласил:

«Третьей роте Двенадцатого полка.

В ответ на рапорт № 1728/891 II а6/6721/345 г. III а 8 IV.

Главное интендантское управление имеет сообщить нижеследующее:

В рапорте Третьей роты Двенадцатого полка за № 1728/891 II а6/6721/345 г. III а 8 IV, содержащем

просьбу к Главному интендантскому управлению в Вене о высылке фуражки пехотинцу той же роты Яну Трунцу, родом из Пельгржимова, округ Кадань, поскольку вышеназванный пехотинец имеет голову ненормальной величины, отсутствуют данные относительно размера головы вышеназванного пехотинца. Сим предлагается незамедлительно сообщить данные о размере вышеупомянутой ненормальной головы пехотинца».

— Ну и дали вы нам работенку! — проворчал унтер-офицер, обращаясь к Трунцу, и написал в Главное управление, что размер головы вышеназванного пехотинца — шестьдесят два сантиметра.

Через четырнадцать дней в канцелярию роты пришло новое отношение из Вены:

«Главное интендантское управление в Вене предлагает в дополнение к присланному сюда рапорту за № 6829/351/II г III г 3321 сообщить, в каком году родился пехотинец с ненормальной головой и какой год служит в армии, так как не исключена возможность, что голова вышеупомянутого пехотинца может еще увеличиться».

Унтер-офицер сообщил год рождения и службы Трунца.

Через два месяца из Вены пришла бумага следующего содержания:

«Сим предлагается безотлагательно выслать выданную вами пехотинцу Трунцу фуражку во избежание недоразумений при учете военного имущества. Просимая вами фуражка будет прислана в обмен».

Через три месяца прибыла новая бумага:

«Третьей роте Двенадцатого полка.

Главное интендантское управление сообщает, что отправленная вами фуражка пехотинца Трунца прибыла в поврежденном состоянии. Сим предлагается произвести строжайшее дознание, каким путем она фуражка была повреждена. По завершении дознания Главное интендантское управление, в соответствии с § 16 Воинского

устава, объявит конкурс на поставку новой фуражки размером в 62 сантиметра для ненормальной головы пехотинца Трунца».

Письмо Третьей роты Двенадцатого полка Главному интендантскому управлению в Вене:

«Произведенным расследованием было установлено, что пехотинец Ян Трунец получил фуражку, посланную в Вену на обмен, в полной исправности. Но вследствие того, что он не относился к ней, как это было подтверждено свидетелями, с должным почтением, какое требуется по отношению к казенному имуществу, фуражка была повреждена. Поскольку вышеупомянутый пехотинец между тем умер, просим об обратной засылке посланной вам фуражки пехотинца Яна Трунца с ненормальной головой».

УДИВИТЕЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ С ФРАНТИШКОМ МАХУЛКОЙ, ПРАКТИКАНТОМ МАГИСТРАТА

Во избежание всяких недоразумений и ложных толкований заявляем с самого начала: если в нашем рассказе и говорится о магистрате, то это ни в коем случае не касается магистрата королевской столицы Праги. Наоборот, все, что последует, случилось давным-давно и совсем в ином месте...

До той поры, когда произошли эти важные события, практикант магистрата Франтишек Махулка жил мирно и был доволен жизнью. От рождения человек тихий и скромный, он был старателен, почтителен к начальству — словом, образец хорошего чиновника. Он чтил любой авторитет — светский или духовный, был необычайно вежлив со своими коллегами, а главное, умел ценить свое место.

И не удивительно: Махулка с отличием окончил гимназию и поступил на юридический факультет. Два года он успешно изучал право, но потом понял, что за экзамены уплатить ему нечем и что по окончании он не сможет служить бесплатно несколько лет.

Тогда он расстался с юриспруденцией и перешел на философский факультет. Но когда он заканчивал третий курс, в газетах появились многочисленные предупреждения, чтобы молодежь избегала заниматься философией, так как все должности заняты и в ближайшие двадцать лет никаких вакансий не предвидится.

Франтишек Махулка оказался в тупике. Поскольку об изучении медицины не могло быть и речи, он думал уже, что ему остается только пойти в семинарию. И вдруг в самый критический момент явилось спасение: некий колбасник, сына которого он репетировал за ужины, был избран в муниципальный совет старшин и выхлопотал бедняге место в магистрате.

Франтишек Махулка сделался писарем. Так как за его плечами были аттестат зрелости, два года юридического факультета, три года философского и экзамен по делопроизводству, он был зачислен в качестве «квалифицированного диурниста* с правом на повышение» и с поденной оплатой в одну крону.

Франтишек Махулка был счастлив. Частенько по утрам до работы он заходил в костел, благодарил господа бога и молился за своего благодетеля муниципального старшину — колбасника и за весь славный магистрат, который его кормил.

В канцелярии, как уже сказано, он был одним из самых надежных работников: не ленился, не отзывался непочтительно о своем начальнике, не покупал себе еды и пива на второй завтрак (на это у него просто не хватало денег) и никогда не оставлял никаких «хвостов».

Сослуживцы считали его выскочкой и карьеристом, но начальство ценило его усердие и наваливало на него в три раза больше работы, чем на других.

Его добросовестность принесла, однако, свои плоды: через три года его поденную плату повысили на десять крейцеров, еще через три года — снова на десять и, наконец, после нового трехлетия — на двадцать геллеров (тогда уже были введены геллеры и кроны). Читатель, обладающий математическими способностями, легко подсчитает, что ежедневный заработок Махулки через девять лет равнялся одной кроне шестидесяти геллерам, или сорока восьмью кронам в месяц, что составляло в год пятьсот восемьдесят четыре кроны.

Франтишек Махулка был на седьмом небе. Он никому на свете не завидовал и считал себя маленьким Ротшильдом. Тем ревностнее молился он каждый вечер за своего благодетеля муниципального старшину — колбасника, за господина бургомистра и за весь муниципаль-

ный совет. Он говорил себе, что теперь может спокойно ждать — хотя бы это длилось еще лет десять — назначения практикантом.

Дело в том, что в магистрате, о котором мы повествуем, было точно установленное число практикантов и определенное число официалов *, которое ни в коем случае не могло быть увеличено. Никто не мог продвигаться, пока кто-нибудь из вышестоящих не умер или не ушел на пенсию. Эта мудрая система была придумана в давние времена, когда город был невелик, а делопроизводство несложно. С тех пор город разросся, делопроизводство неизмеримо усложнилось, но количество чиновников осталось прежним. Поэтому просто нанимали сверх штата поденных писарей, чье продвижение было практически невозможно.

Однако с течением времени прогресс проникал всюду, выдвигались новые лозунги, все организовывалось; организовались наконец и чиновники и писари. Членов муниципального совета засыпали петициями, они не успевали выбрасывать депутации за дверь. Противились долго, но в конце концов все-таки уступили и сказали: «Надо что-то сделать и для чиновников!» (Как раз приближались выборы.) И сделали. Рассудили мудро, что от писаря до практиканта, а от практиканта до официала — слишком резкий скачок и человек, ошеломленный внезапным увеличением доходов, может потерять равновесие; поэтому ввели новую шкалу различных званий, которым отвечали соответствующие земные блага.

В результате Франтишек Махулка, который еще пять лет спокойно проживал свои ежедневные кроны и шестьдесят геллеров, был назначен *аспирантом*. Теперь он был уже не простой писарь, а «ожидатель» места чиновника. Радость его была неопишима. Правда, такое повышение имело и теневую сторону, ибо аспирантское жалованье исчислялось в пятьсот крон ежегодно, и Махулка лишался восьмидесяти четырех крон. Но он легко сбалансировал утрату тем, что три раза в неделю не завтракал и не ужинал.

Еще усерднее трудился он в канцелярии. Его неутомимое рвение не ускользнуло от внимания начальства и спустя пять лет было вознаграждено внеочередным повышением. Но так как за это время никто из практикан-

тов не продвинулся выше, не умер и не ушел на пенсию, Махулку не могли сделать действительным практикантом и наименовали *титулярным практикантом* с жалованьем аспиранта. Таким образом, его доходы остались прежними, но он должен был уплатить пятьдесят крон цензового сбора.

Получив приказ о назначении, Махулка чуть не сошел с ума и впервые не вышел на работу, так как целый день прикладывал к голове холодные компрессы.

Прошло семь лет, и титулярный практикант Франтишек Махулка по-прежнему трудился с неустанным рвением, и по-прежнему его ставили в пример менее добросовестным коллегам. В конце седьмого года произошло выдающееся событие: старейший официал после шестидесятилетней службы ушел досрочно на пенсию, не пожелав выжидать еще десять лет, после которых он получал право на пенсию в размере полного оклада. В результате один из действительных практикантов стал официалом, что дало ему возможность жениться на своей невесте и узаконить своего внебрачного сына, который в том году как раз призывался в армию. А на освободившееся практикантское место был назначен наш Франтишек Махулка. Жалованье его, разумеется, не изменилось, но он должен был уплатить двести крон цензового сбора, которые ему милостиво разрешили вносить в рассрочку помесечно.

Столь частые и столь быстро следующие одно за другим повышения, видимо, укрепили нервы Махулки, так что на этот раз он уже не прикладывал к голове холодные компрессы; тем не менее радость его была безмерной. Теперь перед ним осталось всего лишь пятьдесят девять практикантов. Теперь-то уж он дожидается желанного звания официала! Тем усерднее отдавался он работе.

Шли годы, и снова Франтишку Махулке улыбнулась фортуна: за безупречную тридцатилетнюю службу он получил персональную прибавку в сто крон ежегодно, за которые в первом году заплатил только пятьдесят крон пошлины.

Когда прошли первые приступы безумной радости, он вообразил себя баринном и завел новый распорядок.

Следует признать, что действовал он при этом несколько легкомысленно, так как решил, что не будет, как до сих пор, ограничиваться в обед чашкой кофе с хлебом, а разрешит себе дважды в неделю вкушать в народной столовой обед с пирогом; сигару же, так называемую «длинную», которая раньше служила ему три дня, отныне он будет выкуривать всего за два дня.

В ту пору Франтишек Махулка регулярно раз в три года заказывал себе новые ботинки, а раз в четыре года — новый костюм. Он очень заботился о своей внешности, и это была его единственная слабость.

Его поставщиками были два старых солидных ремесленника — сапожник Венделин Брдичка и портной Матиаш Цафоурек.

Каждый новый заказ становился для Махулки настоящим событием: ведь эти два человека от него зависели, они должны были первыми здороваться с ним и говорить ему: «Ваша милость» и «Чего изволите».

И Махулка не упускал возможности напомнить об этом, что он дает им заработок, что может им приказывать — словом, что он заказчик и с ним нужно считаться. Всякий раз, когда с него снимали мерку для ботинок или для костюма, он очень важничал и говорил свысока:

— Послушайте, вы... чтоб они мне не скрипели... а то знаете, что вы натворили прошлый раз?

Когда же почтенные мастера сдавали ему свои изделия, он не мог удержаться — даже если заказ был выполнен самым тщательным образом, — чтобы не сказать:

— Ай-ай, уважаемый... Разве это ботинок? Да это же опорок!.. Да вы отродясь и колодки-то порядочной не видели! В следующий раз я такую дрянь не приму, носите сами! (То была точная копия тона и выражения его начальника, советника Пишкота.)

Таково было единственное удовольствие Махулки — хоть на минутку да почувствовать себя барином, — удовольствие, которое он всегда заранее предвкушал и долго потом вспоминал.

Так проходили годы, без изменений — медленно и монотонно; время от времени Махулка заказывал ботинки или костюм, неизменно повторяя приведенный выше монолог, как вдруг в один прекрасный день...

Да, в один прекрасный день происходили выборы в муниципальный совет. Огромные кричащие плакаты на углах улиц, бурные предвыборные собрания, соглашения муниципальной клики с оппозицией ремесленников... и из избирательной урны игрою случая вынырнули новоиспеченные члены муниципального совета сапожник Венделин Брдичка и портной Матиаш Цафоурек, поставщики практиканта магистрата Франтишка Махулки.

Махулка, никогда не интересовавшийся политикой, узнал об этом утром в табачной лавке, покупая свою неизменную «длинную», которая должна была ему служить два дня, и, как обычно, наспех просматривая ведомственный листок.

Сначала новость не очень поразила его: впереди был рабочий день, и Махулке некогда было заниматься легкомысленными размышлениями, которые могли отвлечь его от работы и тем нанести ущерб магистрату. В дневной суете он даже забыл об этой новости, и только после ужина, когда он уже собирался лечь, она вдруг всплыла в его сознании. Махулка как раз разувался и, грустно разглядывая стоптанные, потрескавшиеся ботинки, думал, что пора заказывать новые. Тут-то впервые и дошел до него смысл этого события. В голове мелькнула тревожная мысль: как я могу заказывать ботинки у Брдички, если он теперь муниципальный советник, мой кормилец? Что делать? И как быть с одеждой? Брюки внизу обтрепались, на зад нужно положить заплату. Как я могу прийти за этим к Цафоуреку, если он со вчерашнего дня городской старшина и мое непосредственное начальство?

Его начало трясти, как в лихорадке, и он, ошеломленный неслыханным оборотом дел, решил отложить размышления до завтра. Но долго не мог он уснуть в эту ночь, и временами мороз подирал его по коже.

Когда утром Махулка обувался, тяжелые мысли начали одолевать его с новой силой. Он страшился будущего и чувствовал себя беспомощным.

В канцелярии он не раз впадал в задумчивость, посадил кляксу на важный документ и испортил гербовый бланк ценою в 0,7 геллера, что побудило господина советника деликатно упрекнуть его:

— Черт побери, Махулка, нужно быть повнимательнее! Этак вы пустите по миру весь магистрат!

Это окончательно выбило его из колеи. Об обеде Махулка уж и не думал, мысли его неизменно блуждали по заколдованному кругу: «Господи, что делать? Попробуй отдать башмаки в починку муниципальному советнику! Не сочтет ли он это смертельным оскорблением со стороны жалкого практиканта? И ради всего святого, как я должен теперь к нему обращаться?»

Он начал мысленно комбинировать всевозможные титулы и от этого еще больше запутывался:

«Глубокоуважаемый господин советник, не будете ли вы так любезны поставить мне заплатку на ботинок?»

«Ваше благородие, господин советник, позволю себе наипокорнейше просить, не затруднит ли вас залатать мне брюки на заднице?»

«Многоуважаемый господин советник, позволю тешить себя надеждой, что вы с обычной благожелательностью изволите починить мои смиренные ботинки!»

Будет ли это достаточно почтительно? Не вышвырнет ли он меня за дверь? А вдруг я, не дай боже, забудусь да и ляпну муниципальному советнику, как раньше: «Послушайте, вы...» или «Эй, шут гороховый!».

С ума сойти! А если пойти к другим? Но ведь никто не возьмется шить мне ботинки и костюм в рассрочку, по кроне в месяц! Не говоря уже о заплатках и подметках! А еще, того и гляди, господин муниципальный советник и господин муниципальный старшина обидятся, что я перестал у них заказывать, а это хуже всего!

Отныне мрачные мысли не покидали несчастного Франтишка Махулку. Им овладела меланхолия. Как навязчивая идея, днем и ночью преследовал его образ заплатанных ботинок и брюк.

Время шло, но состояние Махулки не улучшалось. Наоборот, он все глубже погружался в задумчивость. Куда девались его прилежание и внимательность, которые всегда приводились в пример остальным? Уставившись в пространство, он тратил время на долгие размышления, сажал кляксы на важные бумаги и портил дорогие бланки.

Одновременно и вид его становился все неряшливее. Поскольку он все еще не решил, как быть, его единст-

венный костюм пришел в полную негодность, ботинки совсем развалились, и он ходил уже на собственных подошвах, брюки протерлись, а на локтях зияли дыры, которые он безуспешно пытался прикрыть подкрашенными заплатами.

В конце концов это заставило шефа, господина советника Пишкота, вызвать Махулку к себе и серьезно с ним поговорить:

— Послушайте, Махулка, что с вами, собственно, происходит? Ничего не понимаю! Вы всегда были таким примерным чиновником!.. Я уж не говорю о вашей работе — она сейчас и гроша ломаного не стоит,— но посмотрите на себя: на кого вы стали похожи! Просто ужас берет: вылитый атаман разбойничьей шайки после разгрома! Куда вы деньги-то девааете, коли даже одеться прилично не можете? Холостой человек, и с таким-то жалованьем! Или какую-нибудь балеринку содержите?

Но Франтишек Махулка вместо ответа залился истерическим плачем.

Пораженный господин советник вызвал к себе после этого старшего официала, который приглядывал за всем персоналом канцелярии, и поделился с ним своими сомнениями:

— Не кажется ли вам, что Махулка чертовски сдал? Попробовал я сейчас отечески пожурить его, так он возьми да и разревись, словно какая-нибудь меланхолическая девица! Не иначе он алкоголик, скорее всего потихоньку пьет. Придется отправить его на пенсию!

— Осмелюсь напомнить, господин советник,— сказал старший официал,— он служит всего тридцать лет и не имеет еще права на пенсию.

— Тем лучше, по крайней мере сэкономим на нем,— сказал господин советник и милостиво отпустил официала.

Но случилось все иначе...

В то же день в ратуше происходило важное заседание муниципального совета, на котором, помимо иных вопросов, разбиралось предложение о создании особого учреждения для художественного воспитания народа. Среди прочих ораторов слово попросил новоиспеченный советник сапожник Брдичка, который так начал свою девственную речь:

— Господа, я никакой там не оратор, я честный ремесленник, и я не буду выдумывать всякие там цветистые выражения — я по-простецки ляпну, как думаю. (Превосходно!) ...Так я вот думаю, господа, что как... это... жили мы без этих новшеств. (Превосходно!) ...И наши отцы без них прожили. (Превосходно!) ...Так и наши дети без них отлично проживут. (Превосходно!) ...А долгов у нас и без того полная... а что полная, говорить неудобно. (Бурное одобрение.) Вот я и думаю, к чему еще выбрасывать деньги...

Вдруг в напряженной тишине с переполненной галереи раздался громкий выкрик, который сразу погасил красноречие господина советника:

— Эй вы, шут гороховый, разве это ботинок?! Да вы отродясь и колодки-то порядочной не видели! В башку вам его только запустить!

И какой-то человек швырнул вниз, прямо в оцепеневшего оратора, изношенный башмак и начал рвать на себе одежду. Это был несчастный практикант магистрата Франтишек Махулка, который сошел с ума.

Заседание было прервано. Беднягу вывели и вскоре отвезли в сумасшедший дом, откуда он больше не вернулся.

И живет там Франтишек Махулка за счет муниципальной казны, которой все-таки не удалось на нем сэкономить, как надеялся господин советник Пишкот.

Это тихий, безобидный сумасшедший, который низко кланяется всем встречным и твердит просительным тоном:

— Ваша милость, глубокоуважаемый господин советник, позволю себе наипочтительнейше просить, если это вас не затруднит, залатать мне смиренную задницу на брюках...

РУМЫНСКИЙ КОРОЛЬ ОХОТИТСЯ НА МЕДВЕДЕЙ

В 1904 году мне случилось наблюдать, как румынский король охотился в Трансильванских Альпах. За день до его отъезда чрезвычайные выпуски бухарестских газет вышли с торжественным заголовком: «Румынский король едет охотиться на медведей!» И он вправду отправился. С одобрения совета министров и своей супруги румынской поэтессы Кармен Сильвы.

Программу поездки разработали так, чтобы население городов, где король за всю свою жизнь ни разу еще не побывал, могло насладиться видом его охотничьего костюма и голых коленок.

Дело происходило в Тито, Питэксе, Картеа-де-Аргес — маленьких румынских городках, жители которых, с нетерпением ожидали приезда короля.

Вдоль всей дороги развевались флаги. На каждой станции поезд останавливался, король выходил и в ответ на приветствия собравшихся детей говорил:

— Да, румынский король едет охотиться на медведей, такова воля народа.

Таким образом, поездка на охоту превратилась в волю народа и по этому поводу всюду ликовали.

В Тито король осмотрел здание ратуши и отметил, что у него глубокий фундамент. По двору ратуши бежали куры, и король заинтересовался их возрастом. Затем, бросив собравшимся горсть «бани» (медная монета с дыркой посередине, стоимостью около двух геллеров), король, сопровождаемый восторженными возгласами толпы, сел в коляску и отбыл на вокзал.

Поезд пришел в Питэкс. Там воздвигли триумфальную арку с надписью, которую было видно издали: «Король румынский едет охотиться на медведей! Счастливой охоты!»

Румынский король снова расспрашивал о возрасте кур, метавшихся перед его коляской. Удивлялся хорошему виду старосты, затем ему попала на глаза новая ратуша, и он спросил, сколько жителей в городе, а когда ему ответили, что 3 712, заметил:

— Надеюсь, что к концу года вы достигнете круглой цифры — 4 000!

Следующая остановка была в Дегараце — городке с деревянными домиками, окруженном лесом. Король вышел из поезда и пожелал осмотреть ратушу. Ему объяснили, что ратуши у них нет. Тогда король провозгласил:

— Мужайтесь и всего добьетесь!

Заинтересовался он также маленькой речушкой, был чрезвычайно удивлен тем, что она течет на запад, и спросил отцов города, куда она впадает. Но этого никто не знал, что весьма огорчило короля. После этого он уехал.

Оттуда поезд направился в Картеа-де-Аргес. Вдоль всего пути в знак приветствия стреляли в воздух, играла музыка и кричали «ура».

В Картеа-де-Аргес король снова слушал на вокзале оркестр, а так как по дороге порядком приложился к вину и теперь был взволнован восторженной встречей, то расцеловал старосту и представителей местной власти. Затем он подарил старосте часы и уехал, производя на всех прекрасное впечатление.

Между Картеа-де-Аргес и Исерау король трижды выходил из поезда. Один раз в Башуче, где осведомился о возрасте супруги начальника жандармерии, затем в Камбалу, где сообщил, что любит мосты, и, наконец, в Югатине, где его заинтересовал возраст местного попа. Когда оказалось, что попа здесь нет, потому что церковь находится в Камбалу, король очень удивился, сказал, что абсолютно не понимает, почему церковь должна находиться именно в Камбалу, и счел нужным отстранить от должности представителей общины.

Наконец он приехал на последнюю станцию — Езеро, на склоне Кумполунга, горный городок, где его при-

ветствовали красивейшие девушки округи. Он не сдержался, перецеловал всех 80 девушек и приказал своему адъютанту наградить пять самых красивых из них приданым. Ничуть не интересуясь, что предпримет пришедший в отчаяние адъютант, король отправился пешком в город, настойчиво расспрашивая, когда построенны отдельные здания. Выразил удивление тем, что именно Езеру выпала честь находиться у подножия отрогов Трансильванских Альп. Выслушал рассказ о геологическом строении горного хребта, причем недоверчиво покачивал головой.

— Повторите-ка все это еще раз!

— Ваше величество,— повторил городской инженер.— Куда ни глянет ваше светлейшее око, всюду увидите самый обычный кварц, один только кварц!

— Значит, в окрестностях много кварца?

— Ваше королевское величество, Трансильванские Альпы целиком состоят из кварца.

После этого король посвятил целый час осмотру города. Спросил, быстро ли растет население, и, получив положительный ответ, заметил:

— Во всем надо соблюдать меру!

После полудня он отправился в горы, за Вагагору, где триста загонщиков уже в течение трех дней гоняли двухметрового ручного черного медведя.

Король прибыл на назначенное место. Ему подали ружье и выгнали из кустарника медведя.

При виде зверя король румынский побледнел и сказал адъютанту:

— Бог с ним, пусть живет! — сел в коляску и поскорее уехал в безопасное место.

Через два дня правительственные газеты сообщили, что король румынский вернулся в Бухарест.

Там он спросил, кто организовал его охоту на медведей в горах Кумполунга; узнав, что этим занимался главный королевский лесничий, вызвал его в Бухарест и собственноручно приколот к его груди орден св. Георгия, а всех придворных сановников оделил шкурами черных медведей.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ИНСПЕКТОРА КАЛОУСА

Это была одна из самых страшных гимназий в Чехии. Преподаватели, директор и законоучитель считали учеников неизбежным злом, выродками, лютыми мерзавцами, которых надо держать в ежовых рукавицах, чтоб из них не вышли разбойники.

Веселых молодых ребят, которые глядят на мир с милой наивностью, свойственной их возрасту, держали в ежовых рукавицах, как подобает, следуя испытанному методу нашей средней школы. Это были циркуляры, исходившие от дирекции гимназии, толковавшие без усталости об упадке нравственности, ничего не разрешавшие и все запрещающие во имя дисциплины.

В том же направлении действовали уроки закона божьего, наводившие страх.

Законоучитель доктор богословия Губенка рычал в жуткой тишине класса о загробной жизни, о разнузданности, об отсутствии любви к педагогическому персоналу, об испорченных молодых людях, об упадке нравов, о всеобщей развращенности.

Потом отворялись одна за другой двери классов, и, сверкая глазами, входил директор, строгий, седой. Остановившись у двери, он угрожающе сморкался в большой носовой платок.

Спрятав платок, он восклицал:

— Бесстыдники, безобразники!

И начинал вслед за законоучителем разъяснять содержание циркуляра, в составлении которого принимал участие весь педагогический совет. Вновь и вновь гремел он во всех классах об упадке нравственности:

— Вы хорошо знаете, к чему привел упадок нравов в Древнем Риме. Полное разложение римской жизни. Такое же разложение наступит и среди вас.

Это было самое страшное слово, которое он швырял в лицо перепуганным гимназистам. Потом он, еще раз грозно высморкавшись, шел, сопровождаемый законоучителем, в соседний класс, а классный наставник, хранивший в течение всей этой операции унылое молчание и все время что-то записывавший в журнал, с явным сокрушением произносил вслед уходящим:

— Нет, они не станут лучше. Сколько я палок о них обломал!

Такая же картина и в других классах.

Преподаватели, всюду уже приготовившиеся к этому посещению, принимали важный вид, и лица их приобретали такое же выражение, как у индийской богини смерти. И все начиналось сначала.

Входил законоучитель и грозно рычал:

— Время милосердия прошло, наступает время гибели!

И гимназисты, подготовленные к этой сцене последним циркуляром дирекции, который им только что прочел преподаватель, содрогались от ужаса. И законоучитель снова заводил речь о Содоме и Гоморре *, о бесконечной благодати божьей, которая имеет свои границы, о конце мира, о примерах добродетели, подаваемых святыми, потом опять о стремительном понижении нравственности, упадке нравов и, наконец, заслышав на лестнице сморкание директора, снова восклицал, что пришел конец жалости!

И опять, как перед тем в других классах, отворялась дверь, директор громко сморкался на пороге и снова говорил об упадке нравов в Древнем Риме и о катастрофе, которая за этим последовала.

Так шло во всех классах — до седьмого, куда законоучителю и директору входить не хотелось. Это был самый скверный класс, от которого как раз и пошел в гимназии весь разврат, до того даже, что государственному советнику, школьному инспектору Калоусу все гимназисты совокупно, без различия классов, устроили в городской купальне «нырок».

Пан государственный советник прибыл инспектировать.

Довольно давно уже среди учеников гимназии замечалась какая-то распушенность, некоторое нравственное одичание. В четвертом классе они читали стихи Овидия Назона * о золотом веке, но это не помогло. Они могли бы прилепиться всей душой к тем строкам, где идет речь о безгрешном житии. А они предпочли путь греха: засунули одному классному наставнику в карман зимнего пальто какие-то портянки.

Хоть они и качались на челнах классического образования по морям греков и римлян, но были застигнуты на реке плавающими на виду у всего окружного центра, причем два третьеклассника плыли в корыте, стибренном со двора преподавателя физики и ботаники. Корыто тихо скользило вечером по реке. Потом от противоположного берега навстречу ему отплыло другое корыто, полное персов. Само собой, персы были тоже третьеклассники.

Началась битва у Саламина *, о какой не прочтешь и в прекрасных описаниях Корнелия Непота *. Маневрирование военного корыта, выступавшего на стороне греков, привело к тому, что, вопреки исторической истине, выскочили затычки, служащие в нормальных условиях на суше для спуска воды. Здесь получилось как раз наоборот: корыто наполнилось водой и пошло ко дну. А поскольку оно принадлежало одному из членов педагогического совета, событие было расценено как недопустимое нарушение школьной дисциплины, хотя министерство народного просвещения до сих пор не налагало запрета на применение корыт господ преподавателей в качестве средств водного транспорта. Два виновника были исключены из учебного заведения, а два утонули, и это им еще повезло, потому что, по заявлению пана законоучителя, они получили бы скверную отметку по поведению и все равно были бы исключены.

Исключение из гимназии — кара, непрестанно висевшая над всеми в этом сумрачном здании.

Однажды был исключен ученик пятого класса Мрженко, который, вопреки ясно выраженному запрещению дирекции, играл в футбол. Директор был решительным противником вольных движений для молодежи, так как страдал застарелым ревматизмом. Предусмот-

ренные расписанием игры он старался ограничить, решив в конце концов лишь купание гимназистов в купальне этого окружного центра. Запрет был вызван главным образом настоянием законоучителя, объявившего, что купание за чертой города бросает тень на моральный облик учеников.

И вот тут-то и произошел этот ужасный случай, когда пана школьного инспектора несколько раз перекувырнули головой под воду.

Думаю, всем знакомо выражение «нырок». Это невинная забава, состоящая в потоплении товарищей по купанию.

Жертвой этой забавы и стал пан государственный советник, школьный инспектор, прибывший на инспектирование.

Дело было в субботу, после полудня, когда ученики гимназии отправились в купальню освежиться.

Кончена мучительная неделя—алгебры, латыни, греческого, геометрии и всего прочего, когда они сидели в душных помещениях и под постоянной угрозой плохой успеваемости готовились к жизни при помощи склонения греческих и латинских словечек.

Но вода в реке смыла с них накопившееся за неделю сознание рабской зависимости от учебной программы. Они прыгали в воду — первоклассники, второклассники, третьеклассники, четвероклассники и старшекласники, веселые, счастливые. Прыгали с лесенки, смеясь от наслаждения, в холодную чистую воду пруда.

А над ними высоко в голубом небе — солнце; а вокруг — деревья, зеленый лес; а напротив — луг. Потом в купальню пришел какой-то незнакомый пан, разделся и, пыхтя, полез в воду.

А как раз около него прыгнул в реку шестиклассник Шетелик.

Вода вспенилась, плеснула высоко вверх, и незнакомец поднял крик:

— Безобразники, что вы делаете, что творите?

Бух! Прямо перед ним четвероклассник Матуха прыгнул в воду вниз головой.

— Перестаньте, негодяи! — закричал он в ярости. — Вон из воды! Марш! Все вон!

... Общий смех был ответом.

— Что вам угодно? — обратился восьмиклассник Смрчка к нему с вопросом.

— Вон из воды, ступайте учиться, бездельники, радуйтесь, что выпали свободные минуты, когда вы дома можете усердно...

Он не договорил. Кто-то подшиб ему ногу, и он ушел под воду, напрасно стараясь за что-нибудь ухватиться. Он встал, захлебываясь, и крикнул:

— Мерзавцы, я государственный советник. Марш, все вон из воды, вон, головорезы!

Какое им было дело до чинов и званий? В воде все равны. Не успел государственный советник договорить, как кто-то под него нырнул. Захлебываясь, он опять выбрался на поверхность. Но тут его опрокинули сзади и устроили ему новый «нырок».

— Мерзавцы! — успел он только крикнуть. — Я школьный инспектор, покажу вам в понедельник!..

Как только он это сказал, сейчас же и первоклассники, и второклассники, и третьеклассники, и четвероклассники, и старшеклассники с невероятной быстротой все от него врасыпную — по кабинам и молниеносно одеваться. Пан школьный инспектор попробовал поймать хоть одного. С могучим напором поплыл он к кабинам, все время крича:

— Я школьный инспектор, покажу вам в понедельник!..

Наконец он догнал второклассника Шпирека, который плохо плавал и, стараясь уйти от инспектора, что есть силы греб руками, словно свалившийся за борт и преследуемый акулой пьяный матрос.

Государственный советник школьный инспектор Калоус подплыл к нему, ухватил его за ногу и стал подтаскивать за плавки к себе. Бедняга умолял не топить его — до такой степени он был напуган грозной фигурой рассерженного школьного инспектора. Но его потащили дальше, так что в конце концов он получил возможность ступать по мелководью. По дороге к раздевалке он, плача, признал все. Виновники есть во всех классах, он их знает. Они всегда ходят сюда купаться.

— В понедельник, — грозно объявил ему школьный инспектор, — после обеденного перерыва я тебя позову

и пройду с тобой по классам... Да я их тоже узнаю. Исключенных с полкласса наберется!

Прямо из купальни он пошел в директорскую, в воскресенье был в церкви, а оттуда отправился в погребок, и с тех пор ни в воскресенье, ни в понедельник, когда по классам читался циркуляр и директор с законоучителем ходили выговаривать за безнравственность, его нигде не было видно. Некоторые видели только, как вышеописанный незнакомец направлялся в предместье Жабак, где есть два публичных дома, но где проходит также дорога к ближайшим живописным развалинам посреди леса, и это обстоятельство решило в конечном счете вопрос о том, куда шел пан государственный советник и школьный инспектор.

*

По странному стечению обстоятельств той же ночью появился в предместье Жабак законоучитель и вошел к Пихам, в домик с зелеными ставнями. Это было заведение для чистой публики. К своему ужасу, он увидел школьного инспектора, сидящего на диване рядом с одной девицей из Германии.

Школьный инспектор поднял на него пьяные глаза. Но законоучитель, не теряя присутствия духа, сказал:

— Простите, я пришел спросить вас, что нам делать с теми озорниками?

— Исключим кое-кого из распутников! — воскликнул государственный советник.

— Совершенно правильно, — ответил законоучитель и, повернувшись к даме, что-то ей зашептал.

Через минуту пришла Минна в роскошном ампире. Он был очень доволен, но сохранил солидный вид.

По просьбе государственного советника он добился исключения шестиклассника Шетелика, прыгнувшего в реку прямо перед начальством, и восьмиклассника Смрчки, который спросил тогда, что ему угодно.

Так окончилось приключение государственного советника и школьного инспектора.

ПО СЛЕДАМ УБИЙЦЫ

После публикации о награде за указание следов убийцы в полицейском управлении наступил кавардак. Сотни людей, жаждущих получить обещанную тысячу, с утра до ночи штурмовали полицейское управление.

Однако полицей-президиум дал строгое распоряжение тщательно записывать все показания и представить их ему на рассмотрение. На основе этого материала президиум с помощью дедуктивных методов сможет установить точные приметы убийцы, после чего все данные будут должным образом сопоставлены, найдена нить и клубок распутан. Так поэтически писал полицейский официоз.

Просторные комнаты полицейского управления не смогли вместить всех добровольных сыщиков, и начальство уже подумывало о найме дополнительного помещения. Все показания тщательно записывались, и к вечеру начальник полиции получил тюк мелкоисписанной бумаги. Из этого материала пронизательному полицей-президиуму предстояло сделать надлежащие выводы, найти нить, распутать клубок (повторяем это прекрасное выражение), чтобы затем сплести сеть для поимки злодея.

Полицейский комиссар Рейхель принялся читать начальнику полиции важнейшие показания и письма. Это была нелегкая задача, ибо некоторые из них требовали основательного размышления, а иные были попросту непонятны.

— Карел Выгналек, частный служащий, сообщает, — читал полицейский комиссар, — что такие же панталоны оливкового цвета он видел за три дня до убийства на 25*. Ярослав Гашек. Т. 3.

незнакомце, который прикурил у него. Из этого он заключает, что убийца принадлежит к подонкам общества и наверняка был знаком с убитой, у которой взял панталоны напрокат. Видимо, при возврате их возникла ссора, которая и кончилась смертью старухи.

Вацлав Хохолатый шлет письмо:

«Уважаемые полицейские начальники! Убитую знал один мой старый товарищ по военной службе. Мы служили вместе в одиннадцатом полку, и, помнится, наш батальон был переброшен в Ровицы. Там кругом горы да скалы. На горах пасется скот, главным образом коровы, господин начальник. Мой приятель, что знал убитую, служил уже третий год и имел нашивки сержанта. Он был головорез, каких мало; мог из-за слова человека убить. Ежели бы он поссорился с убитой, то обязательно бы ее пристукнул. Он всегда говорил, что терпеть не может таких баб. Но надо сказать, что он уже два года как умер естественной смертью: отдал богу душу в кувалочной драке...»

Показания добровольного свидетеля лавочника Гофмауера:

«Убитой не знал. В Карлине бывал дважды. Последний раз в позапрошлом году, когда горела фабрика. Дело было так: в воскресенье, после полудня, я отправился, как всегда, поиграть в картишки. Играю обычно в польский банчок или железку и в жизни ни разу не плутовал. Иду. Вдруг под виадуком кричат: «Горит!» Гляжу — и верно! Пока добежал до фабрики, поыхало так, что мое почтение. Потом пришли солдаты и оцепили улицу. С тех пор не был в Карлине и об убийстве ничего не знаю».

— За потраченное время просит выдать пять крон. Я его посадил на всякий случай, — сказал полицейский комиссар и стал читать дальше:

— Показания кузнеца Виктора Безваги:

«Видел в полиции орудие преступления — кувалду. Как знаток кузнечного дела могу присягнуть, что ку-

валда не кузнечная. Таким образом, убийство не бросает никакой тени на кузнечное сословие, ибо ясно, что орудие убийства не принадлежало кузнецу. Заодно просим ускорить ответ на ходатайство о разрешении открыть вечернюю школу для кузнецов. Оно подано уже десять лет назад и до сих пор не рассмотрено из-за обилия неотложных дел».

Фирма «А. Гинек» (письмо без почтовой марки) пишет:

«Глубокоуважаемый господин начальник полиции! Нечестная конкуренция сильно подрывает трудное и благородное издательское дело. Предприниматели справедливо протестуют против использования труда заключенных, а закон о нечестной конкуренции запрещает пользоваться чужим фирменным знаком. Из вашего уважаемого объявления следует, что некоторые ваши уважаемые сотрудники занимаются сочинением детективных романов и, возможно, тайно издают их. Мы решительно возражаем против того, чтобы убийство в Карлине было использовано для нечестной конкуренции и рекламы, и подчеркиваем, что талантливый писатель господин Крутиголовка уже работает над романом на эту тему. Что же касается поимки убийцы, то разрешаем себе предложить уважаемому полицейскому-президиуму для консультации все вышедшие тома «Клифтона», «Ника Картера» и «Шерлока Холмса» по сниженным ценам».

— Закажите, — сказал начальник полиции, — и читайте дальше.

— Вот показания бакалейного приказчика из Карлина. Он заявил, что Карлин — такое местечко, где всякое злодейство в почете. Я велел его посадить за такие слова. Важные сведения, — продолжал чиновник, — получены от вдовы Крафтовой. Она убеждена, что не следует искать убийцу-мужчину. Скорее всего убийство совершено особой женского пола. Неудачное замужество, наверное, привело ее к решению найти смерть на виселице. Кроме того, вдова сообщает:

«Не имею прямых улик, но весьма подозрительна наша соседка Анна Тршехова. Она развела такую грязь

в раковине, что явно на все способна. А в последнее время что-то присмирела и в день убийства вернула мне десять крон долга, хотя еще с утра ругалась непотребными словами. Кстати, эта сумма сходится с указаниями публикации».

— Анну Тршехову я взял под стражу.

— Правильно! — сказал начальник полиции, хватаясь за голову. — Читайте дальше.

— Вот здесь протокол, составленный по настоянию Мирослава Гофрихтера. Он явился со свидетелями, которые подтвердили его алиби. После этого он потребовал сто крон, ибо навел полицию на то правильное заключение, что убил старуху во всяком случае не он... Далее показания свидетеля Матоушека. Он высказывает предположение, что несчастная сама покончила с жизнью.

— Гм, это весьма возможно, — рассеянно пробормотал начальник полиции, прохаживаясь по комнате.

— Далее письмо церковного сторожа церкви св. Кристофа. Просит выслать тысячу крон, так как имеет веские подозрения против одного члена католической конгрегации, который уже два месяца не вносит добротных даяний на постройку храма св. Вита.

«Обращаю ваше внимание на подозрительную связь этого дела с последними злодеяниями отравителей, — пишет чиновник Муржинога. — Нужно выяснить, не была ли означенная кувалда куплена в магазине, торгующем ядами, и в каком именно. Нет ли на кувалде следов цианистого калия, и не имеется ли в самом железе подозрительных примесей. Все эти обстоятельства нельзя оставлять без внимания. Они, несомненно, приведут на след преступника».

Начальник ударил себя по лбу:

— Этот человек прав! Сразу видно государственного чиновника. Вот с кого надо брать пример! Немедля распоряджусь сделать химический анализ кувалды.

На этом следствие было временно закончено. Все были довольны. Сделано немало: во-первых, найдены следы нескольких человек, которые убийства не соверша-

ли, и нескольких, которые могли его совершить. Кроме того, допрошено несколько предполагаемых скупщиков краденого. Наконец, установлена причинная связь между кувалдой, цианистым калием и возвращением долга.

В заключение начальник велел позвонить в Богнице — узнать, не поймали ли там убийцу.

Ответ пришел моментально: «Нет».

— Мы тоже не поймали, — глубокомысленно изрек начальник. А полицейский комиссар порылся и вытащил еще одно письмо:

«Высокопочтимому полицей-президиуму.

Позволяю себе обратить ваше внимание на чернильный карандаш. Это во-первых. Арестуйте всех, у кого есть чернильные карандаши. Во-вторых, посадите всех непричастных к убийству, и таким путем преступник будет изолирован и пойман. Поступайте в этом деле по старинной загадке: «Как проще всего поймать шесть львов? Поймайте десять и четырех выпустите...»

На этом методе полиция и остановилась.

АМСТЕРДАМСКИЙ ТОРГОВЕЦ ЧЕЛОВЕЧИНОЙ

Не имея иной возможности быть полезным чешской нации, я решил заняться ее умственным развитием. С этой целью я отыскал замечательного человека, три раза сидевшего в тюрьме Панкрац за грабеж и обладавшего изумительной фантазией.

Кроме того, этот человек ловко владел пером и умел придавать своим мыслям нужную форму — задача, непосильная для другого моего сотрудника, совершенно лишенного способности мыслить оригинально, но в то же время умевшего развить заданную тему и связать отдельные эпизоды гибкой, изобретательной, захватывающей интригой.

Потолковав с обоими уважаемыми сотрудниками, я сообщил им, что намерен основать книгоиздательство, имеющее целью снабжать чешскую публику занимательным чтением.

Я заключил с обоими договор, по которому они обязались приступить через пять месяцев к сдаче мне частями, за обычную полистную оплату, увлекательного романа.

Ровно через пять месяцев в моем издательстве вышел первый выпуск романа «Амстердамский торговец человечинной, или Таинственное убийство в Черной пещере, или Корчма «Кровавый епископ». Роман выходил четыре года подряд еженедельными выпусками, по восемьдесят геллеров за выпуск; всего вышло двести восемь выпусков общим весом восемнадцать килограммов. Об успехе, которым пользовалось это произведение,

ярче всего свидетельствует случай с владелицей продуктовой лавки Взабовой, о котором я расскажу.

У поденщика Франтишека Голана было двенадцать человек детей, и он ждал тринадцатого, когда агент по распространению книг и журналов принес ему первый выпуск «Амстердамского торговца человечинной, или Таинственного убийства в Черной пещере, или Корчмы «Кровавый епископ».

Напряженно ожидая появления на свет нового члена семьи, Голан с избытком располагал свободным временем и, чтобы скоротать его, принялся жадно читать первый выпуск романа. По мере чтения интерес его возрастал. Начало было великолепное: «В одной из отдаленных улиц Амстердама, у пристани, над водой канала, в котором за год бесследно исчезали сотни чужеземцев, находился небольшой трактир с номерами. К напиткам, подаваемым новому постояльцу, подмешивали здесь снотворный порошок, а потом... потом постель с постояльцем проваливалась в подвал. Удар, страшный сдавленный крик... Рядом с трактиром была мясная лавка. Мясо отпускалось здесь по такой дешевой цене, что в лавке всегда было полно покупателей. Это мясо имело особый привкус: тут торговали человечинной! Знаете, как это делалось? В подвалах спящих постояльцев убивали ударом топора, потрошили трупы, рубили на части и ночью доставляли человечину в мясную лавку. Одному только Роберту Клегу удалось вырваться оттуда — сверхъестественным путем...»

На этом текст первого выпуска обрывался.

С тех пор поденщик Голан стал регулярно покупать «Амстердамского торговца человечинной». Но, имея тринадцать человек детей, тратить каждую неделю по восемьдесят геллеров на книгу тяжеленько. И он каждую субботу посылал младших ребят по очереди просить милостыню, а на выпрошенные деньги покупал «Амстердамского торговца человечинной», выпуск за выпуском, и наслаждался подробным перечнем убийств, составленным так искусно, что каждый выпуск обрывался в самом начале убийства, а приканчивали жертву только в начале следующего выпуска, в конце которого происходила поимка главаря банды, причем в последней фразе сообщалось, что он бежал из тюрьмы, спустившись по громо-

отводу, потом перелез через стену, но упал, настигнутый пулей охраны,— для того чтобы в начале следующего выпуска, собравшись с силами, возобновить побег — на этот раз в лодке по бурному морю, — и в тот момент, когда ветер вырвал у него весла из рук, встретиться в последней фразе выпуска с шайкой контрабандистов, в главаре которой он узнает бывшую свою возлюбленную, соблазненную графом де Галуа... И так далее в том же духе.

В течение полугода расписывалась история корчмы «Кровавый епископ», и все это время по ходу действия войска и жандармерия безуспешно преследовали призрака «кровавого епископа».

Четыре года провел в упительном чтении «Амстердамского торговца человечинной» поденщик Голан, рыдая по ночам над судьбой беглянки — принцессы де Галуа, сводной сестры главара шайки контрабандистов (она же — переодетая и соблазненная возлюбленная главара банды убийц, который был окружен войсками в Черной пещере, но, бросившись в водопад, спасся от врага вплавь).

Прочтя последний, 208-й выпуск, и уплатив за «Амстердамского торговца человечинной» в общей сложности сто шестьдесят шесть крон сорок геллеров, Голан проплакал всю ночь напролет. При мысли о печальном конце главара банды, которого в последнем выпуске повесили, у бедняги разорвалось сердце от жалости, и он покинул этот мир, оставив вдову с тринадцатью детьми без всяких средств к существованию. Похоронив мужа, бедная женщина продала все двести восемь выпусков владелице продуктовой лавки напротив — пани Возабовой, за одну крону сорок геллеров, то есть восемнадцать килограммов бумаги для заворачивания сосисок и т. п., — по восемь геллеров за килограмм.

У почтенной пани Возабовой было два сорта покупателей: одни брали за наличные, другие на книжку. Она обращалась со всеми одинаково любезно; только дамочкам, бравшим за наличные, говорила «сударыня» и «целую ручку», а представительницам второй группы просто: «что прикажете?» и «мое почтение». Никаких других различий не делалось.

Приобретя двести восемь выпусков «Амстердамско-

го торговца человечинной», эта уважаемая особа велела отнести бумагу к ней на дом, а после того, как закрыла свое заведение на ночь, решила разрезать ее в четвертку — на фунтики. Взяла первый выпуск и принялась за дело. Вдруг в глаза ей бросилось напечатанное жирным шрифтом: «А! Они продают в мясной лавке мясо убитых людей!» Покачав головой, она отложила нож в сторону и стала знакомиться с новым видом мясоторговли. По-знакомившись, задумалась. На другой день прочла второй выпуск, третий, четвертый. И так, читая в среднем по три выпуска в день, за три месяца проглотила все двести восемь. Начиная со ста восьмого она перестала следить за своей наружностью и менять белье.

На девяностый день она разослала лучшим своим покупательницам — тем, которые брали за паличные, — записки такого содержания:

«Милостивая государыня!

Не откажите в любезности зайти ко мне сегодня вечером на дом. Я должна сообщить вам важную новость!»

Когда они пришли, она порубила их всех топором. Как только весть об этом разнеслась по городу, мне пришлось пустить «Амстердамского торговца человечинной» вторым изданием.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕЧЕР В ПРИЮТЕ

На праздник рождества Христова сироту Пазоурека заперли в кладовую, где хранились мешки с мукой, а также — о радость! — мешки с черносливом.

Это открытие было первым лучом света в окутавшем Пазоурека мраке безнадежности. Пазоурек охотно воздал бы хвалу господу за чернослив, если бы не был в таком настроении, когда невольно ругаешь именно господа бога. Ему было совершенно ясно, что как раз по милости этого самого господа бога он и сидит взаперти.

Устроившись поудобней на мешке с мукой, он начал вспоминать по порядку все подробности рождественского вечера.

Вспомнил, как сперва в приюте появился Христос в образе учителя закона божьего, потом — директор приюта, еще два каких-то толстых господина и один долговязый, который все время сморкался и которого все называли «ваше превосходительство». Потом двое самых примерных сирот принесли из директорского кабинета пакетики с дешевыми шейными платками, сложили их под рождественской елкой и, поцеловав руку господину законоучителю, отошли в сторону.

Немного погодя пришли какие-то дамы, среди них одна вся в черном. Она гладила сирот по голове и расспрашивала их о покойных родителях.

Тоник Неговов ответил, что у него родителей совсем не было. Остальные сироты захохотали, а один мальчишка, Калоусом звать, крикнул:

— Ублюдок!

Это было первое, из-за чего учитель закона божьего закрипел зубами и сказал, что Христу будет очень неприятно, если он, законоучитель, в такой торжественный день надет негодяю подзатыльников. Но что он все равно это сделает.

Ваша Метцгер сказал, что у долговязого, которого называют «ваше превосходительство», воняет изо рта; Пивора предложил побиться об заклад на полсигареты, что это неправда.

Все это было в столовой. Никто еще ничего не ел, все были страшно голодны и с нетерпением ждали знака «Христа», который должен был их выручить; ведь всем пришлось поститься, за исключением двоих, что помогали на кухне: тем удалось стащить кусок праздничного пирога, и они хвастались этим. Пивора, однако, донес на них — за то, что они ему не дали. Он думал омрачить этим их радость, но они уже успели все съесть, так что законоучителю пришлось ограничиться телесным наказанием в присутствии всех.

— Дал им «Христос» горяченьких, — хихикнул Пивора, толкнув в бок Пазоурека.

Воспитанники стояли, выстроившись в ряд, и посмеивались над толстыми господами, которые все вздыхали: — Бедные детки... Бедные сиротки...

Потом директор держал речь. Воздев руки к небу, он восклицал, что милосердный господь не даст погибнуть несчастным малюткам. При этом он сердито пучил глаза на Винтера, который показывал язык тому господину, что все время сморкался. Директор шепнул что-то законоучителю на ухо; тот позвал Винтера и удалился с ним в соседнюю комнату. Через некоторое время Винтер вернулся заплаканный и весь вечер был тише воды, ниже травы.

Потом учитель велел перейти всем в зал, где красовалась большая рождественская елка с горящими свечами и возносящимся ангелом наверху. Ангелу кто-то успел подвести углем усы, видимо, желая придать ему сходство с директором. В зале пришлось довольно долго ждать, но наконец двери открылись, и вошли дамы с гостями и все приютские учителя.

Законоучитель осенил себя крестным знамением и стал читать «Отче наш». Все молились громко и быстро,

чтоб поскорей кончить. Но после «Отче наш» было еще «Верую» и «Богородице дево, радуйся».

Лицер заметил, что молиться лучше за ужином, а голод не тетка, молитвами сыт не будешь.

После троекратного славословия богоматери господин директор выступил вперед и произнес:

— Во веки веков, аминь!

Но этим не кончилось. Он завел на целых полчаса речь о Христе. В животе у всех урчало громче и громче. А директор все говорил, что, дескать, Христос тоже был такой маленький-маленький, и, не находя слов, показал руками: «Вот такой вот!»

Дама в черном чуть не рыдала, а директор, все больше воодушевляясь, говорил о скотах во хлеве, многозначительно поглядывая при этом на сирот. Наконец, сказав несколько слов о шейных платках, сел.

Его сменил законоучитель. Он объявил, что каждый из сирот на память о рождестве Христовом получит платочек на шею, и предложил им прочесть три раза «Отче наш», три раза «Богородице дево, радуйся» и один раз «Достойно».

До тех пор Пазоурек держался совсем смирно, несмотря на то, что Пивора все время норовил как-нибудь его спровоцировать. Но тут, услышав опять об «отчешах» и «богородицах», не выдержал и сказал Пивору:

— Что ж это? Выходит, молись отдельно за каждую портянку?

Сморкавшийся господин что-то тихо сказал директору, который в ответ сперва набожно наклонил голову, а потом, бросившись к сиротам, ухватил Пивору одной рукой за ухо, а другой ткнул его кулаком под ребра.

Почувяв, что все это грозит испортить ему праздничное настроение, Пивора закричал:

— Это не я, это Пазоурек!

Пазоурек, конечно, тоже стал защищаться. В общем, поднялся шум, так что законоучителю пришлось прервать «Отче наш» как раз на словах: «И остави нам долги наши...» Все обернулись.

Дама, которая все время плакала, сразу принялась всхлипывать, пыхтеть, вздыхать. Остальные дамы, возведя глаза к потолку, многозначительно поглядывали на законоучителя, который был явно в замешательстве,

но пытался скрыть это: вытащив из кармана голубой носовой платок и приложив его к лицу, он затрубил с таким азартом, что Воштялеку, Блюмлу, Качеру и Грегору показалось, будто это старый слуга Вокржал подает на улице сигнал к колядованию, и они дружно завизжали: «Народился Христос...»

Законоучитель поднял руки, стараясь водворить тишину, но все подумали, что он дирижирует, и подхватили в унисон.

Под этот торжественный рождественский рев директор схватил Пазоурека, как тигр ягненка, и уволок его в кладовую.

Пусть любезный читатель представит себе кладовую и в ней Пазоурека, мешки с мукой, мешки с черносливом, кружку молока на полу. Муки Пазоурек, конечно, не тронул. Что он ел и пил, об этом нетрудно догадаться, равно как и о последствиях, особенно приняв во внимание, что в кладовую он попал после круглосуточного поста.

Нетрудно догадаться и о том, что два мешка муки, находившиеся в кладовой, после пребывания там Пазоурека пришли в полную негодность и что в момент освобождения узника директором после полуночи из кладовой шел запах, совершенно несвойственный местам, где хранятся продукты.

ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящий том вошли произведения Гашека 1901—1909 годов. Значительную часть их составляют путевые очерки, отразившие странствования писателя по многонациональной Австро-Венгрии (Чехия, Моравия, Словакия, Венгрия и др.) и соседним государствам (Болгария, Германия, Италия, Швейцария).

Гашек путешествовал либо в одиночку, либо со своим братом Богуславом, или с кем-нибудь из друзей. В ученические годы это были товарищи по коммерческому училищу Виктор Янота и Ян Чулен, позднее — художник Ярослав Кубин, писатель Зденек-Матей Кудей и другие, имена которых неоднократно упоминаются в его рассказах.

Большинство вошедших в этот том путевых очерков публикуется на русском языке впервые. Это дает возможность советскому читателю познакомиться с новыми сторонами творческого наследия Гашека, до сих пор у нас почти неизвестными: с лирическим рассказом («Гей, Марка!»), поэтической обработкой народной баллады («Умер Мачек, умер...»), бытовой деревенской новеллой («Крестины») — и уяснить народные истоки гашековского юмора.

Участие писателя в анархистском движении (1904—1908) и первое знакомство с рабочими коллективами обострили его социальный критицизм, помогли раскрыться его сатирическому дарованию.

На страницах анархистских и социал-демократических газет и журналов происходит становление социальной сатиры Гашека. Такие рассказы 1907—1908 годов, как «Убийца перед судом», «Юбилей служанки Анны», «Над озером Балатон» и некоторые другие, написаны уже рукой зрелого мастера-сатирика.

Хронологический принцип размещения материала в настоящем издании позволяет читателям проследить, как совершенствовалось его мастерство, как из веселого бродяги, бытописателя и юмориста вырастал не знающий пощады сатирик, которому

суждено будет своей сатирической эпопеей о Швейке положить надгробный камень на могилу старой Австро-Венгрии.

СЕЛЬСКАЯ ИДИЛЛИЯ

«Народни листы» № 104, 16.IV 1901 г., веч. выпуск.

«Народни листы» — чешская буржуазная газета (1861—1941), с 1874 года — центральный орган национальной партии свободомыслящих (младочехи).

На русский язык переводится впервые.

СМЕРТЬ ГОРЦА

Газета «Народни листы» № 96, 8.IV 1902 г., веч. выпуск.

На русский язык переводится впервые.

Стр. 8. *Бабья гора, Лысяя гора* — вершины в Восточных Бескидах.

Стр. 10. «*Ангел божий...*» — вечерняя католическая молитва.

Манлихеровка — старый тип ружья, названный по имени его создателя Манлихера.

ВИНО ЛЕСОВ, ВИНО ЗЕМЛЯНИЧНОЕ

Газета «Народни листы» № 185, 7.VII 1902 г.

Стр. 11. *Фарарж* — приходский священник.

Стр. 12. *Фара* — дом приходского священника.

Стр. 14. *Месса* — католическая церковная служба.

Стр. 15. *Викарий* — заместитель епископа, ведающий как вопросами культа, так и административными делами.

Консистерия — возглавляемый епископом коллегиальный церковный орган, осуществляющий управление и духовный суд в епархии.

Стр. 16. *Святой Августин (354—430)* — христианский богослов и философ-мистик, отстаивавший идею всемирного господства церкви. Основное сочинение — «О граде божием».

ИДИЛЛИЯ КУКУРУЗНОГО ПОЛЯ

Газета «Народни листы» № 292, 23.X 1902 г., веч. выпуск.

ЗБОЙНИК ЗА МАГУРОЙ

Газета «Народни листы» № 294, 25.X 1902 г., веч. выпуск.

На русский язык переводится впервые.

Стр. 21. *Збойник* — «благородный разбойник», борец против социального зла и феодального произвола — популярнейший герой

словацкого народного творчества (многочисленные рассказы, легенды и песни о збойнике Яношике).

«Збойницкое» («разбойничье») движение в Словакии XVII—XIX веков было проявлением антифеодальной борьбы словацкого народа. Збойники выступали как народные заступники, народные мстители. Черты збойницкой удали, молодечества высоко ценились в среде словацкого крестьянства. Героя рассказа — Янко Карача — Гашек называет «збойником» иронически.

Магура (Спишска Магура) — горный хребет на севере Словакии, близ границы с тогдашней Галицией.

ЗАТОРСКАЯ КАНОНИЯ

Газета «Народни листы» № 25, 25.I 1903 г.

Стр. 26. *Каноники* — католические священники при кафедральных соборах, являющиеся членами капитула — коллегии при епископе по управлению епархией.

Канония — владения, принадлежащие капитулу.

ПОХОЖДЕНИЯ ДЬЮЛЫ КАКОНИ

Газета «Народни листы» № 175, 28.VI 1903 г.

На русский язык переводится впервые.

КАК ДЕДУШКА ПЕРУНКО ВЕШАЛСЯ

Газета «Народни листы» № 184, 8.VII 1903 г., веч. выпуск.

На русский язык переводится впервые.

ЧЕРЕЗ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ

Газета «Народни листы» № 274, 8.X 1903 г., веч. выпуск.

На русский язык переводится впервые.

ЦЫГАНСКАЯ ПОЭЗИЯ

Журнал «Илюстрованы свет» № 52, 24.X 1903 г.

На русский язык переводится впервые.

КРЕСТИНЫ

Газета «Народни листы» № 303, 6.XI 1903 г., веч. выпуск.

НЕГ ВОЛЬШЕ РОМАНТИКИ В ГЕМЕРЕ

Газета «Народни листы» № 184, 5.VII 1904 г., веч. выпуск.
На русский язык переводится впервые.

КЛИНОПИСЬ

«Омладина» («Молодежь») № 27, 7.VII 1904 г.

«Омладина» — еженедельная газета анархистов, выходившая в г. Лом, Мостецкого района. Ее редактором был Карел Вогрызек — лидер той части чешских анархистов, которая проповедовала так называемый «практический анархизм», «прямые акции» и пр. Позднее (1907) Гашек с Вогрызексом разошелся, подозревая его в связях с полицией, что впоследствии подтвердилось.

Рассказ отражает ранний этап участия Гашека в анархистском движении, когда он по заданию организации выезжал в Мостецкий угольный бассейн на севере Чехии для проведения агитационной работы среди шахтеров и впервые соприкоснулся с рабочей массой.

На русский язык переводится впервые.

Стр. 56. *Клинопись* — способ письма шумеров — древнейших обитателей Южного Двуречья (территория нынешнего Ирака по нижнему течению рек Тигра и Евфрата) в конце 4-го тысячелетия до н. э.

НАШ ДОМ

Газета «Народни листы» № 191, 12.VII 1904 г., веч. выпуск.

ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА

Газета «Омладина» № 28, 14.VII 1904 г.

На русский язык переводится впервые.

Рассказ отражает впечатления писателя от пребывания на «шахтерском севере». В весьма прозрачной иносказательной форме Гашек изображает здесь подлинные эпизоды из своей кратковременной работы в редакции «Омладины». Пристальное внимание полиции к деятельности писателя среди шахтеров (о чем свидетельствует ряд документов, сохранившихся в полицейских архивах того времени) вынудило Гашека скрыться из Лома «в неизвестном направлении» (как значилось в полицейской переписке).

Стр. 64. «*Идалмо*» — анаграмма, перевернутое написание названия газеты «Омладина»: «Омлади[na]l».

ПРЕДВЫБОРНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ЦЫГАНА ШАВАНЮ

Журнал «Илюстрованы свет» № 42, 12.VIII 1904 г.

На русский язык переводится впервые.

ГЕЙ, МАРКА

Журнал «Светозор» № 5, 11.XI 1904 г.

На русский язык переводится впервые.

Стр. 71. *Дюмбьер* — вершина горной гряды в Низких Татрах (2 045 м).

Бача — старший пастух, пасущий овец на горных пастбищах Словакии (старший чабан).

Валахи, или югасы, — чабаны.

Колиба — низкая деревянная хижина на отгонных овечьих пастбищах в горах; служит одновременно и жилищем для пастухов и сыроварней.

Стр. 72. *Опанки* — легкие, сплетенные из кожаных ремней сандалии с длинными завязками.

Валашка — толстая пастушья палка с топориком вместо рукоятки.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Журнал «Светозор» № 8, 2.XII 1904 г.

МИЛОСЕРДНЫЕ САМАРИТАНЕ

Сб. «Илюстроване ческе гуморески», т. 1, 1905 г.

КАК ЧЕРТИ ОГРАБИЛИ МОНАСТЫРЬ СВЯТОГО ТОМАША

Сб. «Илюстроване ческе гуморески», т. 1, 1905 г.

Стр. 86. *Келарь* — монах, ведающий припасами.

Стр. 89. *Бенедиктинцы* — старейший католический монашеский орден, основанный в VI веке. Активно поддерживал папство, издавал много религиозной литературы, распространявшей идеи воинствующего католицизма и мракобесия, владел крупными земельными угодьями, жестоко эксплуатировал зависимых от него крестьян.

ПОМИНАЛЬНАЯ СВЕЧА

Журнал «Светозор» № 20, 24.II 1905 г.

РЕКЛАМНАЯ СЦЕНА

Журнал «Светозор» № 29, 28.IV 1905 г.

ЦЫГАНСКАЯ ИСТОРИЯ

Журнал «Светозор» №№ 38 и 39, 30.VI и 7.VII 1905 г.

Стр. 103. *Дярмат* — город в северо-западной части Венгрии.

Стр. 109. *Пингавская* — название породы крупного рогатого скота.

Стр. 111. ...в день святого короля *Иштвана*.— Иштван I Арпад (975—1038)—первый венгерский король, родоначальник династии венгерских королей. Ввел в Венгрии христианство. Католическая церковь причислила его к лику святых. День святого Стефана (Иштвана) — 20 августа.

...к старинной *секейской семье* — *секеи* (или *сékлеры*) — потомки венгров, жили в Трансильванских Альпах. В XI—XII веках составляли отряды королевской пограничной стражи; до 1848 года пользовались дворянскими привилегиями.

Ян Запольский — Заполья Ян (1487—1540), воевода Трансильвании, венгерский король в 1526—1540 годах.

Стр. 112. *Раба* — река, приток Дуная.

НАД ОЗЕРОМ БАЛАТОН

О времени создания этого рассказа точных сведений нет. По содержанию и стилю он очень близок к «Цыганской истории» и другим рассказам 1905—1906 годов. При жизни писателя не был опубликован.

После ряда безуспешных попыток «пристроить» рассказ в какой-нибудь журнал или газету Гашек подарил его своему старому приятелю по коммерческому училищу Карелу Мареку. Вдова замученного фашистами Карела Марека передала рукопись рассказа чешскому гашековеду Эдене Анчику, который и опубликовал его впервые в газете «Литерарни новины» № 28, 16.VIII 1952 года.

ХИЩЕНИЕ ЛЮДЕЙ

Газета «Народни листы» № 158, 10.VI 1906 г.

Стр. 122. ...*Карл Великий, который топил саксов, как котят*.— Карл Великий (ок. 742—814) — франкский король, с 800 года император, основатель династии Каролингов. Среди его многочисленных завоевательных походов война с саксами была самой длительной (772—804) и жестокой.

ФАСОЛЬ

«Народни политика» № 283, 14.X 1906 г.

«Народни политика» — реакционная буржуазная газета, защищавшая интересы крупной буржуазии, дворянства и церкви. Издавалась в 1883—1945 годах.

ВШИВАЯ ИСТОРИЯ

Газета «Нова Омладина» № 95, 9.XII 1906 г.

«Нова Омладина» — орган анархистов группы Карела Вогриэка. Выходила в рабочем районе Праги — Жижкове два раза

в неделю. Ответственные редакторы — Вогрызек и Кнотек. Пришла на смену «Омладине», издание которой было прекращено властями.

Стр. 137. *Фома Кемпийский* (1379—1471)—средневековый писатель-богослов, автор ряда религиозных трактатов («О подражании Христу» и др.), проповедовавших смирение и аскетизм.

ГОСПОДИН ГЛОЛЦ — БОРЕЦ ЗА ПРАВА НАРОДА

Газета «Нова Омладина» № 99, 19.XII 1906 г.

ХАЛУТЕ

Юмористический ежемесячный журнал «Весела Прага» № 1, 1907 г.

Издатель журнала Карел Лочак так высоко ценил юмористический талант Гашека, что направлял его юморески в типографию без какого бы то ни было предварительного просмотра. Некоторые номера «Веселой Праги» Гашек под разными псевдонимами полностью заполнял один.

РАССКАЗ О ДОБЛЕСТНОМ ШВЕДСКОМ СОЛДАТЕ

Газета «Нова Омладина» № 12, 30.I 1907 г.

Чтобы обойти австрийскую цензуру, Гашеку пришлось здесь, как и в ряде других случаев («Восточная сказка», например), прибегнуть к иносказанию. Его «шведский» солдат — это сатирический образ солдата любого монархического государства, а под «шведским королем Оскаром» можно разуместь и австрийского императора. Гротескный образ «доблестного солдата», считающего высшим счастьем смерть за своего государя, можно рассматривать как первый набросок будущей «защитной маски» Швейка, разыгравшего «бравого» солдата австрийской армии.

УБИИЦА ПЕРЕД СУДОМ

Газета анархистов «Коммуна» № 1, 3.III 1907 г.

«Коммуна» начала выходить после закрытия «Новой Омладины». Некоторое время Гашек был ее редактором.

Стр. 155. Понтий *Пилат* — римский наместник в провинции Иудея с 26 по 36 год н. э. Согласно библейской легенде, Пилат отдал Иисуса Христа иудейским жрецам, требовавшим его распятия, сам же «умыл руки» в знак своей непричастности к смерти этого нового пророка, заявив: «Не виновен я в крови праведника сего».

ЛЕЧЕНИЕ РЕВМАТИЗМА УКУСАМИ ПЧЕЛ

Журнал «Весела Прага» № 5, 1907 г.

На русский язык переводится впервые.

ПЕРВОМАИСКИЙ ПРАЗДНИК МАЛЕНЬКОГО ФРАНТИШКА

Газета «Коммуна» № 23, 7.V 1907 г.

На русский язык переводится впервые.

Стр. 167. *Панкрац* — пражская тюрьма.

Стр. 168. *Стршелецкий остров* — остров на реке Влтаве в Праге, место народных гуляний; раньше здесь проводились рабочие митинги.

ТРУБКА ПАТЕРА ИОРДАНА

Газета «Беседы лиду» № 16, 17.VI 1907 г.

ВОСХОЖДЕНИЕ НА МОЗЕРНШПИЦЕ

Газета «День» № 75, 16.VI 1907 г.

«День» издавался национальной партией свободомыслящих (младочехи).

Стр. 179. *Глокнер* — горная вершина в Восточных Альпах (высота — 3 798 м).

Небовизек — парк, расположенный на склонах холма Петршин в Праге.

МОИ ДОМОХОЗЯИН ПЕТРАНЕК

Журнал «Весела Прага» № 9, 1907 г.

На русский язык переводится впервые.

Стр. 186. *Доуха*. — Вероятно, имеется в виду Франтишек Доуха (1810—1884), чешский писатель и переводчик.

Стр. 189. *Художник Кубин*. — Гашек использует здесь имя своего приятеля, художника Ярослава Кубина, с которым он много странствовал по Австро-Венгрии.

БУНТ АРЕСТАНТА ШЕЙБЫ

«Дельницка бесидка» — воскресное приложение к газете «Право лиду» — органу социал-демократической партии — № 25, 26.I 1908 г.

Стр. 194. *Служебник*, или Мисаль (книга мессы) — книга, которой пользуется ксендз во время церковной службы (мессы).

ИСТОРИЯ ЖИЗНИ

Журнал «Светозор» № 15, 31.I 1908 г.

ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЯ

Еженедельная юмористическая газета «Гумористицке листы» № 17, 17.IV 1908 г.

«УМЕР МАЧЕК, УМЕР...»

Журнал «Светозор» № 26, 17.IV 1908 г.
На русский язык переводится впервые.

Стр. 216. *Мазурский край* — северо-восточная часть Польши, жители которой хранят черты своеобразного быта и обычаев населявшего этот край польского племени мазуров.

КАТАСТРОФА НА ШАХТЕ

Еженедельник «Лид» № 22, 11.VI 1908 г.

ИДИЛЛИЯ В АДУ

Еженедельник «Гумористицке листы» № 25, 12.VI 1908 г.

Стр. 228. «*Нойс Фрейе Прессе*» — венская либеральная газета.

Стр. 230. ...в котле номер 1620 — номер этого адского котла имеет символический смысл: в 1620 году, после битвы у Белой горы, Чехия утратила свою независимость, попав под власть немецкой династии Габсбургов.

ЮБИЛЕИ СЛУЖАНКИ АННЫ

Газета «Младе проуды» № 12, 22.VI 1908 г.

«Младе проуды» («Молодые направления») — молодежная газета национально-социальной партии (1901—1909), вела систематическую антимилиитаристскую пропаганду, за что ее редактор Алоис Гатина (друг Гашека) был присужден к двухгодичному тюремному заключению.

ИСТОРИЯ ПОРОСЕНКА КСАВЕРА

Еженедельник «Лид» № 25, 2.VII 1908 г.

Стр. 238. *Хохлатые* — народное прозвище австрийских полейских, каски которых были украшены петушиными перьями.

ИЗУМИТЕЛЬНОЕ ЧУДО СЯТОГО ЭВЕРГАРДА

Еженедельник «Народни обзор» № 31, 18.VII 1908 г.

Стр. 240. *Францисканцы* — члены католического, так называемого «нищенствующего» монашеского ордена, возникшего в Ита-

лии в начале XIII века. Несмотря на строгий устав, требующий отказа от имущества, Францисканцы — один из богатейших орденов, прочный оплот католической реакции.

ДЕДУШКА ЯНЧАР

Еженедельник «Лид» № 27, 30.VII 1908 г.

На русский язык переводится впервые.

Это один из наиболее острых социально-критических рассказов Гашека. Писатель сам был удивлен, что его пропустила цензура. Он писал в письме к своей невесте Ярмиле Майеровой: «Как тебе понравился этот рассказ в «Лиде»? Удивляюсь, что его не конфисковали».

ОСИРОТЕВШЕЕ ДИТЯ И ЕГО ТАИНСТВЕННАЯ МАТЬ

Газета «Право лиду» № 232, 23.VIII 1908 г.

Стр. 253. *...состряпано из Марлит... Карлен, Швару...—* Марлит Евгения (1825—1887) — плодовитая немецкая писательница, автор развлекательных сентиментальных романов, нередко с уголовной тематикой. Карлен-Флюгаре Эмилия (1807—1892), Шварц Мария-Софья (1819—1894) — шведские писательницы, широко распространившие жанр сентиментально-назидательного романа. Как и Марлит, пользовались среди чешской мещанской публики огромным успехом.

Стр. 256. *Михле, Подебрады* — города в Чехии.

...ее стали петь на мотив «Голубые глаза». — Рассказ опирается на подлинные события, служившие некоторое время очередной сенсацией для пражских буржуазных газет. Вслед за публикацией в газете «Пражски иллюстрированы курир» (22.VII 1908 г.) статьи под заголовком «Таинственная мать Антонии Козловой найдена» в печати появилось стихотворение поэта Руд. Горы «Тайна на Виноградах, или Тоска по загадочной матери», которое распевалось на мотив популярной песенки «Голубые глаза».

УЧИТЕЛЬ ПЕТР

Еженедельник «Гумористицке листы» № 36, 28.VIII 1908 г.

Стр. 261. *Линней* Карл (1707—1778) — выдающийся шведский естествоиспытатель. Создал систему классификации растительного и животного мира — трактат «Система природы» (1735).

ТАИНА ИСПОВЕДИ

«Ческе слово» № 199, 30.VIII 1908 г. — газета национально-социальной партии,

Стр. 264. «*Мафия*» — полулегальная террористическая организация на острове Сицилия, отстаивающая интересы крупных помещиков.

Коран — основная мусульманская «священная книга», включающая религиозно-догматические, мифологические и правовые материалы. Автором корана, согласно мусульманским историко-богословским представлениям, был Мухаммед (Магомет) (род. ок. 570 — ум. 632), считающийся основателем ислама (мусульманской религии).

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГРАФА ХУДРЫМУДРЫДЕСА

Газета «Право лиду» № 253, 13.IX 1908 г.

Стр. 271. *Сарданапал* (правильно: Ашшурбанипал) — ассирийский царь (668—631 до н. э.), отличавшийся крайней жестокостью и сластолюбием.

В ДЕРЕВНЕ У РЕКИ РАБЫ...

Газета «Беседы лиду» №№ 24 и 25, 1908 г.

Стр. 279. *Кальвинисты* — последователи французского проповедника Жана Кальвина (1509—1564), основателя кальвинизма — разновидности протестантского учения.

Стр. 284. ...*мазурский бродяжка*. — См. примечание к рассказу «Умер Мачек, умер...».

Королевство — имеется в виду Польское королевство.

КАК ЮРАЙДА СДЕЛАЛСЯ АТЕИСТОМ

Еженедельник «Лид» № 32, 7.X 1908 г.

Стр. 286. ...*нашего святого Яна*. — Речь идет о Яне из Помук (ум. 1393) — генеральном викарии пражского епископата в правление короля Вацлава IV. По преданию, король приказал утопить его в реке Влтаве за то, что он не выдал ему тайны королевы, доверенной на исповеди. Католическая церковь причислила его к лику святых и канонизировала под именем Яна Непомуцкого. Ян Непомуцкий считался святым покровителем Чехии. Культ его усиленно насаждался католическим духовенством в противовес гуситской традиции.

ГРЕХ ПАТЕРА ОНДРЖЕЯ

Еженедельник «Народни обзор» № 46, 31.X 1908 г.

Стр. 292. *Райс Карел Вацлав* (1859—1926) — популярный

чешский писатель. Речь идет о таких его романах, как «Забывшие патриоты», «Закат» и др.

Стр. 295. *Антиподы* — здесь обитатели диаметрально противоположных пунктов земного шара.

ГЕРОИ

Газета «Ческе слово» № 277, 29.XI 1908 г.

На русский язык переводится впервые.

Стр. 297. ...с *Вышеграда до Влтавы*. — *Вышеград* — скалистый холм в Праге над рекой Влтавой. В прошлом крепость и резиденция чешских князей.

Стр. 299. *Евангелисты* — христианская протестантская секта, близкая баптистам. Важнейшая часть их вероучения — проповедь евангелия.

Стр. 300. *Коралка* — водка.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Еженедельник «Гумористицке листы» № 2, 31.XII 1908 г.

О СВЯТОМ ГИЛЬДУЛЬФЕ

«Рабочий календарь чехословацкой социал-демократической партии в Австрии» на 1909 год.

«Социал-демократические рабочие календари» издавались с 1878 года. Первый из них был издан журналом «Будущность» в Праге под названием «Альманах на 1878 год».

ПРАВОУЧИТЕЛЬНЫЙ РАССКАЗ

Журнал «Карикатуры» № 3, 21.I 1909 г.

Сатирический журнал «Карикатуры» (1909—1915) издавался национально-социальной партией. Ответственными редакторами были: Иржи Стршибрный, Йозеф Лада (художник, друг Гашека, впоследствии лучший иллюстратор «Похождений бравого солдата Швейка») и В. Шлехта. Журналом фактически руководил Йозеф Лада, который сумел привлечь к сотрудничеству лучших писателей-сатириков Чехии того времени (Франю Шрамека, Франтишка Гельнера, Йозефа Маха). Гашек печатался почти в каждом номере.

АНТИПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ АФЕРА В ХОРВАТИИ

Журнал «Карикатуры» № 7, 18.III 1909 г.

На русский язык переводится впервые.

Стр. 315. *Хорватия* — страна со славянским населением — с 1526 года находилась под властью династии Габсбургов. После создания двуединого государства Австро-Венгрии Хорватия стала

частью владений венгерской короны (1868). Верховная власть в стране принадлежала венгерскому правителю — бану. Национальное угнетение и насильственная мадьяризация славянского населения Хорватии со стороны банов вызывали неоднократные вспышки национально-освободительной борьбы, жестоко подавляемые властями. Процесс в Загребе в 1909 году был очередной провокацией венского правительства, рассчитывавшего задушить национально-освободительное движение славянских народов империи, вспыхнувшее с новой силой после насильственного присоединения к Австрии Боснии и Герцеговины (1908). Опираясь на поддельные документы и «свидетельства» платных агентов полиции, суд вынес суровые приговоры массе ни в чем не повинных людей, обвиненных в государственной измене.

Рассказ Гашека явился откликом на этот процесс, возмущивший всю прогрессивную чешскую общественность.

...барон Раух Павел (1885—1930) — в 1908—1910 годах хорватский бан, инициатор загребского процесса.

Стр. 319. ...найдем список членов «Сокола» — спортивная организация, созданная в Чехии в 1862 году и получившая широкое распространение в других славянских странах Австрийской империи. «Сокол» принимал участие в национальном движении славянских народов.

НАК МЫ С ОТЦОМ ЗАКОНОУЧИТЕЛЕМ ЗАБОТИЛИСЬ О КРЕЩЕНИИ АФРИКАНСКИХ НЕГРИТЯТ

Журнал «Карикатуры» № 9, 15.IV 1909 г.

«БЕРИТЕ, БЕРИТЕ, СЛУЖИВЫИ!»

Журнал «Карикатуры» № 9, 15.IV 1909 г.

ЮНЫИ ИМПЕРАТОР И КОШКА

Журнал «Карикатуры» № 10, 29.IV 1909 г.

На русский язык переводится впервые.

ПЕРВОЕ МАЯ СОВЕТНИКА МАЦКОВИКА

Еженедельник «Гумористицке листы» № 21, 14.V 1909 г.

Стр. 334. «Май — пора любви» — слова из поэмы «Май» чешского поэта-романтика Карела Гинека Махи (1810—1836).

ЖИВОТНЫЕ И ЧУДЕСА

Журнал «Карикатуры» № 12, 27.V 1909 г.

Стр. 336. *Посвящается господам редакторам «Чеха».* — Газета «Чех» (1869—1932) — главный печатный орган чешского кле-

рикализма, «прославившийся» своими нападка на научный социализм и травлей деятелей рабочего движения.

Книга «Святая Бавария» («*Bavaria sancta*»), на которую ссылается Гашек, была издана в 1861—1862 годах.

КАК В ВАРНАВИТСКОМ МОНАСТЫРЕ СЛУЖИЛИ МОЛЕБЕН ЗА ДОКТОРА ФУНКА

Журнал «Карикатуры» № 15, 8.VII 1909 г.

Стр. 340. *Варнавитский монастырь* — женский монастырь католического монашеского ордена кармелитов. Этот орден был основан около 1156 года в Палестине; в XIII веке был конституирован римским папой как орден «нищенствующих». В 1451 году во Франции был создан женский орден кармелиток. Женский монастырь кармелиток в Праге находился на Градчанской площади, около костела св. Бенедикта.

Функ Вилем — депутат парламента от партии свободомыслящих, созданной в 1874 году буржуазными политическими деятелями либерального толка (так называемыми младочехами), отколовшимися от старейшей партии чешской буржуазии — национальной партии (старочехи). Партия свободомыслящих отражала интересы мелкой городской и сельской буржуазии и части интеллигенции. Ее организаторами и лидерами были братья Эдуард и Юлиус Грегры, А. П. Троян и др. Центральным органом партии стала газета «Народни листы».

Стр. 341. *Швица* Карел — чешский политический деятель, член национально-социальной партии, уличенный позднее как провокатор, агент австрийской полиции.

Стр. 342. ...с достойными отцами *Страговского монастыря*. — Страговский монастырь расположен в Праге между Градчанами и Петршином; основан в 1140 году. В настоящее время здесь находится Музей чешской письменности.

НЕБЕСНАЯ СКАЗКА

Журнал «Карикатуры» № 17, 5.VIII 1909 г.

КАК МОЙ ДРУГ КЛЮЧКА РИСОВАЛ СВЯТЮЮ АПОЛЕНУ

Журнал «Весела Прага» № 9, 1.IX 1909 г.

Сюжет рассказа сложился у Гашека на основе его впечатлений от странствований по Моравии со своим другом художником Ярославом Кубиным.

ФУРАЖКА ПЕХОТИНЦА ТРУНЦА

Журнал «Карикатуры» № 2, 12.X 1909 г.

Вся вторая половина рассказа, от слов «После его ухода господин капитан продиктовал унтеру нижеследующее...» и до конца

была изъята цензурой. Восстановлена лишь во втором издании собрания сочинений Гашека по сохранившемуся в архиве редакции оттиску.

УДИВИТЕЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ С ФРАНТИШКОМ МАХУЛКОЙ...

Журнал «Карикатуры» № 7, 15.XI 1909 г.

Стр. 360. *Диурнист* — поденный писарь.

Стр. 361. *Официал* — чиновник.

РУМЫНСКИЙ КОРОЛЬ ОХОТИТСЯ НА МЕДВЕДЕЙ

Журнал «Карикатуры» № 9, 29.XI 1909 г.

На русский язык переводится впервые.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ИНСПЕКТОРА КАЛОУСА

Журнал «Карикатуры» № 10, 7.XII 1909 г.

Стр. 372. ...заводил речь о Содоме и Гоморре.— Выражение «Содом и Гоморра» означает разврат, беспорядок, суматоху. Возникло из библейской легенды о городах Содом и Гоморра в древней Палестине, жители которых разгневали бога своим беспутством, и он уничтожил их «огненным дождем и землетрясением».

Стр. 373. Публий Овидий Назон (43 до н. э.—17 н. э.) — римский поэт, прославившийся своей любовной лирикой и поэтической обработкой греко-римских мифов (сб. «Метаморфозы»).

...битва у Саламина — морской бой между греческим и персидским флотами в 480 году до н. э., завершившийся победой греков.

Корнелий Непот — древнеримский историк и писатель (род. ок. 100—ум. ок. 27 до н. э.). Наибольшей известностью пользуются его исторические очерки «Хроники».

ПО СЛЕДАМ УБИИЦЫ

Журнал «Карикатуры» № 11, 13.XII 1909 г.

АМСТЕРДАМСКИЙ ТОРГОВЕЦ ЧЕЛОВЕЧИНОЙ

Журнал «Карикатуры» № 11, 13.XII 1909 г.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕЧЕР В ПРИЮТЕ

Журнал «Карикатуры» № 12, 23.XII 1909 г.

С. Востокова

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ 1901—1909

Сельская идиллия. Перевод Л. Касюги	5
Смерть горца. Перевод Р. Разумовой	8
Вино лесов, вино земляничное. Перевод Т. Мироновой	11
Идиллия кукурузного поля. Перевод В. Савицкого	18
Збойник за Магурой. Перевод Р. Разумовой	21
Заторская канония. Перевод Н. Аросевой	26
Похождения Дьюлы Какони. Перевод В. Чешихиной	31
Как дедушка Перунко вешался. Перевод В. Чешихиной	38
Через тридцать лет. Перевод В. Чешихиной	42
Цыганская поэзия. Перевод Н. Аросевой	45
Крестины. Перевод С. Востоковой	47
Нет больше романтики в Гемере. Перевод В. Чешихиной	52
Клинопись. Перевод В. Чешихиной	56
Наш дом. Перевод В. Чешихиной	60
Восточная сказка. Перевод В. Чешихиной	64
Предвыборное выступление цыгана Шаваню. Перевод Р. Разумовой	67
Гей, Маркал Перевод С. Востоковой	71
Пример из жизни. Перевод В. Мартельяновой	75
Милосердные самаритяне. Перевод Е. Аникст	79
Как черти ограбили монастырь святого Томаша. Перевод Н. Аросевой	83
Поминальная свеча. Перевод Р. Разумовой	93
Рекламная сцена. Перевод С. Востоковой	97
Цыганская история. Перевод В. Савицкого	103

Над озером Балатон. Перевод В. Мартемьяновой	117
Жищение людей. Перевод Н. Аросевой	122
Фасоль. Перевод Р. Разумовой	131
Вшивая история. Перевод Д. Горбова	135
Господин Глоац — борец за права народа. Перевод Д. Горбова	140
Халуте. Перевод Н. Аросевой	145
Рассказ о доблестном шведском солдате. Перевод С. Востоковой	149
Убийца перед судом. Перевод Р. Разумовой	153
Лечение ревматизма укусами пчел. Перевод Н. Аросевой	158
Первомайский праздник маленького Франтишка. Перевод Ю. Молочковского	166
Трубка патера Иордана. Перевод Д. Горбова	171
Восхождение на Мозерншпице. Перевод Д. Горбова	178
Мой домохозяин Петранек. Перевод Ю. Молочковского	185
Бунт арестанта Шейбы. Перевод Н. Качуровского	191
История жизни. Перевод Н. Качуровского	204
Злоключения избирателя. Перевод Ю. Молочковского	211
«Умер Мачек, умер...». Перевод Н. Аросевой	216
Катастрофа на шахте. Перевод Н. Роговой	223
Идиллия в аду. Перевод Н. Аросевой	228
Юбилей служанки Анны. Перевод Н. Качуровского	231
История поросенка Ксавера. Перевод Д. Горбова	235
Изумительное чудо святого Эвергарда. Перевод Д. Горбова	240
Дедушка Янчар. Перевод Р. Разумовой	247
Осиротевшее дитя и его таинственная мать. Перевод Д. Горбова	251
Учитель Петр. Перевод С. Востоковой	259
Тайна исповеди. Перевод Е. Аникст	263
Удивительные приключения графа Худрымудрыдеса. Перевод Ил. Граковой	270
В деревне у реки Рабы... Перевод С. Востоковой	276
Как Юрайда сделался атеистом. Перевод Н. Аросевой	286
Грех патера Ондржея. Перевод О. Малевича	292
Герой. Перевод С. Востоковой	296
Благотворительность. Перевод Ю. Гаврилова	302
О святом Гильдульфе. Перевод С. Востоковой	306
Нравоучительный рассказ. Перевод С. Востоковой	311
Антиправительственная афера в Хорватии. Перевод Л. Касюи	315
Как мы с отцом законоучителем заботились о крещении африканских негритят. Перевод С. Востоковой	321

«Берите, берите, служивый!» <i>Перевод Ю. Гаврилова</i> . . .	326
Юный император и кошка. <i>Перевод Ю. Молочковского</i> . . .	329
Первое мая советника Мацковика. <i>Перевод Д. Горбова</i> . . .	333
Животные и чудеса. <i>Перевод Н. Аросевой</i>	336
Как в Варнавитском монастыре служили молебен за доктора Функа. <i>Перевод Ю. Молочковского</i>	340
Небесная сказка. <i>Перевод Н. Роговой</i>	343
Как мой друг Ключка рисовал святую Аполону. <i>Перевод С. Востоковой</i>	346
Фуражка пехотинца Трунца. <i>Перевод С. Востоковой</i> . . .	353
Удивительное происшествие с Франтишком Махулкой, прак- тикантом магистрата. <i>Перевод С. Востоковой</i>	359
Румынский король охотится на медведей. <i>Перевод Р. Ризу- мовой</i>	368
Приключения школьного инспектора Калоуса. <i>Перевод Д. Горбова</i> . . . ;	371
По следам убийцы. <i>Перевод Ю. Молочковского</i> . . . , .	377
Амстердамский торговец человечинной. <i>Перевод Д. Горбова</i> .	382
Рождественский вечер в приюте. <i>Перевод Н. Роговой</i> . . .	386
Примечания . ;	390

Ярослав Г а ш е н.
Собрание сочинений в 5 томах.
Том III.

Редактор
С. Никольский.
Технический редактор
А. Шагарина.

Подп. к печ. 13/IV 1966 г. Тираж 210 000 экз.
Изд. № 755. Зак. 3614. Форм. бум. 84×108¹/₂.
Физ. печ. л. 12,75 + 4 вкл. иллюстраций.
Условных печ. л. 21,84. Уч.-изд. л. 19,98.
Цена 90 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина, Москва, А-47, улица
«Правды», 24.